

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМАГОЛОГИЯ И КОМПАРАТИВИСТИКА

IMAGODOLOGY AND COMPARATIVE STUDIES

Научно-практический журнал

2025

№ 24

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-68437 от 27 января 2017 г.)

Подписной индекс в объединённом каталоге «Пресса России» 94289

**Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»**

**РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
«ИМАГОЛОГИЯ
И КОМПАРАТИВИСТИКА»**

В.С. Киселев (Томск) –
главный редактор
О.Б. Лебедева (Томск) – зам.
главного редактора
Н.В. Хомук (Томск) –
отв. секретарь
Е.Н. Пенская (Москва)
В.В. Абашев (Пермь)
К.В. Анисимов (Красноярск)
Л.А. Ходанен (Кемерово)
И.Ю. Виницкий (Калифорния, США)
В.Г. Щукин (Краков, Польша)
Сузи К. Франк (Берлин, Германия)
Рита Джулиани (Рим, Италия)
Антонелла д'Амелиа (Салерно, Италия)
Тимур Гузайров (Тарту, Эстония)

**EDITORIAL BOARD
OF THE JOURNAL
“IMAGOLGY
AND COMPARATIVE STUDIES”**

Vitaliy S. Kiselev (Tomsk) –
Chairperson
Olga B. Lebedeva (Tomsk) – Deputy
Chairperson
Nikolay V. Khomuk (Tomsk) –
Executive Editor
Elena N. Penskaya (Moscow)
Vladimir V. Abashev (Perm)
Kirill V. Anisimov (Krasnoyarsk)
Lyudmila A. Hodanen (Kemerovo)
Ilya Yu. Vinitsky (California, USA)
Vasily G. Shchukin (Cracow, Poland)
Susi K. Frank (Berlin, Germany)
Rita Giuliani (Rome, Italy)
Antonella d'Amelia (Salerno, Italy)
Timur Guzairov (Tartu, Estonia)

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПАРАТИВИСТИКА

Bejanyan K.H., Karagyozyan G.L. Tracing the source of the Sparrow-Hawk Castle Legend from John Mandeville's <i>Travels</i>	7
Лонгинова Е.А., Обласова Т.В. Образные трансформации в переводах Ф. Фидлера пейзажных стихотворений А.А. Фета	19
Никонова Н.Е., Петросян Д.В., Даниелян Т.Р. Литературный контент периодики дореволюционной России как инструмент формирования культурной идентичности региона: по материалам кавказского издания «Карс» (1883–1917)	39
Сазонова Л.Ю. Новые страницы жизни и творчества финско-шведского поэта-модерниста Эдит Сёдергран (1892–1923). Петербургский период 1902–1909 гг.	63
Нагуманова Э.Ф., Шемшуренко О.В. Стратегии перевода стихотворений татарских поэтов на русский и английский языки	90
Цветкова М.В., Гане С. Символ «نيلوفر كبود» (нилуфар-э кабуд) в романе «Слепая сова» Садега Хедаята и его перевод на английский язык Ираджа Башири	109

ИМАГОЛОГИЯ

Киселев В.С. В.А. Жуковский в литературной критике 1803–1819 гг.	126
Plinykh A.V., Khalina N.V., Chukanova T.V. "Khozhenie to the Russian Land": The image of Kherson Province in Nikolai Gogol's <i>Dead Souls</i> (1842) and in Alexander Schmidt's <i>Materials for the Geography and Statistics of Russia: Kherson Province</i> (1863)	164
Киселев В.С., Пронина Н.М. Машинная атрибуция почерка в решении источниковедческих проблем (на материале переписки Г.Н. Потанина)	186
Алексеев П.В. «Пришельцы» и «туземцы»: колониальные контрасты в крымском травелоге Г.Н. Потанина	209
Жданов С.С., Гаузер И.В. «Потерянный рай»: пространственная образность в травелоге «Под ясным небом Малороссии» С.С. Евсеенко	229

Чуркин М.К., Маткаримова С.М., Маткаримова Н.М. Конструирование образа русского Туркестана в травелогах имперских экспертов второй половины XIX – начала XX в.	255
Кирчанов М.В. Историческая темпоральность и чувашский национализм в поэзии М. Сеспеля	272
Голубцова А.В. Италия и итальянцы в травелогах об СССР рубежа 1940–1950-х гг.	296
Третьяков Е.О. «Душа человека – неприличное животное» (Андрей Платонов): зооморфизм в «Трудно быть богом» братьев Стругацких и Алексея Германа как основа сопоставления с художественной системой Андрея Платонова	309
Нечасва А.Л. Документальная пьеса Е. Греминой и М. Угарова «Сентябрь. doc» в контексте эмпатической травматизации	335

РЕЦЕНЗИИ

Медакин С.С. Визуализация внешнего мира (Рецензия на книгу: Голубев А.В. «Подлинный лик заграницы»: образ внешнего мира в советской политической карикатуре, 1922–1941 гг. М.: Институт российской истории РАН, 2018. 282 с.)	344
Никонова Н.Е., Шарыпова В.С. Новая глава из «Хроники русского» (Рецензия на книгу: Briefe Aleksandr I. Turgenevs an Vasilij A. Žukovskij 1826–1831 / Siegel H. (Hg.). Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 2025. 532 p.)	353

CONTENTS

COMPARATIVE STUDIES

Bejanyan K.H., Karagyozyan G.L. Tracing the source of the Sparrow-Hawk Castle legend from John Mandeville's <i>Travels</i>	7
Loginova E.A., Oblasova T.V. Figurative transformations of Afanasy Fet's landscape lyrics in Friedrich Fiedler's translations	19
Nikonova N.Ye., Petrosyan D.V., Danielyan T.R. The literary content of pre-revolutionary Russian periodicals as a tool for shaping regional cultural identity: A case study of the Caucasian newspaper <i>Kars</i> (1883–1917)	39
Sazonova L.Yu. New pages in the life and work of the Finnish-Swedish modernist poet Edith Södergran (1892–1923): The St. Petersburg period, 1902–1909	63
Nagumanova E.F., Shemshurenko O.V. Translation strategies for poems by Tatar poets into Russian and English	90
Tsvetkova M.V., Ghane S. The symbol "نيلوفر كبود" (niloufar-e kabud) in Sadegh Hedayat's novel <i>The Blind Owl</i> and its translation into English by Iraj Bashiri	109

IMAGOLOGY

Kiselev V.S. Vasily Zhukovsky in the literary criticism of 1803–1819	126
Ilinykh A.V., Khalina N.V., Chukanova T.V. "Khozhenie to the Russian Land": The image of Kherson Province in Nikolai Gogol's <i>Dead Souls</i> (1842) and in Alexander Schmidt's <i>Materials for the Geography and Statistics of Russia: Kherson Province</i> (1863)	164
Kiselev V.S., Pronina N.M. Machine attribution of handwriting in solving source studies problems (based on Grigory Potanin's correspondence)	186
Alekseev P.V. "Aliens" and "natives": Colonial contrasts in Grigory Potanin's Crimean travelogue	209
Zhdanov S.S., Gauzer I.V. "Paradise Lost": Spatial imagery in the travelogue <i>Under the Clear Sky of Little Russia</i> by Sergei Evseenko	229

Churkin M.K., Matkarimova S.M., Matkarimova N.M. Construction of the image of Russian Turkestan in the travelogues of imperial experts of the second half of the 19th – early 20th century	255
Kyrchanoff M.W. Historical temporality and Chuvash nationalism in the poetry of Mišši Šěspěl	272
Golubtsova A.V. Italy and Italians in travelogues about the USSR in the late 1940s and early 1950s	296
Tretyakov E.O. "The human soul is an indecent animal" (Andrei Platonov): Zoomorphism in <i>Hard to Be a God</i> by the Strugatsky brothers and by Aleksei German as a basis for comparison with the artistic system of Andrei Platonov	309
Nechaeva A.L. <i>Sentyabr'.doc</i> , a documentary play by Elena Gremina and Mikhail Ugarov, in the context of empathic traumatization	335

REVIEWS

Medakin S.S. Visualization of the outside world (Book review: Golubev, A.V. (2018) <i>"Podlinnyy lik zagranitsy": obraz vneshnego mira v sovetskoy politicheskoy karikature, 1922–1941</i> ["The Genuine Face of the Abroad": The Image of the Outside World in Soviet Political Cartoons, 1922–1941]. Moscow: Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences)	344
Nikonova N.Ye., Sharypova V.S. A new chapter from <i>The Chronicle of a Russian</i> (Book review: Siegel, H. (Hg.) (2025) <i>Briefe Aleksandr I. Turgenevs an Vasilij A. Žukovskij 1826–1831</i> . Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag)	353

КОМПАРАТИВИСТИКА

Original article

UDC 82.091+821.19

doi: 10.17223/24099554/24/1

Tracing the source of the Sparrow-Hawk Castle legend from John Mandeville's *Travels*

Kristine H. Bejanyan¹

Gohar L. Karagyozyan²

^{1, 2} Manook Abeghyan Institute of Literature of the National Academy of Sciences
of the Republic of Armenia, Yerevan, Republic of Armenia

¹ bejanyan@litinst.sci.am

² gkaragyozyan@gmail.com

Abstract. The plot of the Sparrow Hawk Castle, the fairy and the cursed Armenian king was first used by John Mandeville in his *Travels*, which became a source for Johann Schiltberger's *The Bondage and Travels of Johann Schiltberger: a Native of Bavaria, in Europe, Asia, and Africa, 1396–1427*, Jean of Arras's chivalric novel *Mélusine*, and Couldrette's *The Romans of Partenay, Or of Lusignen: Otherwise Known as the Tale of Melusine*. This article aims to identify the historical location of the castle-fortress and to uncover the source of its legend.

Keywords: John Mandeville, Wilbrand of Oldenburg, travelogue, sparrow-hawk's castle, legend, source, location of the castle

For citation: Bejanyan, K.H. & Karagyozyan, G.L. (2025) Tracing the source of the Sparrow-Hawk Castle legend from John Mandeville's *Travels*. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 7–18. doi: 10.17223/24099554/24/1

Научная статья

doi: 10.17223/24099554/24/1

Поиски претекста легенды о ястребином замке, представленной в травелоге Джона Мандевиля

Кристина Генриховна Беджаниян¹

Гоар Левоновна Карагезян²

^{1, 2} *Институт литературы имени Манука Абеяна Национальной академии наук Республики Армения, Ереван, Республика Армения*

¹ *bejanyan@litinst.sci.am*

² *gkaragyozyan@gmail.com*

Аннотация. Сюжет о ястребином замке, ее владельнице и проклятом армянском царе впервые использовал Джон Мандевиль в «Путешествии по морю и по суше». Его текст стал источником для «Путешествия по Европе, Азии и Африке» Иоганна Шильтбергера. Эта история выступила одной из ведущих сюжетных линий рыцарского романа Жана из Арраса «Мелюзина», а также романа Кулдретта «Книга о Лузиньянах, или Мелюзина». В статье ставится задача уточнить локус, в котором размещается замок-крепость и совершается действие, и определить претекст легенды.

Ключевые слова: Джон Мандевиль, Вильбранд Ольденбургский, травелог, ястребиный замок, легенда, претекст, локализация замка.

Для цитирования: Bejanyan K.H., Karagyozyan G.L. Tracing the source of the Sparrow-Hawk Castle legend from John Mandeville's *Travels* // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 7–18. doi: 10.17223/24099554/24/1

On September 29, 1322, the English traveler John Mandeville embarked on a long journey around the world, visiting numerous distant countries, including Armenia, Turkey, Syria, Egypt, Arabia, India, Mesopotamia, Persia, Chaldea, Greece, Tartary and others. His travelogue, filled with impressions of these Eastern regions, wondrous tales, and personal adventures, was first written in French and Latin. Later, to make this book comprehensible and accessible to "the people of his nation," as he stated, he translated it from French into English. *The Travels of Sir John Mandeville* enjoyed unprecedented popularity in Europe, where it was devoured

with such avidity by contemporary readers that it overshadowed numerous factual descriptions of Eastern travels. Mandeville's work, a compilation of fictional wanderings liberally embellished with legends and traditions situated within a historical-political context, pioneered a new genre of travel writing, defined by its overt fictionalization and a marked convergence with the conventions of the chivalric romance.

This article examines the Armenian episode in Mandeville's *Travels*, focusing on the legend of the Sparrow-Hawk Castle in Greater Armenia. The narrative recounts how an Armenian king, through his own folly, provoked a curse from the castle's fairy mistress, resulting in the loss of his kingdom.

Although the plot of "the curse that fell on the Armenian king" is the legend's core (a motif analyzed in our prior work "The motif of a king, cursed by a fairy, and a sparrow-hawk: a comparative analysis"), the present study requires a brief summary of the Armenian narrative as it appears in Mandeville's *Travels*.

According to the original text, when the travelers reached Trapezund...

from thence men go through Little Armenia. And in that country is an old castle that stands upon a rock; the which is clept the castle of the Sparrow-hawk, that is *beyond the city of Layays beside the town of Pharsipee* (the italics is ours – **the authors**), that belongeth to the lordship of Cruk, that is a rich lord and a good Christian man; where men find a sparrow-hawk upon a perch right fair and right well made, and a fair lady of faerie that keepeth it. And who that will watch that sparrow-hawk seven days and seven nights, and, as some men say, three days and three nights, without company and without sleep, that fair lady shall give him, when he hath done, the first wish that he will wish of earthly things; and that hath been proved often-times.

And one time befell, that a King of Armenia, that was a worthy knight and doughty man, and a noble prince, watched that hawk some time. And at the end of seven days and seven nights the lady came to him and bade him wish, for he had well deserved it. And he answered that he was great lord enough, and well in peace, and had enough of worldly riches; and therefore, he would wish none other thing, but the body of that fair lady, to have it at his will. And she answered him, that he knew not what he asked, and said that he was a fool to desire that he might not have; for she said that he should not ask but earthly thing, for she was none earthly thing, but a ghostly thing. And the king said that he ne would ask none other thing. And the lady answered; "Sith that I may not withdraw you from your lewd corage, I shall give you without wishing, and to all them that shall come of you. Sir King! ye shall have war without peace, and always to the

nine degree, ye shall be in subjection of your enemies, and ye shall be needy of all goods." And never since, neither the King of Armenia nor the country were never in peace; ne they had never sith plenty of goods; and they have been sithen always under tribute of the Saracens [1. P. 98–99].

The location of the Sparrow Hawk Castle and the origins of its associated legend have attracted significant scholarly attention. First recorded by Mandeville and later adapted by travelers and writers like Johann Schiltberger, Jean of Arras, and Couldrette (in his *Melusine*), the tale has prompted scholars to investigate its origins and to pinpoint the real-world locus of the castle where the plot unfolds.

This analysis begins by examining the possible location of the sparrow-hawk's castle. While the name initially appears to be a fictional invention, with no historical and geographical meaning, a closer study reveals its potential connection to Armenian toponymy derived from the words for 'hawk' or 'falcon'. This link is supported by several historical sources. The Florentine traveler and merchant Balducci Pegolotti, in his famous 14th-century work *The Practice of Trade*, documents a station named Piana di Falconieri – "Valley of the Falconers" – on the Ayas-Tabriz route. The Armenian historian Yakov Manandyan in his book *About Trade and Cities of Armenia in Connection with World Trade of Ancient Times* explains that "ancient Armenian sources mention a place called "Bazudzor"¹ or "Falcon Valley," which can be compared to Piana di Falconieri" [2. P. 295]. Further reinforcing this connection, historian Georgy Mikaelyan claims that "the root *baze* (Ֆալկն) denoted a number of localities in Armenia, near the Armenian-Iranian border" [3. P. 359]. Most notably, a castle named Bazeberd (Բազեբերդ [bazeberd], Բազեի բերդ [bazeji berd], Յնաբերդ [tsnaberd] [4. P. 544] – literally "Falcon Castle" – existed in Cilician Armenia near the surroundings of Bardzrberd. It is thus highly plausible that these falcon-related toponyms, particularly Bazeberd, were known to European writers like John Mandeville. By naming his fictional landmark the "sparrow-hawk's castle," Mandeville may have been drawing upon this real-world geographical lexicon, thereby giving it geographical concreteness.

¹ [bazudzor] is translated from Armenian as a 'valley of falcon'.

According to Mandeville's account, the castle is situated near Layas (Layazzo, Ayas) and the town of Pharispee (see the italicized part in the citation above). The localization of this area, however, is a subject of scholarly disagreement. One significant identification comes from the renowned Armenian poet and ethnologist Ghevond Alishan, who argues that the site is Partzerpert (Բարձրբերդ – [bardzrberd]), located to the east of Molevon¹ and to the northwest of Sis [5. P. 156–158].

Walter Xavier, in his work *Before the Great Discoveries: The Image of the Earth in the 14th Century: Mandeville's Travels*, proposes a location between Ayas and Korikos [6. P. 338]. A different hypothesis, found in the English commentary on Johann Schiltberger's *The Bondage and Travels of Johann Schiltberger: a native of Bavaria, in Europe, Asia, and Africa, 1396–1427*, equates the Sparrow Hawk Castle (Castel d'Epervier) with the "Maiden's Castle" (Kiz-Kalesi [Kyz-Kalesi]) [7. P. 149]. This identification is based on the account of traveler William Francis Ainsworth, who, in his book *Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia*, described seeing an "ancient Kiz-Kalesi" near Kerasun, not far from the road from Kastamuni to Boyabad. As he stated, "...we observed before us the dismantled walls and crumbling fragments of a castle, which occupied the summit of a nearly insulated rock. This place is known to the natives by the name of Kiz Kalehsi (the Virgin's Castle), a name not uncommon in the East, and significative of 'unconquered'." [8. P. 87].

Phillip Bruun, the Russian translator of Schiltberger's *Travels*, proposes a location "near Greek Kerasun (*kureson*), between Samsun and Trebizond" [9. Comment 59]. In contrast, Matthew of Edessa situates the fortress of Barzrberd a day's walk north of Sis [10. P. 477], a placement later echoed by Victor Langlois, a well-known French historian, archeologist and orientalist, specializing in the Middle Ages, "The Bardzberd fortress is located at the distance of one day away from Sis" [11. P. 498].

One of the names of Partzerpert (Բարձրբերդ – [bardzrberd]) is Farsipeh (Փարսիպե – [farsipe]), which corresponds to the city Pharispee, mentioned by Mandeville. This provides direct evidence confirming Ghevond Alishan's hypothesis that Mandeville was referring to Partzerpert [12. P. 631], which in English means 'a high fortress'.

¹ Molevon is a fortress in the Mountainous Cilicia.

While the geographical reference is thus clarified, the literary source of the legend remains more elusive. Researchers have established that Schiltberger relied on a German translation of Mandeville's *Travels* for his version of the hawk and the Armenian king. Another medievalist, Albrecht Klassen, further specifies that this was likely the translation by Michel Welser, produced between 1393 and 1399 [13; 14. P. 10]. The ultimate source that Mandeville himself drew upon, however, has yet to be definitively identified, despite scholarly attempts to trace the source for his narrative or the *pretext*.

Thus, Christiane Deluz, a scholar of Mandeville's work, points to an ancient Armenian legend recorded by the German traveler Wilbrand of Oldenburg, the bishop of Paderborn and Utrecht [15. P. 218–219]. Wilbrand, the envoy of the Holy Roman Emperor Otto IV, (before 1180–1230) and at that time the envoy of Duke Leopold VI of Austria, accompanied by the Grand Master of the Teutonic Knights Order Hermann von Salza, journeyed to Cilician Armenia in 1211–1212. His detailed itinerary describes a route through Alexandretta, Mamistra, Tarsus – where he was received by King Levon I – and Adana, before arriving in Sis for the Epiphany celebrations in January 1212 [16. P. 60]. His account provides detailed description of the journey through the Cilician Armenia, giving thorough information about the roads and the location of the castles, particularly on the strongholds of military orders like the Teutonic Knights [16. P. 60]. He did not ignore Greater Armenia, where "Noah's ark rested on the mountains" ("in cuius montibus arca Noe post diluuium requievit") [17. P. 175].

Wilbrand enriched his travelogue with local folklore, including a legend about a "mountain of adventures" (*montem de aventuris*) near the fortress of Thila (Tilus) in Plain Cilicia¹– Tilij [tilij]². In Arabic sources this fortress

¹ Tila, Tila Berd [tila berd] – a fortress in Plain Cilicia [4. P. 450].

² The castle-fortress was first mentioned as "Til" during the First Crusade in the late 11th century. In 1137, it was captured by the Byzantine Emperor John II Comnenus during his campaign through Cilicia. The Armenian Baron Thoros II captured and garrisoned the castle in 1151. In May of 1154, the Byzantine Emperor invited Masud I, the Sultan of Konya, to attack Toprakkale, but the Sultan failed to dislodge the Armenian garrison, which was assisted by Frankish knights. It was recaptured by the Byzantine forces under the leadership of the Byzantine Emperor Manuel I Comnenus. Sometime before 1170, it came under Armenian control again. In 1185, Toprakkale Castle was

is mentioned as al-Tini (al-Tīnī) or Hisn al-tinat (Ḥiṣn al-Tīnāt / Tīnāt), in Latin ones – as Canamella¹ or (Caramella, Caramela) [19. P. 230]. In the year 647 of the Armenian chronology (1198), on the 6th of January, on the day of Epiphany (Theophany or Baptism of Our Lord Jesus), when Levon was crowned king of the Cilician Armenia under the auspices of the Roman church and the German emperor, among the princes – the owners of the fortresses – there was Robert, the ruler of Til (Tilus). By the time of Wilbrand's visit in 1211–1212, however, judging by the *Chronicle* of Smbat Gundstable, the fortress was under the control of Choslin (Joslin) [20. P. 116, 123].

According to Wilbrand of Oldenburg's itinerary, the coastal fortress of Canamella was situated near Mamistère, north of Alexandretta. His account states, "Then, leaving the black fortress of the king on the right and passing a certain fort called Canamella, we approached Mamistère ("Deinde relinquentes ad dextram castrum regis nigrum et transeuntes castellum quoddam, Canamellam uidelicet, uenimus Mamistère")" [17. P. 175]. The narrative then continues with

Having returned to Kanamella, which I had spoken about above «we came to Thila and visited the beautiful castle of a nobleman. The castle is located on a beautiful mountain, which they call the mountain of adventure. For, as we have heard from a reliable story, luck and success undoubtedly await the one whoever, after six weeks of fasting and days of repentance, climbs the mentioned mountain. ("Abhinc reuertentes uersus Canamellam, de qua supra dixi, uenimus ad Thilam, quod est castrum ualde bonum cuiusdam nobilis. Iuxta illud situs est quidam mons satis amenus, quem **montem de aventuris** appellant. Sicut enim ex ueridica relatione audiuius, quicumque sex septimanis ieiunauerit et penitentialibus illis diebus peractis communicauerit, et sic ieiunus dictum montem intrauerit, procul dubio boni euentus et fortunati sibi occurrunt") [17. P. 179–180].

given to the Principality of Antioch as ransom for the return of Baron Ruben. Bohemond III, the Prince of Antioch, became the new master of the castle. Nine years later, it was again in the hands of the Armenians. In the first half of the 13th century, the castle was known as "Tila" and was considered to be an impressive fortified complex, also known as the Royal Black Castle [18].

¹ Canamella consists of two words: canna, which in Latin means 'reed', and mella that is 'honey'. Apparently, sugar cane was cultivated in this area [5. P. 475].

A question arises then. Who told this legend to the bishop of Utrecht? Since he especially emphasizes that he does not doubt the authenticity of the story, it est., the provider of the information is worthy of trust, and we can assume that the narrator of the story was a highborn, noble person, most likely a representative of a knightly order. This hypothesis is also supported by the fact that in 1214 Levon II gave the port of Canamella to the Knight Hospitallers for two years, in exchange for the money he had borrowed from them [21. P. 76; 5. P. 475]. The further fate of the port is connected with the Knight Templars¹.

Further elaborating on the "mountain of adventures," Oldenburg's *Itinerarium terrae sanctae* recounts his encounter with an Antioch knight. The knight claimed that, after completing the required ceremony (six weeks of fasting and days of repentance), he discovered a napkin² that provided all necessary sustenance for his family and guests. The knight added that it would be great happiness if such a miracle could happen to those in need ("Quod multorum compertum experimento. Inter que illud pro magno reputo, quod quidam miles, quem et nos uidimus in Antiochia, illic huiusmodi casu inuenit quoddam manutergium, quod sue familie et hospitibus, quotquot uocare consuevit, omnia necessaria in uictualibus ministravit, ita ut in mensa et super parata inuenirentur. Utinam etiam huiusmodi minister hodie uite succurreret indigencie") [17. P. 180].

The legend included by Wilbrand of Oldenburg in the itinerary is of a local nature, because it is tied to a specific area – a mountain near the Thila fortress – "the mountain of adventures." In fact, it is largely through the work of Wilbrand of Oldenburg that this Armenian legend, extant in 13th-century Cilician Armenia, was recorded and preserved for posterity.

¹ In 1266, when the Mamluk Sultan of Egypt and Syria Al-Malik al-Zahir Rukn al-Din Baybars al-Bunduqari (more known as Baibars) captured the fortress, it was in the possession of the Templars [19. P. 374–375].

² In Russian folklore, it is called a self-assembling tablecloth. – See the Index of Aarne Thomson (D1472.1.8. – Magic table-cloth supplies food and drink. (Cf. D1153.1.)) [22] and Comparative Index of motifs by Andreev (# 563 – Чудесные дары: человек получает скатерть-самобранку) [23].

Can the legend recorded by Wilbrand of Oldenburg – whose authenticity he himself affirmed – be considered the "archetypal matrix" for Mandeville's tale of the sparrow-hawk's castle? The answer is ambiguous. It is plausible that Mandeville, likely drawing upon a version of this widely-circulated Cilician legend, adopted its core "test–reward" motif. However, he significantly elaborates upon this foundation, enriching the semantic core with additional narrative layers and complicating its structure. Mandeville reframes the plot according to the scheme of a chivalric adventure novel. Furthermore, his narrative is not devoid of historicity by anchoring the action within a specific historical timeframe.

A comparison of the Mandeville and Oldenburg versions reveals both a shared foundation and significant divergence.

1. The narratives are united by a common plot structure centered on the "test–reward" motif. As Oldenburg states, "luck and success undoubtedly await the one whoever, after six weeks of fasting and days of repentance, climbs the mentioned mountain." Mandeville's version features a similar ordeal: the fairy will fulfill the first request for any earthly thing of the one who "seven days and seven nights, (and as some men say, three days and three nights) without company and without sleep" will entertain the sparrow-hawk.

2. Furthermore, both authors set their tales at a specific, symbolic location: a fortress or castle upon a mountain. Oldenburg locates the legend at the "mountain of adventures," while Mandeville describes a castle on a rock inhabited by a beautiful maiden with a falcon (a sparrow-hawk). Thus, a similar set of core motifs is evident. However, the parallels end here. A crucial element in Mandeville's composition – the violation of a taboo – is entirely absent from Oldenburg's legend. Mandeville's narrative tension hinges on the Armenian king's transgression against the fairy's condition that he wish only for "any earthly thing."

Thus, this study has traced the literary lineage of the legend of the Sparrow Hawk Castle and the cursed Armenian king from its appearance in John Mandeville's *Travels* to its subsequent adaptations in Johann Schiltberger's *The Bondage and Travels of Johann Schiltberger: a native of Bavaria, in Europe, Asia, and Africa, 1396–1427* and the romances of *Mélusine* by Jean of Arras and *The Romans of Paternay, or of Lusignen: Otherwise Known as the Tale of Melusine* by Couldrette [26; 27]). It has also proposed a geographical locus for the Sparrow Hawk Castle-Fortress itself.

While future discoveries may yield further evidence, the analysis underscores the need for continued elaboration and analysis of Mandeville's original narrative of the sparrow-hawk and the fairy.

References

1. Mandeville, J. (1900) *The Travels of Sir John Mandeville*. The version of the Cotton Manuscript in modern spelling. London & New York: Macmillan. [Online] Available from: <https://www.gutenberg.org/files/782/782-h/782-h.htm>
2. Manandyan, Ya.A. (1954) *O trgovle i gorodakh Armenii v svyazi s mirovoy trgovley drevnikh vremen* [About trade and cities of Armenia in connection with world trade of ancient times]. Yerevan: AS ArmSSR.
3. Mikaelyan, G.G. (1952) *Istoriya Kilikiyskogo armyanskogo gosudarstva* [History of the Cilician Armenian State]. Yerevan. AS ArmSSR.
4. Hakobyan, T.Kh., Melik-Bakhshyan, St.T. & Barseghyan, H.Kh. (1986–2001) *Hayastani yev harakits' shrjanneri teghanunneri barraran* [Dictionary of Toponymy of Armenia and Adjacent Territories]. Yerevan: Yerevani Hamalsarani hrat.
5. Alishan, L. (1899) *Sissouan, ou L'Arméno-Cilicie: description géographique et historique, avec cartes et illustrations / traduit du texte arménien*. Venise: S. Lazare.
6. Xavier, W. (1997) *Avant les grandes découvertes: une image de la terre au XIV^e siècle: Le voyage de Mandeville*. Roissy-en-France. Alban.
7. Schiltberger, J. (1879) *The Bondage and Travels of Johann Schiltberger: a native of Bavaria, in Europe, Asia, and Africa, 1396–1427*. London: Printed for the Hakluyt Society.
8. Ainsworth, W. (1842) *Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia by Ainsworth, William*. Vol. I. London. John. W. Parker.
9. Schiltberger, J. (1867) *Puteshestvie Ivana Shil'tbergera po Evrope, Azii i Afrike s 1394 goda po 1427 god* [Journey of Ivan Schiltberger through Europe, Asia and Africa from 1394 to 1427]. Translated by P. Bruun). Vol. 1. Odessa: Zapiski imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta.
10. d'Édesse, M. (1858) *Chronique de Matthieu d'Édesse. Bibliothèque historique arménienne par Edouard Dulaurier*. Paris: Durand.
11. Langlois, V. (1863) *Le Trésor des Chartes d'Arménie*. Venise: Typographie Arménienne de Saint Lazare.
12. Bardzrberd – Hakobyan, T.Kh., Melik-Bakhshyan, St.T. & Barseghyan, H.Kh. (1986–2001) *Hayastani yev harakits' shrjanneri teghanunneri barraran*. [Dictionary of Toponymy of Armenia and Adjacent Territories]. Yerevan: Yerevani Hamalsarani Hratarakch'ut'yun. ej 631.
13. Classen, A. (2020) The Sparrow Hawk Castle – A Mostly Ignored Literary Motif Across the Cultures and the Centurie. *Quidditas*. 41. pp. 43–68.
14. Mandevilles, J. (1974) *Reisebeschreibung*. Translated into German by M. Velser. Berlin: Akademie-Verlag.

15. Deluz, Ch. (1988) *Le Livre de Jehan de Mandeville, une "géographie" au XIV-e siècle*. Louvain la- Neuve: Université Catholique de Louvain, published by Brepols – Harvey Miller.
16. Forstreuter, K. (1967) *Der Deutsche Orden am Mittelmeer*. Bonn: Verlag Wissenschaftliches Archiv.
17. Oldenborg, W. de (1864) *Peregrinatores medii aevi quatuor. Burchardus de Monte Sion, Ricoldus de Monte Crucis, Odoricus de Foro Julii, Wibrandus de Oldenborg. Quorum duos nunc primum edidit, duos ad fidem librorum manuscriptorum, Johann C.M. Laurent*. Lipsiae: Hinrichs.
18. Castles.nl. (n.d.) *Toprakkale Castle*. [Online] Available from: Access mode: <https://www.castles.nl/toprakkale-castle>
19. Ibn Abd al-Zahir. (2021) *Otar aghbyurnery Hayastani yev hayeri masin, Arabakan aghbyurner, Kilikyan Hayastani patmut'yan mamluk'yan skzbnaghbyurnery* [Foreign sources about Armenia and Armenians, Arabic sources, Mamluk sources of the history of Cilician Armenia]. Vol. 4. Yerevan: Matenadaran.
20. Sparapet, S. (1974) *Letopis'* [Chronicle]. Yerevan: Ayastan.
21. Langlois, V. (1863) *Le Trésor des Chartes d'Arménie*. Venise: Typographie Arménienne de Saint Lazare.
22. Thompson, S. (1955–1958) *Motif-Index of Folk-Literature*. D1472.1.8. D1472.1.8. *Type 569; Irish myth: Cross; Icelandic: *Boberg; Breton: Sébillot Incidents s.v. "serviette"; Missouri French: Carrière; Italian: Basile I No. 1. 2497p. [Online] Available from: https://ia600301.us.archive.org/18/items/Thompson2016MotifIndex/Thompson_2016Motif-Index.pdf
23. Andreev, N.P. (1929) *Ukazatel' skazochnykh syuzhetov po sisteme Aarn*. [Index of fairy tale plots according to the Aarne system]. Leningrad: Russian State Geographical Society. Plot 563. [Online] Available from: <https://www.ruthenia.ru/folklore/sus/index.htm>
24. D'Arras, J. (1932) *Mélusine*. Dijon: imp. Bernigaud et Privat.
25. D'Arras, J. (1895) *Mélusine by Jean d'Arras; Donald, Alexander Karley*. London: Publisht (sic) for the Early English Text Society by Kegan Paul, Trench, Trübner. [Online] Available from: <https://archive.org/details/melusine00jeanuoft/page/367/mode/1up>
26. Couldrette. (1854) *Mélusine*. Niort: Robin et L. Favre.
27. Couldrette. (1866) *The Romans of Partenay, Or of Lusignan: Otherwise Known as the Tale of Melusine*. [Online] Available from: https://books.google.am/books?id=HYQNAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb&redir_esc=y#v=onepage&q=%20melior&f=false

Information about the authors:

K.H. Bejanyan, Cand. Sci. (Philology), head of the Department of Foreign and Comparative Literature and Theory of Literature, Manook Abeghyan Institute of Literature of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (Yerevan, Republic of Armenia). E-mail: bejanyan@litinst.sci.am

G.L. Karagyozyan, Cand. Sci. (Philology), senior researcher, Manook Abeghyan Institute of Literature of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (Yerevan, Republic of Armenia). E-mail: gkaragyozyan@gmail.com

The authors declare no conflicts of interests.

Информация об авторах:

Беджаниян К.Г. – канд. филол. наук, заведующая отделом зарубежной литературы, литературных связей и теории литературы Института литературы имени Манука Абегамяна Национальной академии наук Республики Армения. E-mail: bejanyan@litinst.sci.am

Карагезян Г.Л. – канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института литературы имени Манука Абегамяна Национальной академии наук Республики Армения (Ереван, Республика Армения). E-mail: gkaragyozyan@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The article was accepted for publication 23.05.2025.

Статья принята к публикации 23.05.2025.

Научная статья

УДК 821.161.1+82.091

doi: 10.17223/24099554/24/2

Образные трансформации в переводах Ф. Фидлера пейзажных стихотворений А.А. Фета

Елена Александровна Логинова¹

Татьяна Владимировна Обласова²

^{1, 2} Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

¹ e.a.loginova@utmn.ru

² t.v.oblasova@utmn.ru

Аннотация. В статье дополнены представления о понимании современниками специфики изображения А. Фетом природы. На основе анализа переводов Ф. Фидлера на немецкий язык репрезентативных с точки зрения художественных особенностей стихотворений «Чудная картина», «Весенний дождь», «Это утро...» обнаружено, что за пределами внимания переводчика оказываются важнейшие приметы фетовского мира: внутренняя логика образов, «точка зрения» и смена «планов» изображения, «трепетность» и переходность образов и состояний.

Ключевые слова: образные трансформации, перевод стихотворений А. Фета на немецкий язык, пейзажная лирика, особенности художественного мира.

Для цитирования: Логинова Е.А., Обласова Т.В. Образные трансформации в переводах Ф. Фидлера пейзажных стихотворений А.А. Фета // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 19–38. doi: 10.17223/24099554/24/2

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/2

Figurative transformations of Afanasy Fet's landscape lyrics in Friedrich Fiedler's translations

*Elena A. Loginova*¹

*Tatyana V. Oblasova*²

^{1, 2} *University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation*

¹ *e.a.loginova@utmn.ru*

² *t.v.oblasova@utmn.ru*

Abstract. This article employs a historical-functional approach to expand upon Vadim Kozhinov's observation that Afanasy Fet's contemporaries often oversimplified the nature imagery in his poetry, perceiving his brilliant lyrics as an uncomplicated, "secondary phenomenon." The authors analyze Friedrich Fiedler's German translations of three landscape lyrics from distinct periods of Fet's career: "Wonderful Picture" (1842, early period), "Spring Rain" (1857, a peak of inspiration), and "This Morning..." (1881, from the "Evening Lights" period). These poems are representative of the consistent artistic features in Fet's oeuvre. A comparative analysis of the originals and translations reveals that Fiedler, despite his profound sympathy for Fet's work and his success with other poems (even those approved by Fet), aligns his translations of the landscape lyrics, which are free from romantic experience (as in "Whisper, timid breath") or philosophical reflection (as in "Storm in the evening sky"), with contemporary perceptions of Fet as a follower of the Romantics (particularly Goethe and Heine) and a creator of momentary poetic sketches of nature. The study finds that Fiedler overlooks the internal compositional logic of Fet's imagery – such as the progression from visual to auditory, or from external to internal perspectives. He fails to render the lyrical subject's specific "point of view," which serves as the foundation for a "cinematic" shift of image "planes." This technique, involving the movement of the gaze, creates spatial depth and internal dynamism. Consequently, key aspects of Fet's poetic world – later identified by scholars such as Mikhail Gasparov, Yury Lotman, Vadim Kozhinov, and Igor Sukhikh – remain unrepresented. The translations disrupt the compositional movement from an objective picture to an experienced, interiorized one and replace Fet's characteristic "unsteadiness," "reverence," and "airiness" with simpler impressions like "light" or "bright." Furthermore, Fiedler omits recurring images (e.g., willows, birches, nightingales) that connect these poems to Fet's larger artistic universe and function as his distinctive poetic signatures.

Keywords: figurative transformations, translation of Afanasy Fet's lyrics into German, landscape lyrics, features of the artistic world

For citation: Loginova, E.A. & Oblasova, T.V. (2025) Figurative transformations of Afanasy Fet's landscape lyrics in Friedrich Fiedler's translations. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 19–38. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/2

Глубокие связи А.А. Фета с немецкой литературой давно привлекают внимание исследователей. Для этой связи, как показывают многочисленные работы, есть и биографическая основа, а также интерес самого поэта и к немецкой поэзии (к Г. Гейне и И.В. Гете прежде всего), и к немецкой философии (А. Шопенгауэру), в том числе как их переводчика (В.М. Жирмунский, И.Н. Лагутина и др.). Вызывает интерес и тема перевода стихотворений А. Фета на немецкий язык. Уже при жизни поэта по просьбе И.С. Тургенева были осуществлены переводы его стихотворений на немецкий язык Фридрихом Боденштедтом, Карлиной Павловой, Фридрихом Фидлером. Сопоставительному анализу оригинала стихотворения А. Фета «Я вдаль иду моей дорогой...» и его перевода Каролиной Павловой была посвящена статья Д.Н. Жаткина и О.В. Родиковой [1]. А.М. Поликарпов провел сопоставительный анализ трех стихотворений А. Фета раннего периода его творчества («Буря на небе вечернем», «Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад» и «Шепот, робкое дыханье...») и их переводов Ф. Фидлера, оцененных самим поэтом как удачные [2]. Из работы С.Ю. Стекланниковой, проанализировавшей представленность лирики А. Фета в немецких антологиях второй половины XX – начала XXI в., следует, что у немецких издателей поэт был менее популярен в сравнении с Ф.И. Тютчевым и что «канонический» русский Фет, ассоциирующийся в отечественном литературоведении с пейзажной лирикой, не находит отклика у немецких антологистов. Пейзажная лирика, по мнению исследователя, «скорее призвана создать фон для философской лирики», что, очевидно, обусловлено «философским мировоззрением и мироощущением немецкой поэзии и немецкой культуры в целом» [3. С. 354–355]. При этом, по наблюдениям исследователей, переводчики допускают неточности, которые для фетовской образности и даже смысла оказываются существен-

ными. Так, в переводе Каролины Павловой обнаруживаются «сглаженность» передаваемого чувства, смещение акцентов, не совсем точная интерпретация биографических фактов [1].

Материалом для сопоставления в рамках данного исследования явились переводы Ф. Фидлера на немецкий язык трех репрезентативных с точки зрения художественных особенностей пейзажных стихотворений А. Фета разных периодов творчества: «Чудная картина» (1842), «Весенний дождь» (1857), «Это утро...» (1881). Переводы представляют интерес для историко-функционального исследования, имеющего целью «выяснение жизни художественных произведений», без которого «наши знания литературного процесса оказываются неполными» [4. С. 225], и дополняющего представления о понимании особенностей фетовских картин природы современниками поэта. Важно, что переводы выполнил автор, имеющий отношение, как и А. Фет, к двум культурам, немецкой и русской, при этом увлеченный творчеством поэта и буквально «благословленный» им на этот труд. А. Фет самолично через неделю после встречи, состоявшейся в 1886 г., прислал ему, «согласно обещанию, два тома своих «Стихотворений» и три выпуска «Вечерних огней» с автографом в первом: «Любезному и даровитому...». И пожелал «необходимого одушевления и серьезности в... почтенном труде» и заверил в «симпатии почитателя вашего прекрасного таланта...» [5]. В той же личной беседе А. Фет выразил недовольство тем, что все переводы на немецкий язык его стихов «никуда не годятся», одобрил он только переводы трех стихотворений, сделанные к тому времени Ф. Фидлером. Собрание стихов А. Фета в переводе Ф. Фидлера «Gedichte v. Feth» вышло в 1903 г. в Лейпциге [6] и стало одним из основных источников знакомства немецкого читателя с творчеством русского поэта. Переводы из этого сборника вошли в современное издание центра Рудомино: Фет А.А. «Среди несметных звезд полночи ...»: избранная лирика в немецких переводах.

Выбор для анализа стихотворений определен следующим. «Чудная картина» – стихотворение, признанное «одним из самых хрестоматийных» [7. С. 139] и репрезентативных для творчества А. Фета, оно часто встречается в немецкоязычных антологиях второй половины XX в. в переводах Г. Бауманна, Л. Мюллера, Р. Поллаха, при-

чем, как было показано С.Ю. Стекланниковой, с очевидным нарушением «связи пейзажа с русским национальным самосознанием» [3. С. 354]. Это стихотворение стоит первым в ряду четырех безглагольных стихотворений «Чудная картина», «Это утро...», «Шепот, робкое дыханье...», «Только в мире и есть...», опираясь на анализ которых, М.Л. Гаспаров вывел общую композиционную схему и выявил закономерности построения картины в фетовском мире. Перевод двух последних стихотворений не является предметом внимания в данной статье, поскольку в них пейзаж сопрягается с любовным переживанием, в них есть образ возлюбленной; в этом смысле они отличаются от двух первых. Обращает на себя внимание такое же сопряжение в одобренном А. Фетом переводе «Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад», в стихотворении «Буря на небе вечернем», от перевода которого, по признанию Ф. Фидлера, поэт «был в восторге» [5], состояния стихии и человека («Буря на море и думы, / Хор возрастающих дум...»). Стихотворение «Весенний дождь» А. Фет выделил как «одобряемое» в присланном им Ф. Фидлеру списке из семнадцати стихотворений, оно является весьма показательным с точки зрения художественных особенностей пейзажной лирики поэта, что способствовало его включению в программу российской начальной школы.

Следует отметить, что в переводах Ф. Фидлера восприятие фетовской лирики близко к тому, как его воспринимали многие современники, и сводится к общим суждениям о светлых образах природы, поэтизации обыденных явлений, умении видеть «поэтическое в самых простых вещах» [8. С. 89], об отражении «минутных, быстро проходящих впечатлений» [9]. Как писал Н. Страхов, «он очень часто останавливается на чем-нибудь самом простом, на первой встретившейся картине природы, на переменах дня и ночи, на дожде и снеге или же на самом простом движении мысли и чувства, и вдруг магическим стихом он преображает все это в яркую красоту, в чистое золото поэзии» [9. С. 397].

Устойчивым было восприятие Фета как приверженца «чистой лирики», истоком которой послужил немецкий романтизм, прежде всего поэзия И.В. Гете и Г. Гейне. В. Жирмунский в 1937 г. по традиции характеризовал А. Фета (как одного из трех поэтов наряду с Майковым и Ал. Толстым) как поэта, сохраняющего на протяжении всего

творчества «связь с немецкой поэтической традицией, господствовавшей в 30-х и начале 40-х годов» и противопоставляющего «социально-активной поэзии буржуазно-демократического направления аристократический лозунг «чистого искусства», опирающийся на гетевское изречение: «Я пою, как птичка на ветвях» («Ich singe wie der Vogel singt») [10. С. 590]. Автор некролога, посвященного Фету в «Русской мысли», по мнению Жирмунского, *справедливо* указывал на связь его умственных интересов с романтической культурой начала 40-х гг.: «Фету суждено было выступить на литературное поприще в эпоху 40-х годов, господства эстетико-философских взглядов, когда у нас все, без различия литературных партий и направлений, преклонялись перед немецкой поэзией и философией, когда восторгаться Гете и Гегелем считалось столь же естественным, как и обязательным не только для литератора, но и вообще для образованного человека». Жирмунский соглашается с мнением автора, что ранние стихи Фета написаны «в духе мелких лирических стихотворений Гете» и с Гете Фет перекликается прежде всего как с автором интимных лирических стихотворений [10. С. 590].

Очевидно, что современники видели только картину природы – предмет изображения, но еще не отрефлексировали характерные, уникальные фетовские черты ее выстраивания. Поэтому закономерно, что специфика фетовских картин, осмысленная значительно позже в работах М.Л. Гаспарова, Л.М. Лотман, В.В. Кожина, И.Н. Сухих и других литературоведов, не была учтена в переводах Ф. Фидлера. Хотя, как отмечает А.М. Поликарпов, опираясь на сопоставительный анализ названных выше лирических произведений с их переводами («Буря на небе вечернем», «Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад» и «Шепот, робкое дыханье...»), «практически все внешние проявления оригинала, связанные со звучанием, ритмом и размерами стиха, в стихотворном переводе Фидлера учтены и воссозданы» [2. С. 83].

В.В. Кожин отмечал, что «в течение долгого времени (а отчасти это сохраняется и поныне) гениальная лирика Фета воспринималась большинством читателей как заведомо “второстепенное” явление. Лишь сравнительно недавно в поэзии Фета начали открывать глубину и размах художественного смысла...» [11. С. 696–697]. Анализ ком-

позиционных особенностей картин природы прежде всего в «безглагольных» стихотворениях, проведенный М.Л. Гаспаровым [7], в сопоставлении с картинами, «воссозданными» Ф. Фидлером, позволяет увидеть их глубинное несовпадение, свидетельствующее о поверхностном, упрощенном восприятии фетовских образов.

М.Л. Гаспаров раскрыл строгую внутреннюю логику, присутствующую у Фета в описании предметов, перемещения взгляда с предмета на предмет, обнаруживаемую и в четырех безглагольных фетовских стихотворениях: «Чудная картина», «Это утро...», «Шепот, робкое дыханье...», «Только в мире и есть...» и, например, в «Уснуло озеро» в сопоставлении с пародийным палиндромом Д. Минаева «Пусть травы на воде русалки колыхают». Так, в качестве закономерностей он отмечает в фетовском мире смену зрительной картины на звуковую; суживающееся пространство – от более широкого, объемного до точки и интериоризации, переживания его; живость, активность, «блеск и силу» природы, в которую вписывается человеческое «я» [12. С. 176].

Сопоставительный анализ оригинала стихотворения «Чудная картина» и его перевода с позиций, предложенных М.Л. Гаспаровым, показывает, что «упорядоченная и стройная» последовательность смены образов не воссоздается в переводе. Если в оригинале движение взгляда таково: «“Белая равнина” – это мы смотрим прямо перед собой, “Полная луна” – наш взгляд скользит вверх... В словах: “Белая равнина, полная луна” еще нет субъективной оценки: “картина перед нами спокойная и мертвая, на первый взгляд, противоречащая характеристике “чудная” первой строки» [7. С. 140], то в переводе этого движения нет. «Vor mir – weiße Steppe» – Передо мной – белая степь, и лунное сияние – тоже вокруг меня «Um mich – Mondesglanz». Таким образом, взгляд остается на уровне земли. В переводе сразу же появляется сияние луны. Удивительного обретения картиной эмоциональной окраски, тонкого и постепенного, по определению М.Л. Гаспарова, не происходит. К тому же в переводе снимается ключевая характеристика картины – «чудная», она дана как «родная» – «Heimatbild». И, соответственно, все дальнейшее построение, работающее в оригинале на раскрытие «чуждости»: «Свет небес высоких / И блестящий снег», где ключевым соединяющим землю и

небо компонентом является пронизанность светом, передано в переводе более прозаично и без внутренней связи образов неба и снега: «Droben – Himmelshelle (Наверху – небесный свет)/ Rundum – Schnee und Eis» (Вокруг – снег и лед). «Снег и лед» в переводе возвращают ощущение объективной мертвой картины. Внутреннее однонаправленное движение фетовской картины от объективной картины к картине переживаемой, интериоризованной, оказывается нарушенным.

И саней далеких Одинокий бег.	Und in öder Ferne Öden Schlittens Gleis!	И в пустынной дали Безлюдный / пустынный след саней!
----------------------------------	---	--

Смысловым искажением выглядит и перевод последних двух строчек, поскольку субъект, рисуемый как одинокий в своем движении, – сани, заменяется следом, оставленным санями. Неподвижный мир, становящийся движущимся в конце оригинала, в переводе так и остается неподвижным и безлюдным.

В отсутствии внутренней динамики внешне неподвижной картины, в отсутствии пронизанности мира светом (свет в переводе остается принадлежностью только луны и неба, что, безусловно, логично с точки зрения природоустройства, но разрушает специфику фетовского образа) состоит главное отличие мира, воссозданного в переводе как мира мертвого, застывшего, неподвижного (хотя и родного), от мира стихотворения – живого, динамичного, прочувствованного и «чудного». И эта образная подмена имеет принципиальный характер, поскольку, по признанию отечественных литературоведов (М.Л. Гаспаров, И.Н. Сухих и др.), «Фет никогда не прибегает к чистой описательности. Остановленное мгновение всегда полно внутренней динамики, пейзаж необычайно подвижен» [13. С. 419]. Стихотворение в переводе превращается в перечисление признаков родной картины: белая равнина, сияние луны, снег и лед, след саней в пустынной дали – как холодного, безжизненного пространства.

В стихотворении «Это утро...», построенном внешне как каталог, М.Л. Гаспаров так же обнаружил внутренний порядок в последовательности образов, определяющийся «сужением поля зрения и интериоризацией изображаемого мира» [7. С. 140]. В переводе эта логика

снова не выдерживается. Первые же строчки перевода свидетельствуют о распадении заданной в фетовском тексте связности, одновременности состояний природы и человека. В переводе строка «Это утро, радость эта...» дана как пейзажная картина, логичная с точки зрения природы: Dieser Morgen – diese Sonne (Это утро – это солнце). Состояние лирического субъекта в переводе раскрывается во второй строчке: Diese Hoffnung – diese Wonne (Эта надежда – это блаженство), заменяя собой и, соответственно, снимая характеристику силы, интенсивности переживания торжества весеннего дня в оригинале: «Эта мощь и дня, и света...». При переводе первой строфы Ф. Фидлер производит изменение порядка слов (здесь и далее цит. по [6]):

Это утро, радость эта, Эта мощь и дня, и света, Этот синий свод, Этот крик и вереницы, Эти стаи, эти птицы, Этот говор вод.	Dieser Morgen – diese Sonne – Diese Hoffnung – diese Wonne – Dieses Perlgetau – Dieser Wasser helles Klingen – Dieser Vögel buntes Singen – Dieses Himmelsblau.	Это утро – Это солнце – Эта надежда – Это блаженство – Эта жемчужная роса – Этот яркий звук воды – Это красочное пение птиц – Это голубое небо.
--	--	--

Перемещение строк в переводе снимает обнаруженную М.Л. Гаспаровым в фетовском стихотворении закономерность в построении образов с учетом перемещения взгляда: первая строфа – «взгляд вверх». «Жемчужная роса» в переводе нарушает привязку к верху – небу, «звук воды» оказывается ближе к середине строфы, а не в конце, как в оригинале, где он имеет продолжение во второй строфе, определенной М.Л. Гаспаровым как взгляд вокруг: «Взгляд этот брошен невысоко от земли и поэтому сразу упирается в “ивы и берёзы” – и от них отбрасывается всё ближе, во всё более крупные планы: “эти капли” на листьях..., “этот... лист”... Приходится бросить взгляд вторично, уже выше над землей; он уходит дальше, пока не упирается в «горы» и «долы»; и от них опять скользит обратно, всё ближе, встречая на пути, в воздухе, сперва дальних мелких мошек, а потом близких крупных пчёл» [7. С. 141].

Логика перемещения взгляда в переводе иная: утро–солнце (закономерное природное сочетание), затем – переживания лирического субъекта, обусловленные утром и солнцем (надежда, блаженство), следом – взгляд прямо перед собой (жемчужная роса) и на уровне

ближнего кругозора слышимый звук (воды) и пение птиц и только потом обращение взгляда вверх – к «голубому небу». Взгляда в стороны во второй строфе в переводе нет: во-первых, отсутствуют объекты – ивы и березы. Во-вторых, нет детализации образа: нет всматривания в их зелень, выраженного через отрицательное сравнение в оригинале, где именно как детализация выглядят капли-слезы, а затем – пух (не лист), в переводе это дано упрощенно-обобщенно «зеленый пух». Соответственно, капли-слезы воспринимаются в отрыве от целостного образа деревьев. Капли-слезы даны сразу же после голубого неба, а с зеленым пухом их разделяет непонятно чему / кому принадлежащее предчувствие – страстное томление. Томление и предчувствие в этом контексте обретают связь со слезами и воспринимаются как относящиеся к лирическому субъекту.

Эти ивы и березы,	Dieses Tropfen – diese Tränen –	Эти капли – эти слезы –
Эти капли – эти слезы,	Dieses Ahnen – dieses Sehnen –	Это предчувствие – это томление –
Этот пух — не лист,	Dieser grüne Flaum –	Этот зеленый пух –
Эти горы, эти доли,	Dieses Flirren – dieses Flimmen –	Это мерцание – это порхание –
Эти мошки, эти пчелы,	Diese Mücken – diese Im-	Эти мошки – эти пчелы
Этот зык и свист,	men – dieser wache Traum;	Этот сон наяву;

Исключение из образного ряда в переводе «ив и берез» представляется существенным в смысловом отношении не только с учетом вышеприведенных наблюдений М.Л. Гаспарова об организации художественного пространства. Важно, что именно «ивам и березам», в стихотворении данным в виде словосочетания, посвящено отдельное стихотворение, которое так и называется «Ивы и березы», написанное значительно раньше – первый вариант в 1843 г., окончательный в 1856 г. – и свидетельствующее о неслучайности этого парного образа в стихотворении «Это утро...». По наблюдениям И.З. Сурат, «ива – любимое дерево Фета, много раз она упомянута им в стихах и воспета во всех изумляющих деталях ее облика...» [14. С. 209]. В стихотворении «Ивы и березы» плакучая ива противопоставлена «как древо мировой скорби... локально плачущим березам», но их объединяет то, что «деревья принимают на себя общее горе и общую скорбь, они глубинно солидарны с человеком» [14. С. 207–208]. Образ страдающей березы создается и в стихотворении «Учись у них, у дуба, у березы...» («Кругом зима. Жестокая пора! / Напрасные на них застыли слезы, /

И треснула, сжимаяся, кора»). Таким образом, появление как точки остановки взгляда в весеннем стихотворении «ив и берез» с уточнениями «капли-слезы»: «Эти ивы и березы, / Эти капли – эти слезы, / Этот пух – не лист...» – актуализирует контекст многообразного явления «слез» у Фета и как свидетельств страданий и испытаний, «напрасные», «таинственные», и как переизбытка чувств («И лобзания, и слезы...»). «Слезы, плач – частые у Фета слова, обозначающие... восторг, экстатическое душевное состояние; иногда это метафора (в предметном плане – обозначение росы на траве и цветах). Лексема слезы объединяет два значения, названные в стихотворении «Я знал, что нам близкое горе грозило...»: «сладость страдания» и «тайную радость страдания любви» [15. С. 30]. Следовательно, исключение этих образов не только изымает очень важную, как показывает М.Л. Гаспаров, пространственную точку, но и как бы отменяет целый смысловой фрагмент, связанный с темой преодоления «жизнью и весной» «слез», «страданий», «скорби» в художественном мире А. Фета.

В целом во второй строфе перевода переживание лирического субъекта представлено значительно более объемно (это и слезы, это и предчувствие, томление, это и сон наяву), чем в оригинале. Вся конструкция, описанная М.Л. Гаспаровым как внешний кругозор, отраженный в двух первых строфах: «...сперва высокий круг небосвода, потом узкий круг ближних деревьев и, наконец, связующий их средний круг горизонта; и в каждом круге взгляд движется от дальнего обода к ближним предметам» [7. С. 141], – не проявляет себя в переводе, поскольку нет гор, ни дола, ни берез и ив.

Также М.Л. Гаспаров отмечает закономерное дополнение зрительного образа звуковым: «Первое впечатление – зрительное: “утро”; и затем – ряд существительных, словно на глазах у читателя уточняющих это впечатление...: “день”, “свет”, “свод”. ...И на этой остановке включается второе впечатление – звуковое, и опять проходит ряд слов, уточняющих его до точного названия. Звуковой образ “крик” (чей?) перебивается зрительным образом “вереницы” (чь?), они связываются друг с другом в слове “стаи” ... и, наконец, получают название в слове “птицы” (вот чьи!). ...И на этой остановке включается новое направление – впервые не вверх, а в стороны. Со стороны – со всех сторон? – доносится звук (“говор вод”))» [7. С. 141]. В переводе в

целом заметно упрощение картины, снятие ее внутреннего напряжения: интенсивная звуковая огласовка (крик, говор, зык, свист, дробь, трели) облекается до пения птиц и некоего «яркого звука воды».

Содержание третьей строфы М.Л. Гаспаров определяет как «взгляд внутрь»:

Эти зори без затмения,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это всё – весна.

Здесь, по мнению исследователя, включается «чувство времени»: «зори без затмения» – длящиеся зори и «ночь без сна», которые контрастируют с ожиданием смены вечера ночью и замиранием жизни, и воцарением сна. В переводе чувства времени нет, есть только фиксация суточного состояния природы – «вечерняя заря» и «лунное сияние» и подчеркнутая связь с чувством.

Diese Abendröte Prangen – Dieses Seufzen – Dieses Bangen – Dieses Mondgeglänz – Diese schwüle Glut des Pfühles – Dieses Tasten des Gefühls Dieses – ist der Lenz!	Это украшение вечерней зари – Этот вздох – Это беспокойство – Это лунное сияние – Это знойность чувства – Это ощущение (чувство) прикосновения Это – весна!
--	--

Отмеченное в оригинале сужение поля зрения: небо («зори»), земля («селенье») – «ночь без сна» (всего селенья и моя?), «мгла и жар постели» (конечно, только моей) – нарушено. «И, достигнув этого предела, образность опять переключается в звук: “дробь и трели”. (Они подсказывают образ соловья, традиционного спутника любви, и этого достаточно, чтобы “дробь и трели” ощущались более интериоризованно, чем “зык и свист” предыдущей строфы)» [7. С. 141].

Как мы видим, в переводе из общей картины соловей, не названный, но данный через звук, исчезает. Вместе с тем, согласно подсчетам, приведенным в книге «А.А. Фет (Шеншин): Материалы к характеристике» (1915), «соловей в фетовской поэзии, упоминается сорок

девять раз (если учитывать метафорические конструкции – шестьдесят восемь)», поэтому «хотя соловей – банальный поэтический образ, он стал для современников знаком фетовского творчества» [15. С. 25]. Соловиное пение озвучивает переживание весны в стихотворениях «Еще майская ночь...» («И в воздухе за песнью соловьиной / Разносятся тревога и любовь»); «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...»; «Я жду... Соловиное эхо...»; «Весеннее небо глядится...» («То сердце замрёт, то проснётся / За каждой безумною трелью...») и еще в целом ряде других. По определению М. Эпштейна, Фет «первенствует по “розам” и “соловьям”, которые в его лирике символически воплощают связь любви, природы и вдохновения. Красота и творчество – то, *чем* и *как* вдохновляется поэт, – находят свои прообразы: в цветущей розе и поющем соловье, их взаимном влечении... (поэма “Соловей и роза” и еще более 10 стихотворений)» [16. С. 222].

Все эти исключения образов превращают фетовское стихотворение в переводе в набор весенних романтических стереотипов: утро – солнце; надежда – блаженство; затем перечень характерных черт весеннего дня: жемчужная роса, голубое небо, пение птиц, звук воды, капли-слезы, которые могут быть связаны как с жемчужной росой, так и с водой, мерцание и блеск (ассоциативно связываемых тоже с водой), мошки и пчелы. Картина – штрихами обрисовывающая летний день где-то на берегу водоема или около ручья, укладывающаяся в стилистику идиллического описания. Картина вечера-ночи выглядит традиционно романтически – сон наяву, сияние вечерней зари, томление, сияние луны, жар постели.

Все переживания лирического героя в переводе сводятся к надежде, наслаждению, томлению, и последнее может прочитываться как страсть. Благодаря всему этому стихотворение прочитывается как рассказ о любовном весеннем переживании. В стихотворении же Фета дана не одна картина, а целостная картина весны, состоящая из ряда быстро сменяющих друг друга картин, каждой из которых присуще свое звуковое оформление – день: крик птиц, говор вод, зык, свист; ночь: вздох селенья, дробь трели. Ликование, радость, ночь без сна принадлежат не одному лирическому субъекту, а всему окружающему, это общее состояние мира, в которое включен и субъект. Таким образом, создается впечатление, что в переводе стихотворение

А. Фета выглядит действительно как достаточно простенькое стихотворение интимного характера.

Интересные наблюдения о восприятии фетовской пейзажной картины Ф. Фидлером дает сопоставительный анализ оригинала и перевода стихотворения «Весенний дождь», которое, как было сказано выше, А. Фет назвал среди наиболее «одобряемых» им самим.

Характерной чертой лирики А. Фета является конкретизация точки зрения наблюдателя. Часто, как определяет позицию наблюдателя И.Н. Сухих, это – «мир, увиденный из усадебного окна, и усадьба как центр мироздания» [13. С. 415]. Окно является «повторяющимся, устойчивым образом фетовской лирики» [17. С. 53]. Н.П. Сухова приводит целый ряд примеров стихотворений, подтверждающих это: «В окна снег валит клоками...» («Кот поет, глаза прищуря...»); («И крупный дождь в стекло моих окон / Стучится глухо» («Хандра»); «Вот утро севера — сонливое, скупое — / Лениво смотрится в окно волоковое»; «Люблю я немятого луга / К окну подползающий пар» («Деревня»); «Печальная береза / У моего окна» («Печальная береза...»); «Те же окна, как вчера, / Те же двери, та же свечка, / И опять хандра...» («Не ворчи, мой кот-мурлыка...»). А.М. Ранчин дополняет этот список стихотворениями: «Безмолвные поля оделись темно-тою...» («И снова тихо всё. Уж комары устали/ Жужжа влетать ко мне в открытое окно: / Всё сном упоено...»); «Ласточки пропали...» («Ночью ветер злится / Да стучит в окно»); «Не спрашивай, над чем задумываюсь я...» («Так голубь, бурю застигнутый, в стекло, / Как очарованный, крылом лазурным бьется») [15. С. 9].

Таким образом, картина у Фета дается как воспринятая здесь и сейчас, привязанная к месту и времени, а не вообще какая-то – где-то – когда-то – картина. Однако расхождение обнаруживается в первой же строчке перевода: если у А. Фета «Ещё светло перед окном» – легко восстанавливаемое местоположение лирического субъекта, которое потом будет поддержано в третьей строфе «Две капли брызнули в стекло / От лип душистым медом тянет», – зрительное и ольфакторное восприятие, возможное при нахождении внутри комнаты у окна, то у Ф. Фидлера эта конкретика снимается – просто некоторое вокруг: «Noch ist es hell, noch blitzt um mich» (Все еще светло, еще сверкает вокруг меня). И в третьей строфе перевода: «Nun hör ich an mein Fenster-terglas / Vereinzelt schwere Tropfen schmettern» (Теперь я слышу, как

бьются о мое оконное стекло / Отдельные тяжелые капли) – образ становится исключительно слуховым и не требующим обязательного нахождения у окна.

При этом в переводе появляется конкретика местонахождения солнца: «Die Sonne, schwebend ob dem Hügel» (Солнце, зависшее (парящее) над холмом), – хотя в стихотворении «разрывы облак», в которые блещет солнце («В разрывы облак солнце блещет»), – это не место, а скорее характеристика пограничного состояния: облака уже затянули небо, но не плотной массой, солнце еще пробивается сквозь них. Это работает на семантику скоротечности, выраженной наречием *еще*. Таким образом, в переводе картина получилась более устойчиво светлая, без уловленного состояния переходности, создаваемого за счет «разрывов облак».

Иначе выглядит и образ воробья: нет фетовского глагола – трепещет («И воробей своим крылом, / В песке купаясь, трепещет»). В переводе он купается в пыли и расправляет крыло от восторга: «Und in dem Staube badet sich / Der Spatz und spreizt voll Lust die Flügel». Вместе с тем данная замена точки зрения фетовского мира выглядит принципиальной, поскольку колыхание, дрожание, трепетание – это важнейшие характеристики фетовского мира. «Самый частый эпитет, который прилагает Фет к явлениям природы, – “трепещущий” и “дрожащий”» [16. С. 222]. «Обыкновенные состояния природы у Фета – колыханье и трепет» [15. С. 28]. «...Фет даже неподвижные предметы в соответствии со своими представлениями об их „совершенной сущности“ приводит в движение: заставляет колебаться, качаться, дрожать, трепетать» [18. С. 572].

В стихотворении А. Фета описывается приближение дождя, но не сам дождь. Дождь дан вначале как видимая из окна «движущаяся качающаяся от неба до земли завеса», затем зрительный образ – две капли, брызнувшие в стекло, затем обонятельный образ – «от лип душистым медом тянет», сам же дождь – только звуковой образ – как «что-то», что «к саду подошло» и «по свежим листьям барабанит». В переводе исчезает описание постепенности приближения дождя – движения его издали – от опушки леса («качаясь, движется завеса»). Описания изменений за окном – от «еще светло» к «двум каплям» на стекле – и звуковому восприятию невидимого, но уже слышимого

стука по листьям – «барабанит». Отсутствует ольфакторное ощущение – «от лип душистым медом тянет» – запах, усиливающийся при приближении дождя. Воспринимаемая субъектом, стоящим у окна, разными органами чувств изменяющаяся картина приближения дождя – визуальная, звуковая, ольфакторная – заменена тремя разрозненными картинками. Первая – состояние до дождя – светло вокруг меня, солнце, висящее над холмом, воробей купается в «пыли»:

Noch ist es hell, noch blitzt um mich
Die Sonne, schwebend ob dem Hügel,
Und in dem Staube badet sich
Der Spatz und spreizt voll Lust die Flügel.

Заметим, что замена «песка» на «пыль» имеет отношение к точности описания картины. Пыль пространственно не имеет определенной отнесенности, в русском языке пыль скорее связана с дорогой, в то время как песок – это, очевидно, дорожки сада.

Затем – отдельное описание далекой картины, где уже идет дождь: темная пелена исчезающего света и роща в золотом потоке дождя.

Doch himmelab zur Erde schwebt
Ein Schleier schon verblichnen Scheines,
Und hinter ihm, da rinnt und bebt
In goldnem Flor der Rain des Haines.

И третья картина – «теперь» слышимый повсеместный звук тяжелых капель, и по стеклу, и приносимый из парка звук капель, барабаниющих по свежим листьям.

Nun hör ich an mein Fensterglas
Vereinzelte schwere Tropfen schmettern –
Und in dem Park, ins Windgeblas,
Da trommelt's auf den frischen Blättern.

Важно, что в переводе опущены детали предощущения и подхода дождя. Само прямое указание на дождь у Фета в тексте опущено: он явлен через детали – движущаяся завеса, отгораживающая будто золотой пылью опушку леса:

А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.

Еще детали: две капли брызнули, что-то барабанит. Дождь дан только в названии – как разгадка, а далее только описание – загадка (*что-то* к саду подошло). В переводе же дождь был назван во второй строфе – *der Rain*.

В целом создается впечатление, что в оригинале картина более светлая, прозрачная, легкая, чем в переводе. Утяжеление, очевидно, связано с заменами: вместо «в разрывы облак солнце *блещет*» – «солнце *парит над холмом*», вместо «воробей крылом... *трепет*» – воробей «*расправляет* крыло», «*качаясь* движется завеса» – «*плена потускневшего света*», вместо «*будто в золотой пыли*» – «в золотом *потоке* дождя», вместо «две капли *брызнули*» – «*тяжелые капли бьют*».

Таким образом, можно говорить о том, что, переводя на немецкий язык пейзажные стихотворения А. Фета, Ф. Фидлер невольно реализует современные ему установки на восприятие поэта преимущественно как последователя романтизма, создающего поэтические зарисовки отдельных мгновений жизни природы. Он сохраняет светлый тон картин, основной набор изображаемых объектов. Однако за пределами внимания переводчика оказывается внутренняя композиционная логика образов: от зрительных – к звуковым, от внешних – к внутренним. Не учтена и «точка зрения» фетовского лирического субъекта и смена «планов» изображения, благодаря которой создается внутренняя динамичность внешне неподвижных картин. В переводах «зыбкость», «трепетность», «воздушность», «пограничность» состояний в фетовских картинах природы заменяется на более простые впечатления – «холодная светлая безлюдная ночная степь» в «Чудной картине», солнечное утро с росой, голубым небом, пением птиц и звуком воды, а затем томлением весенней ночью в «Это утро...» и резкой сменой света на сильный дождь в «Весеннем дожде». При этом исключается из картин ряд образов (ивы, березы, соловьи), которые связывают рассмотренные стихотворения с другими стихотворениями

поэта в целостный художественный мир и являются его устойчивыми знаками.

Список источников

1. Жаткин Д.Н., Родикова О.В. К.К. Павлова – переводчик стихотворения А.А. Фета «Я вдаль иду моей дорогой...» // Гуманитарные исследования. 2012. № 1 (41). С. 101–106.
2. Поликарпов А.М. Об «авторизованной германизации стихосложения» Афанасия Фета в переводах Федора Фидлера // Иностранные языки в высшей школе. 2021. № 4 (59). С. 83–96.
3. Стекланникова С.Ю. Пейзажная лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета в немецких антологиях второй половины XX – начала XXI века // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12, вып. 2. С. 351–356.
4. Храпченко М.Б. Познание литературы и искусства. Теория. Пути современного развития. М., 1987. 575 с.
5. Ф.Ф. Фидлер, А.А. Фет. URL: <http://sobolev.franklang.ru/index.php/konets-xix-veka/274-f-f-fidler-a-a-fet>
6. Фет А.А. «Среди несметных звезд полночи ...»: избранная лирика в немецких переводах / сост. А.О. Филиппов; пер. на нем. яз. Ф. Фидлер, У. Грюнинг. М. : Центр книги Рудомино, 2012. 554 с.
7. Гаспаров М.Л. Фет безглагольный. Композиция пространства, чувства и слова // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М. : Новое литературное обозрение, 1995. С. 139–150.
8. Дружинин А.В. Литературная критика. М. : Советская Россия, 1983. 384 с.
9. Страхов Н.Н. Заметки о Фете // А.А. Фет. PRO et CONTRA. СПб. : РХГА, 2022. С. 397–406.
10. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л. : Наука, 1982. 650 с.
11. Кожин В.В. Самый красивый из русских поэтов // А.А. Фет. PRO et CONTRA. СПб. : РХГА, 2022. С. 692–700.
12. Гаспаров М.Л. «Уснуло озеро» Фета и палиндромон Минаева. Поэтика пародии // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М. : Новое литературное обозрение, 1995. С. 170–178.
13. Сухих И.Н. Художественный мир Фета: мгновение и вечность // Сухих И.Н. Структура и смысл: Теория литературы для всех. СПб. : Азбука, 2018. С. 409–432.
14. Сурат И.З. Об одном стихотворении Афанасия Фета // Учителя, ученики, коллеги... : сборник статей к 60-летию Дмитрия Петровича Бака. М. : РГГУ, 2021. С. 204–210.
15. Ранчин А.М. Путеводитель по поэзии А.А. Фета. URL: <https://roslib.rudn.ru/book/viewpdf/5df8b703f37bc>

16. Эпитейн М.Н. Природа, мир, тайник вселенной...: Система пейзажных образов в русской поэзии. М. : Высшая школа, 1990. 303 с.
17. Сухова Н.П. Лирика Афанасия Фета: В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2000. 78 с.
18. Благой Д.Д. Мир как красота (О «Вечерних огнях» А. Фета) // Фет А.А. Вечерние огни. М. : Наука, 1979. 799 с.

References

1. Zhatkin, D.N. & Rodikova, O.V. (2012) K.K. Pavlova – perevodchik stikhotvoreniya A.A. Feta "Ya vdal' idu moey dorogoy..." [K.K. Pavlova – Translator of Afansay Fet's Poem "I Go Far Away on My Road..."]. *Gumanitarnye issledovaniya*. 1(41). pp. 101–106.
2. Polikarpov, A.M. (2021) Ob "avtorizovannoy germanizatsii stikhoslozheniya" Afanasiya Feta v perevodakh Fedora Fidlera [On the 'Authorized Germanization of Versification' of Afanasy Fet in the Translations of Fyodor Fiedler]. *Inostrannye yazyki v vysshey shkole*. 4 (59). pp. 83–96.
3. Steklyannikova, S.Yu. (2019) Peyzazhnaya lirika F.I. Tyutcheva i A.A. Feta v nemetskikh antologiyakh vtoroy poloviny XX – nachala XXI veka [Landscape Lyrics of Fyodor Tyutchev and Afanasy Fet in German Anthologies of the Second Half of the 20th – Early 21st Century]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. 12 (2). pp. 351–356.
4. Khrapchenko, M.B. (1987) *Poznanie literatury i iskusstva. Teoriya. Puti sovremennogo razvitiya* [The Study of Literature and Art. Theory. Paths of Modern Development]. Moscow: [a.n.].
5. Sobolev, L. (n.d.) *FF. Fidler; A.A. Fet*. [Online] Available from: <http://sobolev.franklang.ru/index.php/konets-xix-veka/274-f-f-fidler-a-a-fet>
6. Fet, A.A. (2012) "Sredi nesmetnykh zvezd polnochi ...": *izbrannaya lirika v nemetskikh perevodakh* ["Among the Countless Stars of Midnight...": Selected Lyrics in German Translations]. Translated into German by F. Fiedler, U. Gruning. Moscow: Tsentr knigi Rudomino.
7. Gasparov, M.L. (1995) *Izbrannye stat'i* [Selected Articles]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 139–150.
8. Druzhinin, A.V. (1983) *Literaturnaya kritika* [Literary Criticism]. Moscow: Sovetskaya Rossiya.
9. Strakhov, N.N. (2022) Zametki o Fete [Notes on Fet]. In: Koshemchuk, T.A. (ed.) *A.A. Fet. PRO et CONTRA* [A.A. Fet. PRO et CONTRA]. St. Petersburg: RKhGA. pp. 397–406.
10. Zhirmunskiy, V.M. (1982) *Gete v russkoy literature* [Goethe in Russian Literature]. Leningrad: Nauka.
11. Kozhinov, V.V. (2022) Samyy krasivyy iz russkikh poetov [The Most Beautiful of Russian Poets]. In: Koshemchuk, T.A. (ed.) *A.A. Fet. PRO et CONTRA* [A.A. Fet. PRO et CONTRA]. St. Petersburg: RKhGA. pp. 692–700.

12. Gasparov, M.L. (1995) *Izbrannye stat'i* [Selected Articles]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 170–178.
13. Sukhikh, I.N. (2018) *Struktura i smysl: Teoriya literatury dlya vseh* [Structure and Meaning: Literary Theory for Everyone]. St. Petersburg: Azbuka. pp. 409–432.
14. Surat, I.Z. (2021) Ob odnom stikhotvorenii Afanasiya Feta [On One Poem by Afanasy Fet]. In: *Uchitelya, ucheniki, kollegi...: Sbornik statey k 60-letiyu Dmitriya Petrovicha Baka* [Teachers, Students, Colleagues...: Collection of Articles for the 60th Anniversary of Dmitry Petrovich Bak]. Moscow: RGGU. pp. 204–210.
15. Ranchin, A.M. (n.d.) *Putevoditel' po poezii A.A. Feta* [A Guide to the Poetry of A. A. Fet]. [Online] Available from: <https://roslib.rudn.ru/book/viewpdf/5df8b703f37bc>
16. Epshtein, M.N. (1990) *Priroda, mir, taynik vselennoy...: Sistema peyzazhnykh obrazov v russkoy poezii* [Nature, the World, the Secret Universe...: A System of Landscape Imagery in Russian Poetry]. Moscow: Vysshaya shkola.
17. Sukhova, N.P. (2000) *Lirika Afanasiya Feta: V pomoshch' prepodavatelyam, starsheklassnikam i abiturientam* [The Lyrics of Afanasy Fet: For Teachers, High School Students, and University Applicants]. Moscow: Moscow State University.
18. Blagoy, D.D. (1979) Mir kak krasota (O "Vechernikh ogn'yakh" A. Feta) [The World as Beauty (On Fet's "Evening Lights")]. In: Fet, A.A. *Vechernie ogni* [Evening Lights]. Moscow: Nauka.

Информация об авторах:

Логинова Е.А. – канд. пед. наук, доцент Центра иностранных языков и коммуникативных технологий Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия). E-mail: e.a.loginova@utmn.ru

Обласова Т.В. – д-р пед. наук, канд. филол. наук, профессор кафедры языкознания и литературоведения Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия). E-mail: t.v.oblasova@utmn.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

E.A. Loginova, Cand. Sci. (Pedagogics), associate professor, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: e.a.loginova@utmn.ru

T.V. Oblasova, Dr. Sci (Pedagogics), Cand. Sci. (Philology), professor, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: t.v.oblasova@utmn.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 09.03.2025.

The article was accepted for publication 09.03.2025.

Научная статья
УДК 070.15+82.091
doi: 10.17223/24099554/24/3

Литературный контент периодики дореволюционной России как инструмент формирования культурной идентичности региона: по материалам кавказского издания «Карс» (1883–1917)

*Наталья Егоровна Никонова¹
Давид Владимирович Петросян²
Тарон Рудольфович Даниелян^{3, 4}*

¹ Томский государственный университет, Томск, Россия,

^{2, 4} Ереванский государственный университет, Ереван, Республика Армения

³ Ванадзорский государственный университет, Ванадзор, Республика Армения

¹ nikonat2002@yandex.ru

² davidpetrosyan@ysu.am

^{3, 4} tarondanielyan@ysu.am

Аннотация. В статье впервые представлен анализ литературных публикаций единственного в своем регионе Кавказа периодического издания «Карс» (выходило в 1883–1917 гг.): собран и охарактеризован полный корпус художественных произведений (более 300) и представлена их жанрово-тематическая классификация, определена типология авторов. Установлены преобладание произведений бытовой, фольклорной, военной прозы, а также принципиальная роль пейзажной и календарной поэзии. Доказана гипотеза о моделирующем значении литературного контента русскоязычной газеты для формирования культурной идентичности региона.

Ключевые слова: Кавказское наместничество, Карсская область, периодическая печать, губернские ведомости, цензура, духовная литература

Источник финансирования: исследование поддержано Комитетом высшего образования и науки Республики Армения (исследовательский проект № 24SSAH-5H001).

Для цитирования: Никонова Н.Е., Петросян Д.В., Даниелян Т.Р. Литературный контент периодики дореволюционной России как инструмент формирования культурной идентичности региона: по материалам кавказского издания «Карс» (1883–1917) // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 39–62. doi: 10.17223/24099554/24/3

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/3

The literary content of pre-revolutionary Russian periodicals as a tool for shaping regional cultural identity: A case study of the Caucasian newspaper *Kars* (1883–1917)

Natalia Ye. Nikonova¹

David V. Petrosyan²

Taron R. Danielyan^{3, 4}

¹ Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

^{2, 4} Yerevan State University, Yerevan, Republic of Armenia

³ Vanadzor State University, Vanadzor, Republic of Armenia

¹ nikonat2002@yandex.ru

² davidpetrosyan@ysu.am

^{3, 4} tarondanielyan@ysu.am

Abstract. This article presents a pioneering analysis of the literary publications in *Kars*, the sole periodical in its region of the Caucasus, published from 1883 to 1917. Through a frontal review of 1,730 issues, a corpus of over 300 literary texts was assembled and classified by genre, theme, and authorship. The analysis reveals a corpus dominated by local-color prose, folklore motifs, and military narratives, with landscape and calendar poetry playing a foundational role. The findings of this research validate the initial hypothesis, which posited the strategically model-building, imagological significance of the literary content published in the Russian-language newspaper *Kars* for the formation of a distinct cultural identity within the newly integrated Kars region of the Caucasus. The Kars region presents a unique case study. A territory now part of Turkey, it has experienced repeated shifts in governance, state sovereignty, and the ethnic and religious composition of its population, resulting in a fluid and complex cultural identity. This context makes its press history particularly noteworthy. Unlike other administrative centers within the Caucasian Viceroyalty – where both state-run and private periodicals were published in Russian and local languages – the Kars region was an exception. From 1883 to 1917, the newspaper *Kars* stood alone as the region's sole periodical for 34 years, a fact that underscores its strategic importance in this geopolitically sensitive area. Based on a frontal review of all 1,730 issues, the scholars have assembled a bibliography of more than 300 literary texts. The analysis reveals two distinctive features of this corpus. Firstly, unlike periodicals in other regions of pre-revolutionary Russia, the feuilleton section of *Kars* published very few translations.

Accounting for only one-sixth of the total literary content, and with most of these being reprints, this minimal use of translations highlights the primacy of original, Russian-language material in the newspaper's literary sections. Secondly, the corpus is notably defined by the prevalence of calendar-spiritual literature, a genre which occupies a special place in terms of both its quantity and thematic diversity. In general, the prose and poetry published in *Kars* are characterized by short landscape, everyday life, and biographical sketches. The vast majority of these texts were confined to a single issue and were imbued with a patriotic tone, glorifying Russian statehood through depictions of either the Caucasian landscape or the region's military glory. While the publication of such occasional literature – works tied to specific events in regional, national, or personal life – is typical for periodicals, its specific repertoire, typology, and functions within a regional newspaper like *Kars* present a distinct and compelling object of study. Therefore, the literary content of *Kars* possessed a distinct socio-humanitarian significance, functioning as a tool for shaping the cultural landscape in a transnational and transconfessional region. This study demonstrates that the newspaper's religious and spiritual themes fulfilled an imagological and ideological-modeling role comparable to that of European translations in other provincial presses. Just as those translations helped forge regional identities, the religious and spiritual fiction and non-fiction publications in *Kars* worked to construct a specific cultural identity for the region.

Keywords: Caucasian Viceroyalty, Kars Province, periodicals, provincial newspaper, censorship, religious literature

Financial Support: The research is supported by the Higher Education and Science Committee of Republic of Armenia (Research Project No. 24SSAH-5H001).

For citation: Nikonova, N.Ye., Petrosyan, D.V. & Danielyan, T.R. (2025) The literary content of pre-revolutionary Russian periodicals as a tool for shaping regional cultural identity: A case study of the Caucasian newspaper *Kars* (1883–1917). *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 39–62. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/3

Карсская область является уникальным регионом: будучи ныне во владении Турции, эта территория Кавказа неоднократно меняла наместников и государственную принадлежность, этнический и конфессиональный состав населения и, соответственно, культурную идентичность. Однако Карс всегда живо откликался на вызовы времени, сохраняя стратегическое значение для всех своих стран-правительниц. Соответственно, с интенсивными переменами в XIX–XX вв., связанными с переходом региона во владения Российской империи

после русско-турецкой войны 1877–1878 гг., происходило ускоренное переоформление его социально-гуманитарного пространства, и важнейшую роль в нем играла периодика, на страницах которой оперативно моделировался культурный ландшафт объединенной на новых условиях области.

Как известно, начиная с 1830-х гг. в разных регионах Российской империи стали издаваться «Губернские ведомости», и до начала XX в. в системе имперского информационно-культурного пространства особое положение занимали официальные газеты, которые издавались под надзором местных правительственных органов. Во многих регионах именно правительственная печать играла роль пионера, становилась рупором государства, обеспечивая сопровождение проводимой им политики [1. С. 39], а также коммуникацию между и внутри губерний [2. С. 144].

Система многоязычной периодической печати в Кавказском наместничестве формировалась под воздействием нескольких ключевых факторов, среди которых можно выделить социально-экономические условия и культурную развитость местных народов, наличие творческих кадров, технических и технологических возможностей, органов надзора издательского дела в том или ином регионе.

Для издания официальных газет немаловажными факторами были также административно-территориальное деление регионов в разные годы и методы управления ими. С 1837 г. по модели губернских ведомостей в Тифлисе начала издаваться газета «Закавказский вестник», которая в 1855 г. слилась с газетой «Кавказ». Особенность газеты заключалась в том, что она печаталась «на условиях частно-государственного партнерства, когда редактор заключал договор с администрацией на определенный срок и нес ответственность за финансовую составляющую данного периодического издания» [3. С. 278].

В дальнейшем в разных губерниях и областях Кавказского наместничества стали выходить официальные газеты. С 1850 г. начала издаваться газета «Ставропольские губернские ведомости» (1850–1917)¹.

¹ Административно-территориальное управление Кавказского региона претерпело несколько изменений. В частности, 22 ноября 1881 г. Кавказское наместничество было упразднено и преобразовано в Кавказскую администрацию, однако 26 февраля 1905 г. вновь восстановлено. В мае 1899 г. Ставропольская губерния была выведена из подчинения Кавказского края.

В последующем из шести губернских центров в четырех издавались газеты формата губернских ведомостей: «Кутаисские губернские ведомости» (1887–1917 гг.), «Бакинские губернские ведомости» (1894–1917 гг.), «Эриванские губернские ведомости» (1907–1917 гг.), «Елисаветпольские губернские ведомости» (1908–1917 гг.). Из пяти областей в четырех также выходила официальная периодика: в Терской области – «Терские ведомости» (1868–1917 гг., г. Владикавказ); в Кубанской области – «Кубанские войсковые ведомости» (1867–1870 гг.), «Кубанские ведомости» (1871 г.), «Кубанские областные ведомости» (1871–1915 гг., г. Екатеринодар); в Дагестанской области – «Дагестанские областные ведомости» (1910–1917 гг., Темир-Хан-Шура); в Карсской области – «Карс» (г. Карс). Изучение архивных документов Национального архива Грузии показывает, что в Тифлисе была попытка издания губернской газеты, но данный проект не осуществился [4]. Официальные издания не печатались также в Черноморской губернии, в Батумской области и в двух самостоятельных округах – Закавказском и Сухумском.

Во всех центрах регионов Кавказского наместничества (кроме Закавказского) в разные годы печатались не только государственные, но также и частные издания как на русском, так и на языках местных народов. В этом плане исключение составил «Карс» (1883–1917), который на протяжении 34 лет издания был единственным периодическим органом печати в области, имевшей стратегическое значение. Помощник военного губернатора докладывал в 1911 г.: «...в Карсской области издавалась и ныне издается при моей канцелярии официальная газета “Карс”. В течение этого года никаких других изданий в области не появлялось, судебных преследований против печати не возбуждалось» [5]. Несмотря на полиэтнический состав населения, пресса на других языках в данный период в крае не печаталась.

Отметим, что первая газета в Карсе – «Карс Айастан» («Карс Армении») вышла в свет на армянском языке в 1880 г. Издатель Ншан Арцруни (Плеоханян) в газете печатал материалы об освобождении армянского народа от османского ига. Нам не удалось разыскать ее выпуски, вероятно, они не сохранились, но, по разным источникам, вышло в свет всего лишь 2–3 номера. Издание было приостановлено по совету родственников редактора, так как газета могла угрожать безопасности его родных, которые жили на территории Османской

империи [6. С. 54–55]. Для армянского народа этот период также является важнейшим, потому что Карсская область в данный период стала одним из регионов национальной консолидации. Покинув свои дома в Западной Армении из-за массовых этнических чисток султана Абдул-Хамида II в 1894–1896 гг., армяне иммигрировали в Карсскую область и до распада Российской империи в 1917 г. составляли больше половины всего населения. После турецких нашествий 1918 и 1920 гг. они, как греки и русские, также покинули регион. И хотя в XX в. СССР официально отказался перед Турцией от претензий на эту территорию, ее культурный ландшафт в исторической перспективе представляет интерес и нуждается в освещении.

Цель настоящей статьи – ввести в научный оборот данные о литературном содержании рубрик центрального и единственного периодического издания региона в 1887–1917 гг., газеты «Карс», изучив сохранившиеся архивные материалы; собрать и систематизировать корпус литературных текстов; определить жанровое и сюжетно-тематическое своеобразие публикаций, а также их функциональный потенциал в социогуманитарном плане. Гипотеза исследования заключается в том, что литературные рубрики газеты «Карс» имели не просто просветительское или развлекательное назначение, но играли стратегически важную идеологическую и имагологическую роль в реализации программы по формированию и преобразованию культурной идентичности в важный для региона период перемен.

По итогам фронтального просмотра 1 730 номеров газеты выяснилось, что библиография литературных текстов насчитывает более 300 источников. При этом выявляются две отличительные черты данного корпуса. Во-первых, в отличие от изданий других регионов дореволюционной России фельетонные рубрики «Карса» содержат минимальное количество переводных произведений, лишь 1/6 часть от общего количества публикаций являются переводами, при этом большая часть из них перепечатана из других газет. Этот факт свидетельствует о первостепенности доминирования аутентичного русскоязычного оформления и содержания литературных разделов. Во-вторых, можно утверждать значимость жанров календарно-духовной словесности разного плана в силу преобладания произведений соответствующего типа. Немало публикаций было заимствовано из столичных и

других региональных газет и журналов, однако произведения указанного рода, о которых речь пойдет ниже, очевидно, принадлежали перу местных авторов.

Ориентируясь на малоизвестную историю издания, следует отметить несколько релевантных для понимания его стратегии фактов. 18 октября 1882 г. начальник Главного управления главноначальствующего гражданской частью на Кавказе дал разрешение военному губернатору области на издание особой еженедельной газеты [7], и «Карс» стал издаваться каждый вторник в типографии канцелярии военного губернатора Карсской области по программе, утвержденной для официальных газет, издаваемых при губернских правлениях. Первым цензором газеты был назначен помощник военного губернатора Карсской области полковник Ю.Г. Петандер по выбору военного губернатора генерал-майора А. Гросмана. По его желанию главноначальствующий гражданской частью на Кавказе разрешил также расширение программы, включая отдел иностранной политики. Как и другим губернским ведомостям, газете было разрешено перепечатывать из официальных изданий политические известия и правительственные распоряжения, статьи по предметам внешней политики и внутреннего управления [7].

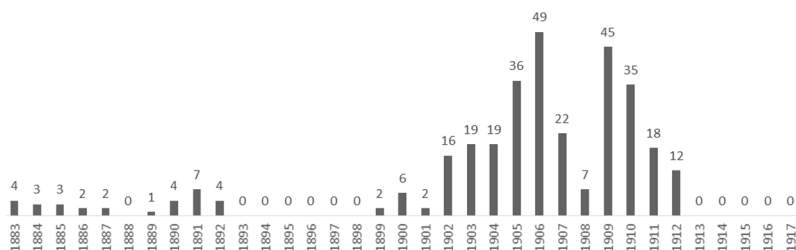
В первом выпуске газеты редакция оповещала, что цель издания – это «всестороннее изучение новообретенной области и распространение в русском обществе верных сведений о нынешнем ее состоянии и о мероприятиях, направленных к ее развитию и благоустройству» [8]. Редакция приглашала к сотрудничеству лиц, которые могли бы своими материалами помочь в содержательном наполнении разделов, обещая, что литературные недостатки и неразработанность материалов пройдут необходимую редакторскую правку. Очевидно, приглашение получило отклик, поскольку с начала XX в. репертуар газеты заметно расширился и, в первую очередь, за счет художественной литературы.

Информация о личности редактора газеты стала печататься с 9 июля 1902 г. В разные годы редакторами и временными исполнителями обязанностей редактора газеты были И. Серебряников, А. Троцкий, Б. Сергеев, Ю. Гапонов, С. Ермолаев, А. Островский, Б. Эсадзе, В. Богословский, К. Стамбульцев, К. Борисевич, В. Колелл. С 1909 г. функции редактора официального и неофициального отделов газеты

разделились между разными чиновниками области. Все они были сотрудниками областной администрации, и их смена или временное назначение на должность редактора были обусловлены переводом на другие штатные должности, командировками в другие регионы или же личными обстоятельствами (например, состоянием здоровья).

Количественный анализ художественной литературы в газете «Карс» (диаграмма) показывает, что с началом обнародования информации о редакторах изменилось и количество, и сюжетно-тематическая и жанровая палитра публикаций художественных произведений на страницах газеты.

Количество художественных произведений



В начале XX в. газета продолжала приглашать желающих вступить в число корреспондентов и сотрудников [9]. Данный факт может означать, что издатели были ориентированы на живой контакт с целевой аудиторией, включенность в современный актуальный социокультурный процесс, находились в поисках нового контента, были заинтересованы в развитии губернских ведомостей в целом.

Характеризуя репертуар литературных текстов в корпусе публикаций газеты, можно отметить ярко выраженную имагологическую доминанту, которая не всегда связана с идеологическими или политическими модуляциями, но имеет эмпирический характер, проистекающий из полиэтничности новоприобретенного региона, который был малознаком переселенцам как по своим нравам, так и по климату, ландшафту, истории. В силу этих объективных оснований авторы и читатели в качестве первоочередной задачи имели конструирование образа Другого, а на его основании – собственной идентичности в новом окружении.

В очерковых зарисовках часто встречается описание чужеземцем своего нового местожительства. Например: «В конце июня летние ночи в Карсской области бывают особенно хороши: сверху смотрит на вас бездонная синяя глубина, мерцающая напряженным фосфорическим светом, так что отдельные звезды и созвездия как-то теряются в общем световом фоне; ветер тихо и чутко ловит малейший звук; спит в тумане земля, не шелохнувшись стоит вода, даже ночные птицы и те появляются и исчезают в застывшем воздухе совершенно беззвучно как тени на экране волшебного фонаря» [10].

Естественно, тема новой малознакомой и экзотической местности и природы соседствует с образами покинутой родины, мотивами тоски по ней. Например: «Вижу я поля родины моей. Дальше степь. Не закавказская степь, чахлая, кочковатая, а степь настоящая, черноморская, ровная степь, где нет ни конца, ни начала дали, где горизонт кажется безбрежным, где простор и свобода не ограничены. А дорога ровная, как натянутый шнурок, гладкая как стол» [11].

Социально-культурное своеобразие региона и нравы местных народов отражаются в прозаических бытописаниях, рассказах о буднях и обычаях. Сопоставление различных верований и традиций, уклада жизни разных этносов сквозь призму русского мира на страницах «Карса» не только дает представление о многообразии межкультурного общения, но определяет важнейший функциональный потенциал губернского периодического издания региона, заключающийся в консолидирующей и дифференцирующей доминантах при конструировании особой надэтнической культурной идентичности.

Показателен сюжет сатирической миниатюры «Утро доктора на окраине России», главный герой которой доктор-шарлатан Карл Иванович более трех недель живет в городе, но больные не приходят к нему на прием. И только после того, как его слуга в публичном месте сообщает, что якобы все доктора отказались его лечить, а Карл Иванович поставил его на ноги, местные решаются обратиться к нему. Один из них – «купец армянин» (название национальностей при этом дается автором с заглавной буквы), который ради спасения своего брата говорит доктору, что «за деньгами дела не будет». Второй – еврей-контрабандист, который пришел получить рецепт для сына, но мало платит, сетуя на то, что нет никакой торговли. В то же время он

сообщает, что получил большую партию контрабанды: кружева, полотна, платки, и предлагает товары для покупки [12. № 52. С. 2–3]. В качестве персонажей фигурируют также молоканин с женой – неграмотные супруги, которые пришли к доктору для лечения худобы своей невестки и болезни лошади. Есть и другие персонажи, после встречи с которыми доктор констатирует, что одна и та же профессия в разных местах имеет разные проявления: «Доктор в столице или в большом городе, доктор в глухой провинции... Один небо, другой земля» [12].

Иную картину быта представляет стихотворение «Халиф-Оглы»: «Те озера со стоячей, мутною водой // куда гонят отовсюду // Скот на водопой // но и люди с отвращеньем // Эту воду пьют // Удивляешься невольно, как они живут. // Бедно, грязно, со скотиной // – Было бы тепло // Сакля – черная снаружи // И внутри темно. // Сакли с кучею нестройной // Сели на холме // Дико все кругом и пусто // Будто в тяжком сне. // А с вершины величаво гордые орлы // Смотрят с хищными глазами на Халиф-Оглы» [13].

Еще одно яркое изображение мира Своих и Других представляет рассказ «Махмуд» [14], в котором местный мусульманин занимается контрабандой, чтобы прокормить семью. Но однажды во время очередной нелегальной доставки товара в него стреляют пограничники. Автор сочинения показывает читателю трагическую действительность глазами солдата, который «не без страха подглядывал на Махмуда»: «и в глазах воина появлялась тяжелая неотвзвешиваемая дума: “Зачем?”. Казалось, мучал эту крестьянскую русскую душу проклятый вопрос: “Ведь тоже был человек”» [14. № 34. С. 2].

Именно в этом общем контексте особое значение приобретают литературные произведения, посвященные духовно-религиозной тематике: календарная духовная поэзия, очерки о календарно-ритуальных традициях и обычаях разных конфессий. Публикации данной жанровой группы служат своего рода каркасом, точками сборки для отображения многообразной аксиологической картины и в то же время задают ориентиры читателям, связанные с продвижением христианской религиозности как доминирующей конфессии, т.е. духовная словесность на страницах «Карса» обретает консолидирующую, организующую функцию.

Прежде всего необходимо отметить цикл произведений в жанре молитвы, риторика которого объединяет православных и неортодоксальных христиан, так называемых сектантов, и мусульман, бедняков и богачей. Так, в 1900–1910 гг. (в период расцвета области в статусе одной из провинций Российской империи) на страницах «Карса» мы находим нехитрые поэтические сочинения местных авторов: «Молитва кавказцев» [15], «Молитва бедняка» [16], «Молитва (Из кн. Ильи Чавчавадзе)» [17], «Молитва» [18].

К интересующему нас корпусу текстов следует отнести и публикации, посвященные не только православной, а другой духовно-религиозной культуре, которая была чрезвычайно актуальной именно для данного региона. В течение почти 40-летнего существования Карсской области (1877–1917 гг.) наблюдались изменения в этническом составе населения. Руководствуясь собственными интересами, власти Российской империи организовали переселение этнических групп (восточные славяне, греки, поляки, литовцы, немцы, эстонцы и др.), которые должны были стать этнической опорой для центральных властей в завоёванной области. В 1880 г. начинается процесс заселения Карсской области восточными славянами и другими «преданными» этносами, чьи представители сразу же получали государственно-правовой статус, зачисляясь как постоянное население области. Переселению подвергались сектанты (молокане и духоборы), а также несколько тысяч православных русских и украинцев из центральных губерний Российской империи. Поэтому важное значение имеют и публикации о молитвах представителей других верований. Так, в одном только 1891 г. выходят очерки «Духовные молокане Карсской области» [19] и «Погребальная песня духоборов» [20], а в следующем году читателя знакомят с «Езидской молитвой к Богу» [21], при этом редакторы считают возможным разместить в газете и сами тексты молитв, что вряд ли было бы возможным в центральной периодике. Автор публикации о езидской молитве подчеркивает ее аутентичность, указывая, что она записана со слов священника общины (пира) и приводит ее подстрочный перевод; обряд выхода молокан-прыгунов навстречу старейшине-пророку изображается с документальной точностью, погребальное действо духоборов также подробно комментируется, и в этих репликах можно прочесть определенный имагологический подтекст, позиционирующий сообщества представителей этих

сект как Других для представителей главенствующей христианской веры, но в то же время призванный ознакомить читателя с их традициями. Сравним:

Духовные молокане в Карсской области [19]

Главарь прыгунской секты иногда предпринимает поездки по прыгунским селениям. Здесь ему устраиваются торжественные встречи. Заранее предуведомленные о времени приезда главного пророка, сельчане собираются в своем молитвенном доме, откуда всем селом идут для встречи с пением «частых» молитв и с прыганьем на околицу. В подобных случаях, когда надо долго петь, прыгуны поют так называемую у них «бесконечную» молитву, смысл которых ни один из них объяснить не может. Вот это молитва:

Фолдырь анифей
Фолдырь мефи царимей
Царь мафони цаларей.

Некоторые песни пророков представляют совершенно непонятный даже для самих прыгунов набор слов, без всякого смысла.

Здравствуй верный дорогой,
Ты избранных воин мой,
Смело со врагом воюешь,
Ни о чем ты не горюешь...
Хотя злой враг поспехает,
Завершитель все мое,
Листья книги сосчитали,
На землю ссылали,
Богу слава и держава
Во веки веков, аминь.

Погребальная песня духоборов [20]

– Голуби сизые!
«Мы не голуби, не сизые».
– Вы лебеди, вы белые!
«Мы не лебеди, мы не белые,
Мы ангелы, архангелы.

Мы летали по всему свету, свету белому).
– Что вы видели? Что вы слышали?
«Мы видели, мы слышали,
Как душа с телом расставалась,
Расставалась и прощалась».
– Прощай мое тело, тело белое!
Я в тебе жила,
Тебя нежила и лелеяла.
А себя, душу, в муку вверзила,
– Тебе, душа, на суд идти
К самому Христу, ко Спасителю,
Ко Спасителю-Избавителю,
А мне телу в земле лежать!

Это не молитва и не соболезнование об умершем, а нечто вроде причитаний у гроба покойника. Но и здесь выразилась одна черта духоборческого вероучения: мертвое тело предоставляя душе идти на страшный суд, само не ждет того воскресения мертвых во плоти, которое так определенно выразил Иисус Христос.

**Езидская молитва к Богу, записанная со слов «Пира»
Намо Шейно-Оглы [21]**

О, Господи! Ты милосердный,
О, Господи! Ты милостивый,
О, Господи! Ты бесконечный,
О, Господи! Ты вечный,
Ты Господь вселенной,
Господь великого престола.
Ты предвечный,
Ты исполнитель желаний.
Ты Создатель видимых и невидимых миров,
Ты Господь престола,
Ты Господь неба и земли.
Всеоткрывающий и скрывающий.
Непрестанный и славный.
Ты славный, достойный славы и хвалы.
Тебе подобает честь и хвала.
Господь рыб и змей.
Господь вод и рек.
Господь милостей и щедрот.

Кто Ты? Какой Ты?
Не рождавший, не рожденный.
Происшедший прежде всех.
Учитель пророков.
Ученейший из ученых.
Для тебя нет сна.
Для тебя нет еды.

Пафос этих очерков не только просветительский, имагологический, но и, конечно, идеологический. Подобно плавильному котлу, фельетонные развороты газеты не только сливают и объединяют различные духовные и народные традиции, различные культурные и национальные идентичности, но они же моделируют доминирование русскости за счет выражения точки зрения авторов этих сочинений, а также за счет языкового воплощения на русском.

На страницах «Карса» находятся не менее 40 произведений в духовном жанре, среди которых не только молитвы и очерки о них, но и рождественские и святочные рассказы, пасхальная поэзия и проза, а также сочинения на Новый год. Типологию текстов данного типа обозначают несколько дефиниций: Е.В. Душечкина определяет их как «святочные», или «календарные» [22. С. 9], Х. Баран относит их к «праздничной литературе» [23. С. 284–285]. Более точное терминологическое обозначение этого вида словесности – календарно-духовная – предложено С.Ю. Николаевой [24. С. 3], оно конкретизирует содержательную основу произведений и позволяет разделить их на святочные, рождественские, крещенские и пасхальные. Внутри каждого из этих разделов существуют более мелкие группы: новогодние, масленичные, великопостные, троицкие и т.д. Однако в некоторых случаях упомянутые термины можно считать синонимичными.

Рождественские / святочные рассказы и пасхальные стихотворения и проза представлены в «Карсе» примерно в равном количестве: с конца 1890-х до конца 1900-х гг. на страницах газеты выходит не менее 30 произведений этого жанра в более чем 40 номерах. Среди них, в частности, вышедший в 1906 г. «Рождественский рассказ» М. Горького [25], под которым скрывается рассказ «О мальчике и девочке, которые не замерзли», напечатанный впервые в газете «Нижегородский листок» в 1894 г. и не входивший в прижизненные собрания сочинений писателя. Как известно, он обыгрывает традиционный

сюжет святочной сентиментальной истории об обездоленных детях и чудесных происшествиях, в последующие годы «Карс» выпускает в предновогодних выпусках еще не одно подобное произведение. Только под одним из рождественских рассказов стоит помета о том, что это перевод: «пер. с англ. для “Гол. Кав.”» [26]. Речь идет, вероятнее всего, о прорусской тифлисской газете «Голос Кавказа», указано также, что сочинение под названием «Сон под рождество» принадлежит в оригинале перу некоего писателя «Фидлкиса». Остальные новогодние рассказы и стихотворения, судя по всему, написаны корреспондентами «Карса».

Особенно следует выделить крупные прозаические рождественские истории под заглавиями «Единственный» и «Свадьба Чурбанова», принадлежащие, очевидно, перу местного автора под псевдонимом Домино. Они вышли к празднику в 1884 и 1885 гг. в трех и пяти номерах издания соответственно. Сочинитель снабдил их и жанровыми определениями: рождественская сказка и святочный рассказ. Их сюжеты, однако, не отвечают этим дефинициям, они связаны с местным колоритом и полемически заостряют характерные социогуманитарные вопросы межкультурных, межэтнических и межличностных отношений в современном автору городе. Поэтика этих произведений не соответствует традиционным для жанра приемам: в них читатель не найдет соседства хаоса, чуда и гармонии или праздничной мистики и традиционного набора художественных деталей (снега, елки, подарков), которые могут представлять нравственные и духовные ценности [27. С. 80]. Сатирические истории о чудаковатом кавказце и сгинувшем в финале недотепе-женихе представляют скорее святочные псевдотексты и выполняют гедонистическую, рекреативную функцию, т.е. нарушают классическую жанровую риторику.

Особое место в календарно-духовной литературе занимает пасхальный текст, который отличается богатыми традициями в русской словесности: «пасхальный текст в русской литературе существует как самостоятельный пласт календарно-духовной словесности, наряду со святочным и рождественским текстами» [24. С. 7]. Он имеет свою историю, причем период выхода газеты «Карс» (конец XIX – начало XX в.) приходится на время окончательного оформления и становления пасхального текста, но и на время его кризиса [24. С. 7], а в контексте нашего исследования – скорее трансформации, секуляризации.

Появление псевдотекстов – пародий, юмористических экскурсов – сопровождало этот процесс, однако в историко-культурной обстановке Карсской области рубежа веков он приобретал особую коммуникативную функцию, сохраняя свою каноническую жанровую форму. Вбирая в себя пейзажные образы весеннего Кавказа, мотивы примирения (социальных, политических и этнических) разногласий, пасхальный дискурс как форма культурной памяти доносил знакомые этико-философские и религиозные уровни до читателя.

Библиография публикаций свидетельствует о характере подачи таких произведений, большинство из них озаглавлены с помощью пасхального приветствия «Христос воскрес» и имеют стихотворную форму [28–36], почти ежегодно с начала XX в. (1904, 1906, 1907, 1909, 1911 гг.) в газете выходили стихотворения и небольшие поэмы под таким названием. Перепечатанных или переводных текстов среди них не находится. В качестве примеров приведем строки из пасхальных стихотворений разных лет.

1904	1906	1910
Христос воскрес!	В пространстве вод и гор,	Христос воскрес!
Раздался глас, могучий глас;	степей	Все дышит чарами
Забыв вражду, забывши	Величественно вторит ей!	весны...
ссоры,	Проснулся мир греховный	И с гор от таявшего
Все братьями в сей стали	вдруг...	снега
день;	Забыты горе и печали...	Ручьи, сверкая, зашумели.
Их лица чисты, светлы		
взоры		

Последняя из пасхальных публикаций 1911 г. представляет собой рассказ, оканчивающийся красноречивыми строками о народном и конфессиональном братстве: «Мечеть насильственно обратить в церковь, или церковь в мечеть может недальновидный человек. Да, ничего он этим не достигнет, кроме негодования. А вот добром очень много можно сделать!!.. Когда-нибудь народы и правители просветятся пониманием этой истины, и надо думать, что, в конце концов, у всех людей будет одна вера. Не знаю, какая именно, но, надо думать, что хорошая!..» [35. № 16. С. 2].

Говоря о характеристиках корпуса литературно-художественных и очерковых публикаций «Карса», следует отметить представлен-

ность фольклорных жанров, легенд, сказаний, сказок разных народностей, которые также предоставляют пространство для межкультурной коммуникации. Примечательно, что среди них мы найдем преимущественно кавказские (грузинские, армянские, карсские) истории, что обозначается в заглавиях [37–44]. Будучи переложенными на русский язык, они призваны не только познакомить всех переселенцев с местными традициями, но и являют собой пример межъязыкового взаимодействия посредством перевода или пересказа народных историй на государственном языке.

Наконец, последнюю из выделенных нами групп корпуса вполне предсказуемо составляет военная проза и поэзия [45], актуальная на рубеже веков для Кавказа и для всей Российской империи в целом, при этом авторы «Карса» рассказывают не только о местных событиях прошлого, но и о далеких сражениях настоящего, например, о русско-японской войне. К примеру, одно из стихотворений под заглавием «Героям Порт-Артура»:

Текут бесконечно своей чередой
Тяжелые, трудные дни;
Не знают герои защиты покоя,
Но храбры и мощны они.
За честь всей России полгода воюя
С коварным и дерзким врагом,
Без страха и дум за Отчизну родную
Умрут под двуглавым орлом...
Сражаться учили отцы их и деды,
Могуч ты, о, русский народ!
И скоро желанное солнце победы
На Дальнем Востоке взойдет [46].

В литературных рубриках «Карса» выделяются несколько авторских поэтических циклов: например, некая или некий «Эн-Эн» только в 1903 г. публикует 4 стихотворения, 2 из которых связаны с духовно-религиозной тематикой («Ближнему» [47], «Ангел хранитель» [48]). Стоит отметить и автора, назвавшегося инициалами «А.К.», которому принадлежит ряд стихотворений бытовой, духовно-календарной и сентиментально-элегической тематики («С новым годом» [49], «Смерть» [50], «Весна» [51]), опубликованных в начале 1904 г., и др.

Авторы, как правило, подписывают свои тексты, однако разыскать сколько-нибудь подробную информацию об их биографии затруднительно. Можно лишь исходить из контекста других публикаций «Карса». Комплексное рассмотрение произведений из репертуара одного автора позволяет установить отличительные черты его художественного метода и выдвинуть предложения относительно его биографии. Так, в 1891–1892 гг. в 6 номерах издания выходит 4 рассказа, сюжеты которых, очевидно, почерпнуты из профессиональной практики правоохранителя, сами за себя говорят заглавия историй «Кярам идет» [52], «Из прошлого: впечатления следователя» [53], «На страже» [54], «Разжились» [55]. Все детективные зарисовки подписаны криптонимом «Н. Ст-в». Наибольшую активность обнаруживает некто Николай Никольский, который за один календарный год (с № 33 1904 г. по № 30 1905 г.) публикует 7 произведений. Все они относятся также к жанру зарисовок и изображают картины из бытовой жизни, фрагменты «Из дневника» и писем, пейзажную лирику («Из песен о природе», «Из летних картинок»), в его цикле прочитываются также сюжеты из воинской жизни разных лет, что позволяет предположить связанность автора с батальными событиями на Кавказе.

В целом для корпуса прозы и поэзии «Карса» характерны пейзажные, бытовые и биографические зарисовки небольшого объема (абсолютное большинство текстов размещаются в одном номере газеты), в тематике слышны патриотические ноты, воспевающие российскую государственность, будь то образы кавказской природы или воинской славы региона. Однако особое место занимает духовная литература разных авторов, по количеству и разнообразию она преобладает в сравнении с произведениями иных жанров: появление произведений, созданных по поводу определенного события в жизни региона, страны, каждого человека, видится вполне логичным и предсказуемым для регулярной периодики, но все же представляется интересной задачей определение репертуара, типологии и функций такой литературы в газетах регионов.

Все изложенное дает основание сделать вывод об особом функциональном социогуманитарном значении произведений, печатавшихся на страницах «Карса», для формирования средствами литературы культурного ландшафта в транснациональном и трансконфессиональ-

ном регионе. Подобно тому, как переводы с европейских языков заняли свою нишу на страницах регионов империи, в которых настойчиво звучали областнические голоса, религиозно-духовная тематика художественных и документальных публикаций «Карса» определенно могла играть сходную имагологическую и идейно-моделирующую роль.

Список источников

1. Шевцов В.В. «Томские губернские ведомости» (1857–1917 гг.) в социокультурном и информационном пространстве Сибири. Томск : ТГУ, 2012. 413 с.
2. Салыхиева Р.В. Официальная печать в губернском управлении (на материалах газеты «Пермские губернские ведомости» первой половины XIX века) // Власть. 2009. № 9. С. 144–146.
3. Лучинский Ю.В., Безрукавая М.В., Кидакова З.Ш. Публикации «интеллигентных черноморцев» на страницах газеты «Кавказ» // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2024. № 89. С. 275–291.
4. Даниелян Т.Р. Неосуществленный проект официальной газеты «Тифлиссские губернские ведомости» (на материале архивных данных) // Цифровая журналистика: технологии, смыслы и особенности творческой деятельности. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2024. С. 99–101.
5. РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. 2. 1912. Д. 1–1. Л. 71.
6. Минасян А. Армяне-врачи, подвергшиеся репрессиям и геноциду в Османской Империи, Республике Турция и прилегающих районах: Краткий биографический словарь [Օսմանյան կայսրությունում, Թուրքիայի Հանրապետությունում և հարակից տարածքներում բռնաճնշումների և ցեղասպանության ենթարկված հայ բժիշկներ: Համառոտ կենսագրական րաքննարկ]. Ереван: Лусабат, 2014. 519 с. (на арм. яз.)
7. НАГ (Национальный архив Грузии). Ф. 480. Оп. 1. Д. 511. Л. 1.
8. Карс. 1883. № 1. 4 янв.
9. Карс. 1904. № 17. 27 апр.
10. Въ Окамъ // Карс. 1885. № 39. 25 сент. С. 2.
11. А. В-ский. Сон // Карс. 1899. № 42. 19 окт. С. 3.
12. Утро доктора на окраине России // Карс. 1885. № 52. 25 дек. С. 2–3; 1886. № 1. С. 2–4.
13. Халиф-оглы // Карс. 1903. № 7. 18 февр. С. 2.
14. Терский Н. Махмуд (из порубежных нравов) // Карс. 1902. № 32. 6 авг. С. 2; № 33. 13 авг. С. 2; № 34. 20 авг. С. 2.
15. Вачнадзе К. Молитва кавказцев // Карс. 1900. № 49. 5 дек. С. 3.
16. М. Молитва бедняка // Карс. 1909. № 50. 15 дек. С. 5.
17. Чавчавадзе И. Молитва (пер. Г. Бекханова) // Карс. 1910. № 4. 26 янв. С. 2.

18. *Марцкий Н.* Молитва // Карс. 1910. № 4. 26 января. С. 2.
19. *Воскресенский А.* Духовные молоконы в Карсской области // Карс. 1891. № 18. 30 апр. С. 3–4.
20. Погребальная песня духоборов // Карс. 1891. № 31. 30 июля. С. 2–3.
21. Езидская молитва к Богу, записанная со слов «Пира» Намо Шейно-Оглы // Карс. 1892. № 18. 5 мая. С. 3.
22. *Душечкина Е.В.* Русский святочный рассказ: становление жанра. М. : Новое литературное обозрение, 2023. 552 с.
23. *Баран Х.* Дореволюционная праздничная литература и русский модернизм // Баран Х. Поэтика русской литературы начала XX века. М. : Прогресс, 1993. С. 284–328.
24. *Николаева С.Ю.* Пасхальный текст в русской литературе XIX века : дис. ... канд. филол. наук. М., 2004. 218 с.
25. *Горький М.* Рождественский рассказ // Карс. 1903. № 2. 14 янв. С. 1–2; № 3. 21 янв. С. 1–2.
26. *Фидлкис.* Сон под рождество (пер. с англ. для «Гол. Кав.») // Карс. 1908. № 1. 1 янв. С. 2–3; № 2. 8 янв. С. 2–3.
27. *Королева О.А.* Английские рождественские коды в постмодернистском романе Т. Пратчетта «Санта-Крякус» // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. Вып. 2, ч. 3. С. 79–83.
28. *Линда К.* Христос воскрес // Карс. 1904. № 14. 6 апр. С. 2.
29. Христос воскрес // Карс. 1906. № 14. 4 апр. С. 2.
30. Христос воскрес // Карс. 1907. № 17. 24 апр. С. 2.
31. Пасхальный звон // Карс. 1909. № 13. 31 марта. С. 2.
32. Две пасхальные ночи // Карс. 1909. № 13. 31 марта. С. 2–3.
33. *К. Т.* Христос воскрес // Карс. 1910. № 16. 18 апр. С. 2.
34. *В. Л.* Пасхальная ночь // Карс. 1910. № 16. 18 апр. С. 2.
35. *В. В.* Христос воскрес (поэма в прозе) // Карс. 1911. № 15. 12 апр. С. 2; № 16. 19 апр. С. 2.
36. *А. Р-въ.* Христос воскрес // Карс. 1911. № 15. 12 апр. С. 2.
37. Мир тебе (легенда, пер. с груз. Н. К.) // Карс. 1910. № 14. 6 апр. С. 2–3; № 15. 13 апр. С. 2; № 16. 18 апр. С. 2–3.
38. Терпение (арабская легенда) // Карс. 1905. № 41. 11 окт. С. 3–4.
39. Почему Бог создал рай и ад? (легенда, пер. с арм.) // Карс. 1906. № 2. 10 янв. С. 4.
40. *В. С. («П. К.»).* Сказание о красоте (грузинская легенда) // Карс. 1903. № 8. 25 февр. С. 2–3.
41. *Яхонтов Е.* Влюбленная царица (из легенд карсской области) // Карс. 1903. № 29. 22 июля. С. 2–3; № 30. 29 июля. С. 2–3.
42. *Род-Род.* Халиф и стихотворец (восточная легенда, пер. с нем.) // Карс. 1902. № 47. 19 нояб. С. 4.
43. *И.* Из легенд Карсской области // Карс. 1903. № 1. 1 янв. С. 2–3.

44. Яхонтов Е. Легенда о Чалдырском озере // Карс. 1903. № 34. 20 авг. С. 2–3.
45. Мрачный. Кавказский ветеран // Карс. 1909. № 52. 29 дек. С. 4.
46. Никольский Н. Героям Порт-Артура // Карс. 1904. № 47. 23 нояб. С. 2.
47. Энь-Энь. Ближнему // Карс. 1903. № 11. 18 марта. С. 2.
48. Энь-Энь. Ангел хранитель // Карс. 1903. № 13. 1 апр. С. 2.
49. А. К. С новым годом // Карс. 1904. № 1. 8 янв. С. 2.
50. А. К. Смерть // Карс. 1904. № 9. 2 марта. С. 2.
51. А. К. Весна // Карс. 1904. № 13. 1 апр. С. 2.
52. Н. Ст-въ. Кярам идет // Карс. 1891. № 39. 24 сент. С. 2–3.
53. Н. С-въ. Из прошлого: впечатления следователя // Карс. 1891. № 33. 13 авг. С. 3–4; №44. 29 окт. С. 2–3.
54. Н. С-въ. На страже // Карс. 1892. № 8. 25 февр. С. 2–3.
55. Н. С-въ. Разжились // Карс. 1892. № 14. 3 апр. С. 2–3.

References

1. Shevtsov, V.V. (2012) *"Tomskie gubernskie vedomosti" (1857–1917 gg.) v sotsiokul'turnom i informatsionnom prostranstve Sibiri* ["Tomskie Gubernskie Vedomosti" (1857–1917) in the Sociocultural and Information Space of Siberia]. Tomsk: TSU.
2. Salyakhieva, R.V. (2009) Ofitsial'naya pechat' v gubernskom upravlenii (na materialakh gazety "Permskie gubernskie vedomosti" pervoy poloviny XIX veka) [Official Press in Provincial Governance (Based on Materials from the Newspaper "Permskiye Gubernskie Vedomosti" of the First Half of the 19th Century)]. *Vlast'*. 9. pp. 144–146.
3. Luchinskiy, Yu.V., Bezrukavaya, M.V. & Kidakoeva, Z.Sh. (2024) Publications of the 'Intelligent Chernomortsy' in the Newspaper 'Kavkaz'. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 89. pp. 275–291. (In Russian). doi: 10.17223/19986645/89/15
4. Danielyan, T.R. (2024) Neosushchestvlennoy proekt ofitsial'noy gazety "Tiflisskie gubernskie vedomosti" (na materiale arkhivnykh dannyykh) [The Unrealized Project of the Official Newspaper 'Tiflisskie Gubernskie Vedomosti' (Based on Archival Data)]. In: *Tsifrovaya zhurnalistika: tekhnologii, smysly i osobennosti tvorcheskoy deyatel'nosti* [Digital Journalism: Technologies, Meanings, and Features of Creative Activity]. Ekaterinburg: Ural University. pp. 99–101.
5. Russian State Historical Archive (RGIA). Fund 776. List 21. Part 2. 1912. File 1–1. p. 71.
6. Minasyan, A. (2014) *Օսմանյան կայսրությունում, Թուրքիայի Հանրապետությունում և հարակից տարածքներում բռնաճնշումների և ցեղասպանության ենթարկված հայ բժիշկներ: Համառոտ կենսագրական բառարան* [Armenian Doctors Subjected to Repression and Genocide in the Ottoman Empire, the Republic of Turkey, and Adjacent Areas: A Concise Biographical Dictionary]. Erevan: Lusabats.

7. National Archives of Georgia (NAG). Fund 480. List 1. File 511. p. 1.
8. *Kars*. (1883) 4 yanvarya 1883 [4 January]. 4th January.
9. *Kars*. (1904) 27th April.
10. *Kars*. (1885a) V Okam [In Okam]. 25th September. p. 2.
11. A. V-skiy. (1899) Son [Dream]. *Kars*. 19th October. p. 3.
12. *Kars*. (1885b) Utro doktora na okraïne Rossii [A Doctor's Morning on the Outskirts of Russia]. 25th December. pp. 2–3; 1886. 1. pp. 2–4.
13. *Kars*. (1903) Khalif-ogly [Khalif-ogly]. 18th February. p. 2.
14. Terskiy, N. (1902) Makhmud (iz porubezhnykh nravov) [Mahmud (From the Borderland Customs)]. *Kars*. 6th August. p. 2; 13th August. p. 2; 20th August. p. 2.
15. Vachnadze, K. (1900) Molitva kavkaztsev [Prayer of the Caucasians]. *Kars*. 5th December. pp. 3.
16. M. (1909) Molitva bednyaka [Prayer of a Poor Man]. *Kars*. 15th December. p. 5.
17. Chavchavadze, I. (1910) Molitva (per. Bekkhanova G.) [Prayer (Trans. by G. Bekhanov)]. *Kars*. 26th January. p. 2.
18. Martskiy, N. (1910) Molitva [Prayer]. *Kars*. 26th January. p. 2.
19. Voskresenskiy, A. (1891) Dukhovnye molokane v Karsskoy oblasti [Spiritual Molokans in the Kars Region]. *Kars*. 30th April. pp. 3–4.
20. *Kars*. (1891) Pogrebal'naya pesnya dukhoborov [Funeral Song of the Doukhobors]. 30th July. pp. 2–3.
21. *Kars*. (1892) Ezidskaya molitva k Bogu, zapisannaya so slov "Pira" Namu Sheyno-Ogly [Yazidi Prayer to God, Recorded from the Words of 'Pir' Namu Sheino-Ogly]. 5th May. p. 3.
22. Dushechkina, E.V. (2023) *Russkiy svyatochnyy rasskaz: stanovlenie zhanra* [The Russian Christmas Story: The Formation of a Genre]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
23. Baran, H. (1993) *Poetika russkoy literatury nachala XX veka* [Poetics of Russian Literature of the Early 20th Century]. Moscow: Progress. pp. 284–328.
24. Nikolaeva, S.Yu. (2004) *Paskhal'nyy tekst v russkoy literature XIX veka* [The Easter Text in Russian Literature of the 19th Century]. Philology Cand. Diss. Moscow.
25. Gorky, M. (1903) Rozhdestvenskiy rasskaz [A Christmas Story]. *Kars*. 14th January. pp. 1–2; 21st January. pp. 1–2.
26. Fidlkis. (1908) Son pod rozhdestvo [A Christmas Dream]. Translated from English for "Golos Kavkaza." *Kars*. 1st January. pp. 2–3; 8th January. pp. 2–3.
27. Koroleva, O.A. (2014) Angliyskie rozhdestvenskie kody v postmodernistskom romane T. Pratchetta "Santa-Kryakus" [English Christmas Codes in the Postmodern Novel by T. Pratchett 'Hogfather']. *Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo*. 2 (3). pp. 79–83.
28. K. Linda. (1904) Khristos voskrese [Christ is Risen]. *Kars*. 6th April. p. 2.
29. *Kars*. (1906a) Khristos voskrese [Christ is Risen]. 4th April. p. 2.
30. *Kars*. (1907) Khristos voskrese [Christ is Risen]. 24th April. p. 2.
31. *Kars*. (1909a) Paskhal'nyy zvon [Easter Bell Ringing]. 31st March. p. 2.
32. *Kars*. (1909b) Dve paskhal'nye nochi [Two Easter Nights]. 31st March. pp. 2–3.

33. K. T. (1910) Khristos voskres [Christ is Risen]. *Kars.* 18th April. p. 2.
34. V. L. (1910) Paskhal'naya noch' [Easter Night]. *Kars.* 18th April. p. 2.
35. V. V. (1911) Khristos voskres (poema v proze) [Christ is Risen (A Prose Poem)]. *Kars.* 12th April. p. 2; 19th April. p. 2.
36. A. R-v". (1911) Khristos voskres [Christ is Risen]. *Kars.* 12th April. p. 2.
37. Anon. (1910) Mir tebe (legenda, per. s gruz. N. K.) [Peace Be Upon You (A Legend, Trans. from Georgian by N. K.)]. *Kars.* 6th April. pp. 2–3. 13th April. p. 2. 18th April. pp. 2–3.
38. *Kars.* (1905) Terpenie (arabskaya legenda) [Patience (An Arabian Legend)]. 11th October. pp. 3–4.
39. *Kars.* (1906b) Pochemu Bog sozdal ray i ad? (Legenda. Per. s armyanskogo) [Why Did God Create Heaven and Hell? (A Legend. Trans. from Armenian)]. *Kars.* 10th January. p. 4.
40. V. S. ("P. K."). (1903) Skazanie o krasote (gruzinskaya legenda) [The Tale of Beauty (A Georgian Legend)]. *Kars.* 25th February. pp. 2–3.
41. Yakhontov, E. (1903) Vlyublennaya tsaritsa (iz legend karsskoy oblasti) [The Queen in Love (From the Legends of the Kars Region)]. *Kars.* 22nd July. pp. 2–3; 29th July. pp. 2–3.
42. Rod-Rod. (1902) Khalif i stikhotvorets (vostochnaya legenda. Per. s nemetskogo) [The Caliph and the Poet (An Eastern Legend. Trans. from German)]. *Kars.* 19th November. p. 4.
43. I. (1903) Iz legend Karsskoy oblasti [From the Legends of the Kars Region]. *Kars.* 1st January. pp. 2–3.
44. Yakhontov, E. (1903) Legenda o Chaldyrskom ozere [Legend of Lake Childir]. *Kars.* 20th August. pp. 2–3.
45. Mrachnyy. (1909) Kavkazskiy veteran [A Caucasian Veteran]. *Kars.* 29th December. p. 4.
46. Nikolskiy, N. (1904) Geroyam Port-Artura [To the Heroes of Port Arthur]. *Kars.* 23rd November. p. 2.
47. En"-En". (1903) Blizhnemu [To a Neighbor]. *Kars.* 18th March. p. 2.
48. En"-En". (1903) Angel khranitel' [Guardian Angel]. *Kars.* 1st April. p. 2.
49. A. K. (1904a) S novym godom [Happy New Year]. *Kars.* 8th January. p. 2.
50. A. K. (1904b) Smert' [Death]. *Kars.* 2nd March. p. 2.
51. A. K. (1904c) Vesna [Spring]. *Kars.* 1st April. p. 2.
52. N. St-v". (1891a) Kyaram idet [Kyram is Coming]. *Kars.* 24th September. pp. 2–3.
53. N. S-v". (1891b) Iz proshlogo: vpechatleniya sledovatelya [From the Past: A Investigator's Impressions]. *Kars.* 13th August. pp. 3–4; 29th October. pp. 2–3.
54. N. S-v". (1892a) Na strazhe [On Guard]. *Kars.* 25th February. pp. 2–3.
55. N. S-v". (1892b) Razzhilis' [They Got Rich]. *Kars.* 3rd April. pp. 2–3.

Информация об авторах:

Никонова Н.Е. – д-р филол. наук, заведующая кафедрой романо-германской и классической филологии Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: nikonat2002@yandex.ru

Петросян Д.В. – д-р филол. наук, заведующий кафедрой новых медиа и коммуникаций Ереванского государственного университета (Ереван, Республика Армения). E-mail: davidpetrosyan@ysu.am

Даниелян Т.Р. – канд. филол. наук, преподаватель кафедры новых медиа и коммуникаций Ереванского государственного университета (Ереван, Республика Армения), доцент кафедры армянского языка и литературы Ванадзорского государственного университета (Ванадзор, Республика Армения). E-mail: tarondanielyan@ysu.am

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

N.Ye. Nikonova, Dr. Sci. (Philology), head of the Department of Romance, Germanic and Classical Philology, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: nikonat2002@yandex.ru

D.V. Petrosyan, Dr. Sci. (Philology), head of the Department of New Media and Communications, Yerevan State University (Yerevan, Republic of Armenia). E-mail: davidpetrosyan@ysu.am

T.R. Danielyan, Cand. Sci. (Philology), lecturer, Yerevan State University (Yerevan, Republic of Armenia); associate professor, Vanadzor State University (Vanadzor, Republic of Armenia). E-mail: tarondanielyan@ysu.am

The authors declare no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 23.05.2025.

The article was accepted for publication 23.05.2025.

Научная статья

УДК 821.113.6+82.091

doi: 10.17223/24099554/24/4

Новые страницы жизни и творчества финско-шведского поэта-модерниста Эдит Сёдергран (1892–1923). Петербургский период 1902–1909 гг.

Любовь Юрьевна Сазонова

*Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия, luba.sazonova@gmail.com*

Аннотация. Статья посвящена финскому поэту-модернисту Эдит Сёдергран (1892–1923), которая родилась в Санкт-Петербурге. Описывается период ее учебы в петербургской немецкой гимназии Петришуле и характеризуется записная книжка с первыми стихотворными опытами 1907–1909 гг., а также не введенные до настоящего времени в научный оборот рукописные тетради, хранящиеся в ее личном архиве в г. Хельсинки, Финляндия.

Ключевые слова: Эдит Сёдергран, Санкт-Петербург, гимназия Петришуле, Котье, гимназическая лирика, «Коленкоровая тетрадь», архивы, «Тетрадь по французскому», «Гостевая книга», модернизм в поэзии, литература XX в., Финляндия

Для цитирования: Сазонова Л.Ю. Новые страницы жизни и творчества финско-шведского поэта-модерниста Эдит Сёдергран (1892–1923). Петербургский период 1902–1909 гг. // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 63–89. doi: 10.17223/24099554/24/4

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/4

New pages in the life and work of the Finnish-Swedish modernist poet Edith Södergran (1892–1923): The St. Petersburg period, 1902–1909

Lubov Yu. Sazonova

*Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation,
luba.sazonova@gmail.com*

Abstract. This article examines the life and work of Finnish Modernist poet Edith Södergran (1892–1923). Born in St. Petersburg, Södergran attended the prestigious Petrishule high school from 1902 to 1909. The study is grounded in primary source research, introducing previously unexamined materials from the Central Historical Archive of Saint Petersburg concerning her Swedish grandfather, Gabriel Holmroos, who left Finland in the mid-19th century for St. Petersburg. These documents, which detail his foundry on Malaya Posadskaya Street and a land plot on Sampsonievsky Prospekt, shed light on the family's financial standing. This stability allowed both Södergran and her mother to receive a first-class education. Further analysis draws on Södergran's archive at the Swedish Literary Society in Finland, specifically her underexplored handwritten notebooks – the "French Notebook" and the "Guestbook." Russian-language texts found within reveal her early interest in poetry and demonstrate that images from these juvenilia, such as the dominant motif of the sun, persisted into her professional lyrics. A key focus of the article is the role of Ludwig Heinrichovich Cottier, Södergran's French teacher at Petrishule. While foreign scholars often interpret her relationship with Cottier as a simple case of unrequited student infatuation, citing numerous poems addressed to him in her "Waxcloth Notebook," this study offers a different perspective. By cross-referencing the notebook with her personal letters, we argue that the feelings of the lyrical heroine do not necessarily reflect Södergran's own. Many of these poems appear to be training exercises in which the polyglot poet practiced various versification techniques. This is evidenced by their repetitive nature across all her juvenile languages: German, Swedish, and French. Nevertheless, these early works show that Södergran was already mastering diverse poetic techniques, particularly original epithets that generated uniquely individual imagery. This distinctive voice would become a hallmark of her mature work. The article proposes that Cottier, in reality, may have been the sole figure in her milieu with the intellectual capacity to discuss poetic creation, whether in person or in her

imagination. Tracing the evolution of her attitude toward him through her *Juvenilia* and supporting this hypothesis with quotations from her letters, the study constructs a more nuanced and detailed portrait of Södergran. This approach, firmly rooted in archival primary sources, validates the efficacy of the research methodology.

Keywords: Edith Södergran, St. Petersburg, Petrischule, Cottier, *Juvenilia*, Waxcloth Notebook, archives, French Notebook, Guestbook, poetic modernism, literature of the 20th century, Finland

For citation: Sazonova, L.Yu. (2025) New pages in the life and work of the Finnish-Swedish modernist poet Edith Södergran (1892–1923): The St. Petersburg period, 1902–1909. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 63–89. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/4

Имя финляндской поэтессы Эдит Сёдергран (1892–1923) в России связано со столицей империи Санкт-Петербургом, где она родилась и училась, и с поселком Рошино (бывш. Райвола) на Карельском перешейке, где она жила до поступления в школу (1892–1902), а также после возвращения из Швейцарии (1914–1923) и где похоронена.

Статья, которая является частью большой исследовательской работы, касается петербургского периода (1902–1909) и юношеских тетрадей Сёдергран-школьницы: в ней рассказано о семье Сёдергран, о роли немецкой гимназии Петришуле, а также о возможном влиянии преподавателя французского языка Генриха Людвиговича Котье на становление Сёдергран как поэта. Исследование проведено на материалах Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга и архива Шведского литературного общества в Финляндии.

Эдит Сёдергран родилась 4 апреля (23 марта ст. ст.) 1892 г. [1. Л. 299 об.–300] в семье петербургских «финляндцев». Термины «финляндцы», «финляндский» появились именно в Санкт-Петербурге. «В вышеупомянутой столице делают разницу между теми, для кого родным языком и языком образования является финский, и теми, кто, невзирая на различия в языке, по рождению или по праву подданства принадлежит к Финляндии. Первые, собственно, и называются финнами (Finni, Finnen, Finnois)... Вторые, напротив, получили имя фин-

ляндцы (Finlandsi, Finnländer, Finlandois)... Следовательно, в соответствии со здешним словоупотреблением, все жители Финляндии – финляндцы, но не все они финны» [2. С. 155–157; 3. С. 24]¹.

Дед Эдит Сёдергран по материнской линии крестьянин-швед Габриэль Михельссон Хольмрус² (в русском делопроизводстве – Гаврила Михайлович Гольмрос / Хольмроз) родился в местечке Бьёрно (шв. Björnä; фин. Perniö) на юго-западе Финляндии, где в течение многих веков компактно проживали шведы, и появился в Петербурге в 1848 г. [4. С. 11]. До приезда в столицу империи он получил первоначальные навыки обработки металла на заводе Fiskars недалеко от Хельсинки [4. С. 11]. Поработав некоторое время мастером-литейщиком в Петербурге, в 1882 г. вместе с партнером – прусским подданным он открыл собственное производство – чугунолитейный завод «Рейнеке и Гольмрос» [5. С. 328], который в 1890-е гг. был вторым по объему производства в Петербурге [6. С. 366³, 819; 7. Ст. 1206–1207]; для сравнения: в десять раз меньше завода Людвиг Нобеля «Русский дизель». Гаврила Михайлович был приравнен к купцам второй гильдии⁴. Он имел «доходный дом и каменное одноэтажное строение для чугунно-литейного и слесарно-механического завода» на Малой Посадской улице, дом 17–19 [9. Л. 13, 14, 28 об.], а также земельный участок в совместном владении в том числе с семьей Нобелей на Большом Сампсониевском проспекте [10. С. 21 об., 26 об. и сл.]. Семья жила на Петербургской стороне, в Певческом переулке (бывш. 1-ая Торговая ул.), дом 3, рядом с производством. В справочнике «Весь

¹ В словаре Шведской Академии SAOB приведено следующее значение термина в современной орфографии без указания его происхождения: «finländare – allmän benämning på medborgare i Finland utan avs. på ras» – собирательное название граждан Финляндии независимо от этнической принадлежности. Пояснение автора: шведы – нация германского происхождения, финны – нация финно-угорского происхождения.

² Шв. Gabriel Michelsson Holmroos.

³ Данные на 1890 г.

⁴ С 1863 г. в России оставалось две гильдии. Во вторую гильдию записывались те, кто занимался торговлей в розницу, и владельцы фабрик и заводов с числом рабочих более 16 чел. Плата за свидетельство – от 40 до 120 руб. Надзор за правильной выдачей свидетельств осуществляла казенная палата [8. С. 677].

Петербург» на 1894 г. предприниматель записан как Хольмроз Габриэль Михайлович, «владелец чугунно-литейного завода и домовладелец» [11. С. 252].

Единственная дочь состоятельного Хольмруса Елена, мать поэтессы, родилась в Петербурге в 1862 г. и вышла в 1890 г. замуж за финляндца Матса Сёдерграна (в русском делопроизводстве – Матвей Матвеевич), который уже много лет работал в России на предприятиях братьев Нобелей [4. S. 11]. Эдит также была единственной дочерью и внучкой в семье Сёдергран–Хольмрусов.

Согласно переписи 1869 г., в столице империи среди финляндских уроженцев насчитывалось 2 164 человека, для которых шведский язык был родным, что составляло 43% от всех петербургских шведов (5 164 чел.)¹ из Швеции и Финляндии [12. С. 111]. В сословной системе Российской империи финляндские подданные, а в официальной терминологии российского делопроизводства – «подданные Его Императорского Величества в Финляндии» выделялись в отдельное сословие [3. С. 218], причем они имели право оставаться приписанными в приходах Финляндии, даже если жили в России в течение нескольких поколений. Подданство Великого княжества сохранялось и переходило по наследству независимо от места рождения в Петербурге, России или собственно Финляндии [3. С. 49]. Таким образом, благодаря российскому законодательству все Сёдерграны – российские подданные – были приписаны и к приходу в Великом княжестве Финляндском, что автоматически сделало их «подданными Финляндской республики» после революции 1917 г.

Языком домашнего общения Хольмрусов–Сёдергранов был шведский. Однако петербургские шведы-финляндцы в деловом отношении тяготели к представителям немецкой общины, как делал и дед Сёдергран Гаврила Михайлович. К середине XIX в. немцы продолжали оставаться самой многочисленной группой иностранцев в Санкт-Петербурге [13. С. 96]. В 1897 г., по результатам первой всероссийской переписи, в столице проживало 50 780 протестантов-немцев, около 7% населения столицы. Немецкая диаспора в Санкт-Петербурге была не только самой большой, но и самой состоятельной. Немецкий язык был более востребован и давал большие перспективы, чем шведский.

¹ 0,8 % от всего населения Петербурга, в котором проживало 667 000 чел.

Поэтому и Елену Хольмрус, мать Эдит, определили учиться в школу немецкой общины Анненшуле, и Эдит, когда пришло ее время, так же начала учиться в немецкой Петришуле.

Петришуле – старейшая¹ и крупнейшая гимназия России – принадлежала немецкому приходу, но была приравнена к государственным гимназиям и располагалась в двух зданиях внушительной архитектуры в самом центре Санкт-Петербурга. Она давала образование высочайшего уровня. Выпускниками Петришуле в разные годы были Лев Сергеевич Пушкин, князь Павел Вяземский, граф Лев Витгенштейн, педиатр Карл Раухфус, архитекторы Тон, Бенуа, Кавос, Месмахер, а также Даниил Хармс, Юрий Лотман и другие выдающиеся деятели культуры и науки. В Петришуле были мужские классы и женское отделение². Гимназистки учились семь лет (классы Prima–Septima), восьмой класс (Selecta) не являлся обязательным, но давал диплом учительницы и возможность поступить на Высшие женские курсы. Обучение было платным, около 150 руб. в год с пансионом в начале XX века. Сёдергран училась шесть с половиной лет и ушла из Петришуле по собственной воле в январе 1909 г., за полгода до получения диплома. После этого она провела четыре года в туберкулезных санаториях Финляндии и Швейцарии. Вернулась в Россию в 1914 г. и поселилась в своем доме в поселке Райвола (совр. Рошино) на Карельском перешейке.

Из воспоминаний о школе Евгении Гуговны Штейн (Гельд), которая была старше Сёдергран на один год (класс)³:

¹ Основана в 1709 г. сподвижником Петра I голландским подданным Корнелиусом Крюйсом для немецких подданных; с самого основания преподавание велось на немецком языке. Полное название: Главное Училище при лютеранском приходе Святых апостолов Петра и Павла.

² Находились по следующим адресам соответственно: Невский пр., дом 22, и Малая Конюшенная ул., дом 5. Сейчас гимназия по-прежнему располагается в своих исторических зданиях, но официальный адрес стал иным: Большая Конюшенная ул., дом 8.

³ Материал предоставлен хранителем Музея Петришуле И.Б. Ермиловой. Публикуется впервые.

Как интересно, красиво вели уроки наши учителя! Учёные, имевшие свои труды, читавшие лекции в институтах. Все учителя были необыкновенными! Историк Александр Германович Вульфius был очень требователен, заставлял нас ходить в читальные залы Публичной библиотеки и читать французских историков, когда мы проходили историю Франции; английских историков – когда проходили историю Англии. Мы изучали четыре языка – русский, немецкий, французский и английский, но не так, как проходят их сейчас. Мы проходили не только грамматику, но и литературу, весь курс, читали всех классиков и говорили, конечно, на всех этих языках.

Учителем пения был строгий профессор Гомилиус из консерватории, он был знаменитым органистом и иногда приглашал нас слушать собственные произведения на органе. Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, в школу приходил знаменитый балетмейстер Мариинского театра Сергей Иванович Лукьянов и учил нас танцевать. Часто учителя водили гимназистов в музеи, в ботанический сад. Так все наши учителя ревностно старались дать нам больше знаний, сделать из нас культурных людей. Недаром профессура институтов принимала осенью вновь поступающих студентов из нашей школы без экзаменов.

Добавим, что гимназисты российских государственных гимназий, к которым относилась и Петришуле, изучали теорию словесности, например, следующие темы: «Понятие о сочинении (сочинительстве) вообще. Состав сочинения. Слог и его свойства. Благозвучие слога. Стихосложение. Повествование и его виды. Рассуждение. Ораторская речь. Поэзия. Роды поэтических произведений. Главные виды народного и искусственного эпоса. Лирика народная и искусственная, виды ее. Драматическая поэзия. Трагедия. Драма. Комедия.» и др. [14. Л. 13 сл.]¹. Теоретические положения курса теории словесности подкреплялись и объяснялись примерами из произведений, которые были в программе. Разбиралась немецкая литература от эпохи классицизма до настоящего времени (начало XX в.), французская, древние авторы, Шекспир. В Петришуле была отличная библиотека – около 10 тыс. томов на европейских языках и на русском.

Несмотря на то, что доминировал немецкий язык, и в классах, и коридорах требовалось говорить именно на нем, гимназисты находились в интернациональной среде. К примеру, в группе Эдит училось 29 девочек

¹ Программы не менялись с начала 1900-х гг., по информации из музея Петришуле.

разных национальностей и вероисповедания: 16 немков, 9 русских, 5 финляндок, 2 польки и 4 девочки иудейской веры, как видно из рукописных документов, хранящихся в музее Петришуле.

Нам интересно знать о том, как училась Сёдергран. В ее истории болезни, которая находится в архиве в Финляндии, сохранилась запись о школьной нагрузке: «занятия начинались в 9 утра, и учащиеся занимались до 4 часов дня без перерыва для приема пищи. Однако пациент не жаловалась на усталость» [15. С. 28]. Общая обстановка была «свободнее и естественнее», как отметила Елена Сёдергран в своих заметках, чем в Анненшуле, когда там училась она. Судя по переводным ранжированным ведомостям учениц из Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга за 1903, 1905, 1906 гг. с пометами об успеваемости, можно сделать вывод о том, что Сёдергран была достаточно способной и старательной ученицей: она занимает одну из верхних строчек – третью или четвертую, со средней оценкой 4,5 по пятибалльной системе [16. Л. 7; 17. Л. 7; 18. Л. 7]. На первом месте всегда отмечена англичанка Туснельда Томсон (англ. Thusnelda Thomson). С одноклассниками, по воспоминаниям матери поэтессы, Эдит была в хороших отношениях [19. С. 2]. О том, с кем дружила Сёдергран, ничего не известно, однако в своей лирической записной книжке, так называемой «Коленкоровой тетради» (шв. Vaxdukshäftet), она обращается к некоторым одноклассникам, например, к Полине Орловской, Салли Рейконён [20. С. 69–82; 21. С. 23]. С Тайми Суоминен они общались и после отъезда из Петербурга: в мае 1911 г. Сёдергран писала ей о своих планах поступать в Хельсинки в училище, где готовили учителей [22. С. 28]. Но самой близкой подругой Сёдергран, по воспоминаниям Елены Сёдергран и других матерей, была Полина Орловская, которая, как и Сёдергран, не окончила курс. Сохранились фотографии Орловской в саду на даче Сёдергран в Райволе и несколько посвященных ей стихотворений [21. С. 46, 47].

Сёдергран с детства очень много читала, и не только по программе. О книгах и о русских современных литературных журналах, которые были у нее дома, написал в своей диссертации «Экспрессионизм в лирике Сёдергран» шведский литературовед и писатель Эрнст Бруннер [23. С. 74–78], который подробнее всех зарубежных исследователей обрисовал литературную обстановку в России в начале XX в. [23.

S. 53–78] и возможный обширный круг чтения Сёдергран. Примечателен в этой связи также материал «Провидица или шарлатан?» (шв. *Sierska eller svindlerska*), напечатанный в 1919 г. в гельсингфорской газете «Dagens Press», в котором, после острой полемики в обществе по поводу творчества Сёдергран, по заказу редакции известный в Финляндии невролог Гарри Фабрициус давал оценку ее психики. Не найдя у поэта заметных для специалиста отклонений, он отметил, что поэзия Сёдергран может быть сложна для восприятия современниками и что скорее всего понимать ее будут следующие поколения, но сообщил, однако, что поэзией она была «пропитана» с детства. Как доказательство Фабрициус привел случай, когда совершенно случайно много лет тому назад один раз общался с юной Сёдергран. «...Ей было лет 10–12. Я был у них в доме проездом вместе со своим родственником..., представившим ее следующим образом: “сейчас познакомлю тебя с оригинальной барышней, по внешнему виду которой ни о чем не догадаться. Однако, не говори с ней о литературе, она поразит тебя с первого раза во всем, что касается написанного, хоть на русском или французском, немецком, английском и на каком угодно языке”» [24. С. 4].

О серьезном интересе молодой Сёдергран к поэзии, кроме изданной в 1961 г. ее записной книжки, за которой закрепилось название «Коленкоровая тетрадь», где записано 238 ювенилий на четырех языках и о которой подробнее речь пойдет ниже, свидетельствуют два ранних малоизученных источника из наследия поэта, хранящегося в архиве Шведского литературного общества в Финляндии: «Тетрадь по французскому» (фр. *Francais*), начатая в пятом классе Петришуле в 1906 г. (последняя запись сделана в 1911 г.) [25. Л. 1–237], и «Гостевая книга» (шв. *Minnesalbum*), первая запись в которой датирована 1907 г. (последняя запись – в 1920 г.) [26. Л. 1–180]. Эта часть наследия Сёдергран не введена в научный оборот и до сих пор существует только в рукописном виде. Во «Французской тетради» 237 страниц, упражнений по французскому в ней незначительное количество, есть записи на финском языке, на английском, арифметический счет, но основное место занимают поэтические и прозаические цитаты на разных языках, в том числе на русском. Рукой Сёдергран сделаны записи из Лермонтова, Рильке, Шекспира, Яхонтова, Надсона, Лонгфелло,

Крылова, из шведских поэтов – романтика Эсайаса Тегнера и неоромантика Густава Фрёдинга, немецкого поэта-экспрессиониста Макса Даутендея (а также мысли Леонардо да Винчи, Буало, Ларошфуко, Паскаля, Бэкона, Доде, Вольтера, Багратиона, Бальзака, Чехова, Бисмарка, Ницше, Рёскина (Раскина), финских шведских поэтов Арвида Мёрне и Яльмара Прокопе, японские, литовские и индийские пословицы и др.). На самой первой странице «Французской тетради», запись, вероятно, сделана в 1906 г., есть очень показательные для увлеченной поэзией Сёдергран строки из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Не верь себе» 1839 г. [25. С. 1]:

Как язвы, боясь вдохновенья...
Оно – тяжелый бред души твоей больной
Иль пленной мысли раздраженье.
В нем признака небес напрасно не ищи –
То кровь кипит, то сил избыток!

В поздней лирике и письмах Сёдергран встречаются строки, подобные лермонтовским, когда поэтесса пишет о внутреннем огне в моменты появления интуитивного вдохновения. Призвание открылось Сёдергран не сразу, и стихосложение было для ее эмоциональной натуры тяжелым испытанием: «будто языки пламени рвутся из тела» [27. С. 64]. Примечательна также цитата из Гете: «Свою звезду не выбирают, ей следуют», что соответствует мыслям Сёдергран о том, что поэтический дар был дан ей свыше, она лишь приняла его, о чем писала в стихотворениях, напечатанных в сборниках «Розовый алтарь» (1919) и «Тень грядущего» (1920).

В другом малоизученном архивном документе, «Гостевой книге» (шв. Minnesalbum), где делали записи посетители и знакомые и которую Сёдергран брала с собой во время поездок, всего 180 страниц. Разными почерками записаны стихи Щепкиной-Куперник, Козлова, Фета, Брюсова, Бальмонта, Северянина (а также цитаты из Бхагават-Гиты, Тургенева и др.). Особенно привлекает внимание стихотворение Константина Бальмонта «Будем как Солнце» 1902 г. [26. С. 119]:

Будем как Солнце! Забудем о том,
Кто нас ведет по пути золотому,
Будем лишь помнить, что вечно к иному,

К новому, к сильному, к доброму, к злому,
Ярко стремимся мы в сне золотом.
Будем молиться всегда неземному,
В нашем хотении земном!
Будем, как Солнце всегда молодое...

В лирике Сёдергран с образом солнца связано большое количество стихотворений, как, например, «Триумф жить» (шв. *Triumph att leva*) (1916) из сборника «Сентябрьская лира» (шв. *Septemberlyran*) 1918 г., в котором ее лирическая героиня сливается с солнцем и продолжает жить вечно: «Я хожу по солнцу, / я стою на солнце, / я ничего не знаю, кроме солнца... //»¹ (шв. *Jag går på sol, / jag står på sol, / jag vet av ingenting annat än sol... //*) – а солнце наполняет ее своим медом до края [28. S. 161], или в стихотворении «Солнце» (шв. *Solen*) из сборника «Тень грядущего» (шв. *Framtidens skugga*) 1920 г., где она хочет стать частью солнца, как мушка в янтаре: «Солнце целует меня... / А однажды я вплавлюсь в него, как та мушка / в кусок янтара... //» (шв. *Solen har kysst mig... / En gång skall jag spinna mig in i solen som en flyga/ i bärnsten... //*) [28. S. 329] – и во многих других стихах отождествляет поэзию с солнцем, как это делали русские поэты. Хагар Ульсон, финляндский литературный критик и подруга Сёдергран, писала о том, что Сёдергран «была дитя солнца, все ее существо было солнечным... Это ощущение появлялось в ее присутствии, и это было очень сильное чувство. Казалось, она чисто физически носила в своей груди солнце, настолько сильным было ее лучезарное обаяние, разливавшееся вокруг, так что все вибрировало жизненной энергией. Радости в ней было через меру...» [27. S. 50]. Запись сделана в 1919 г., когда Сёдергран была больна туберкулезом в тяжелой форме.

Таким образом, на приведенных выше примерах из рукописной тетради и гостевой книги можно проследить ранний характер интереса Сёдергран к литературе и поэзии, его устойчивость и глубину знаний, внимание к образам и метафорам, которые перешли в лирику модерниста. Эти документы являются важным источником для понимания поэзии Сёдергран, поскольку демонстрируют ее литературный вкус и мировоззрение на раннем этапе, которые формировали ее и в

¹ Все переводы на русский язык выполнены автором статьи.

дальнейшем. Следует также отметить безусловную важность влияния программы Петришуле на образование и ее становление как поэта.

Обратимся к гимназической лирике Сёдергран из «Коленкоровой тетради». Эту тетрадь 1907–1909 гг., когда поэту было 14–16 лет, зарубежные ученые называют «поэтическим журналом» [20. S. 16], «дневником» Сёдергран и за неимением достаточно достоверных данных о ее жизни в Петербурге и школьном укладе предлагают оценивать ювенилии, прежде всего, в связи с событиями жизни и психоэмоциональным состоянием поэта, применяя таким образом биографический подход в изучении творчества Сёдергран. Возможно, это связано с тем, что когда-то в своих записках Елена Сёдергран неосторожно написала, что гимназические стихи ее дочери были связаны с «радостными и печальными событиями» жизни [19. S. 2]. Обратимся к этим первым самостоятельным поэтическим опытам Сёдергран. О простеньких детских созвучиях мать Эдит упоминает в своих записках, однако версифицировать Сёдергран начала только в пятом классе Петришуле, что вполне может быть связано со школьной программой. В школе стихосложение поощрялось – ученицы выпускного класса должны были оформить личный поэтический альбом – подношение учителям, пример такого альбома гимназистки Эрики Руссвурм сохранился в музее Петришуле: на каждом развороте страницы помещен силуэт одного учителя и стихотворное обращение к нему на немецком языке. В своем коленкоровой записной книжке Сёдергран написала за два года 238 стихотворений на четырех языках: немецком (207), французском (4), шведском (26) и русском (1), таким образом больше всего – на немецком и шведском. Многие из них, как считают исследователи, можно назвать подражательными – Иоганн Гете и Генрих Гейне были для нее любимыми из немецких поэтов [21. S. 35]; в ювенилиях на немецком языке Сёдергран чаще всего использовала метрический шаблон Гейне. В записной книжке есть страницы с пометами ямб, хорей, ведется счет стоп, много исправлений. Заметно, как Эдит работает над каждым стихотворением. Темы стихотворений разные: школа и подруги, природа, рыцари, Петербург. Вот одни из примеров конвенциональной поэзии на немецком языке.

Ich liebe die staubigen Strassen
Ich liebe die lärmende Stadt,

Ich weiss, welchen seltsamen Zauber
Ein Garten in Mauerwerk hat.

Ich liebe die grünliche Newa
Am Abend beim Mondenschein,
Dann schimmern tausend Laternen
Ins schillernde Wasser hinein.

Ich lieb' den botanischen Garten
So schattig und duftig und grün
[Wo] Palmen und blasse Lilien
In dem Gewächshaus blühn. [21. S. 62]

‘Люблю эти пыльные улицы, / Люблю этот шумный град, / Я знаю, какие сокровища / Прячет в каменной кладке сад. // Люблю зелёные воды / Невы, когда лунный свет, / И в мерцании тёмных волн / Миллионы блестят фонарей. // Ботанический сад мне был милым, / Тенист он и запахов полн. / В нём пальмы и бледные лилии / Нашли себе тёплый дом’.

В гимназии изучали немецких романтиков, и стихотворение напоминает поэзию Генриха Гейне, его «*Buch der Leider*». Использован конвенциональный размер: четырехстопный ямб. Рифма неточная – зарифмованы разные части речи, чередуются женская рифма в нечетных: *Strassen-zauber*, *Newa-Laternen*, *Garten-Liljen* и мужская рифма в четных стихах: *Stadt-hat*, *Mondenschein-hinein*, *grün-blühn*. О Петербурге Сёдергран написала около 20 стихотворений на немецком языке.

Как было отмечено выше, обучение в Петришуле проходило полностью на немецком, но гимназисты учили разные языки, которые преподавали педагоги-иностранцы. В 1906/07 учебном году, когда Эдит была в пятом классе, учителем французского в ее классе стал французский подданный парижанин Анри Луи Котье (*Henri Louis Cottier*), но в Петербурге и в Петришуле известный под германизированным именем – Генрих Людвигович Котье. Елена Сёдергран пишет, что ее дочь говорила с восхищением о своих учителях французского языка: о Марте Майал-Кампиш (*Fräulein Marthe Majal-Campiche*), которая вела уроки в младших классах, а в старших классах – о Котье. Обожание конкретных учителей, как это было обычно в российских гимназиях, в данном случае учителей французского, было стимулом

хорошо учить язык. Младшая Сёдергран им прекрасно овладела, что, по мнению ее матери, было также наградой и радостью для учителя (фр. *elle est la récompense et la joie d'un maître*) [19. S. 2]. Однако если Кампиш посвящено лишь одно стихотворение [21. S. 10], то Котье прямо или косвенно посвящена практически треть стихотворений из записной книжки на разных языках, что стало причиной для зарубежных исследователей серьезно обсуждать тему любви гимназистки к учителю. В связи с этим остановимся подробнее на личности педагога и его влиянии на Сёдергран-поэта.

Анри Луи Котье родился в Париже в 1869 г. Известно, что в мужских классах Петришуле он преподавал с 1897 г. [21. S. 91]. Его имя зарегистрировано в справочниках «Весь Петербург» на 1900 и 1904 гг., где указано, что он проживал в Аптекарском переулке, 4, т.е. рядом с Марсовым полем и Петришуле. В справочнике на 1900 г. он записан как Генрих Людвигович Котье [29. С. 298], а уже в 1904 г., как многие иностранцы (перешедшие в православие), с отчеством Федорович [30. С. 331]. В справочниках перечислены учебные заведения, где в разные годы работал Генрих Людвигович / Федорович Котье: Главное немецкое училище Св. Петра, Вторая гимназия, Женская гимназия Е.В. Стависской и Женская гимназия при училище Св. Петра, т.е. женская Петришуле, где училась Сёдергран. Под той же фамилией и по тому же адресу в 1904 г. зарегистрирована Ираида Алексеевна, возможно, его русская жена, о которой гимназистка Сёдергран пишет в одном из своих стихотворений как о несчастной женщине с пустым взглядом и усталой походкой [21. S. 153]. Сёдерграны в начале века жили на Сампсониевском проспекте, дом 18 [31. S. 104], и маршрут в школу и домой от трамвайной остановки мог идти по Аптекарскому переулку, который в ювенилиях фигурирует как «мрачный переулок» (шв. *dyster gränd*) [21. S. 147], хотя в действительности таковым не является. Котье был известен собственной методикой преподавания французского, был уважаем коллегами и любим учениками.

Генрих Людвигович не только обучал языку, но и поощрял чтение на французском. Школьная программа французской литературы была серьезно продумана. Котье читал лекции о Шатобриане, Гюго, Ламарти, Мюссе, де Виньи, Санд, Бальзаке, Флобере, Стендале, Мериме, Сент-Бёве, Леметре, Леконте де Лилле, Франсе [14. Л. 18]. Эти авторы входили в программу последнего, восьмого, года обучения в классах

Selecta, однако в сопроводительном тексте указано, что она дополняет и расширяет программы младших классов. Возможно, именно благодаря руководству Котье Сёдергран прочитала в оригинале пьесу Мольера «Ученые женщины», «Отверженных» Виктора Гюго, новеллы Мопассана и Альфреда де Мюссе [20. S. 32]. Некоторые выписки из этих произведений можно найти во «Французской тетради». Котье, кроме того, читал историю французского языка, давал знания по теме «галлицизмы», accent tonique (тоническое ударение. – *пояснение автора, Л.С.*), doublets (близкие по значению, но дифференцированные в процессе развития языка семантически или стилистически языковые единицы. – *пояснение автора, Л.С.*) и другим специальным темам, а также вел занятия по языкам-арго: коммерция, морской, военный. Это был действительно высоко интеллектуальный, вероятно, уникальный педагог.

Вот как характеризует его Евгения Штейн: «Месье Анри Котье был очень образованный, умный, интересный человек. Это не был “французик из Бордо”, какими были тогда ещё иногда учителя. Он знал русский, немецкий и английский языки по-настоящему, знал их литературу. Ему мы обязаны больше всего в жизни. Французский язык стал нашим любимым. Мы удивляли профессоров своими знаниями грамматики языка нового метода, которому нас научил наш учитель. Он был другом всего нашего класса».

Юные гимназистки уделяли талантливому педагогу с приятной внешностью много внимания, писали шуточные стихи. Вот, например, стихотворение из вышеупомянутого выпускного альбома 1906 г. гимназистки Руссвурм на немецком языке: «Интереснейший спектакль / Дает наш “Коридор”, / Ведь ещё до начала урока / Там много происходит. / Герр Котье широким шагом / Спешит в свой класс. //» (нем. Ein zu intressantes Sc hauspiel / Bietet unser "Korridor", / Denn for dem Beginn der Stunde / Geht gar Vieles noch dort vor. / Herr Cottier mit langen Schritten / Eilt zu seiner Klasse him. //). Сёдергран также написала шуточное стихотворение для Котье 4 июня 1909 г., когда он прощался с ее бывшим классом, а гимназистки «отчаянно плакали» (шв. gråta så våldsamt), в трех строфах которого использовала рефрен: «Счастье, Вам его никогда не найти» (фр. Les bonheur, Vous ne le trouverez jamais) [22. S. 23]. Таким образом, стихи, обращенные к педагогам,

были гимназической традицией, а Котье был интересен не только Сёдергран.

Именно Котье адресовано первое стихотворение, открывающее «Коленкоровую тетрадь» 29 января 1907 г. [21. С. 9], когда Сёдергран была в пятом классе (в марте 1907 г. ей исполнилось пятнадцать лет). Необходимо пояснить, что гимназистка не сдерживала своих эмоций — ее записная книжка не была предназначена для публикации или чтения посторонними, как, например, стихи ее сверстницы Марины Цветаевой в том же возрасте («Вечерний альбом» был издан в 1910 г.). Сёдергран писала рифмами о серьезном: о том, как проходили уроки французского, о новом, ставшем знаменитым, авторском методе Котье для усвоения грамматических правил и особенно спряжения глагола, однако самое большое число стихотворений написано о безответном романтическом чувстве лирической героини к педагогу. В своем «стихотворном дневнике», о котором знала она одна, Сёдергран открыто восхищалась внешностью Котье, подбирала точные выражения для передачи реального облика своего героя: волосы Котье — «соль и перец», его глаза «черные и горящие», походка «твердая уверенная», осанка «прямая», внешний вид «элегантный», что подтверждается сохранившимися фотографиями (материал предоставлен хранителем Музея Петришуле И.Б. Ермиловой).

Стихотворения написаны на немецком, французском и шведском языках в основном в 1907–1908 гг. Вот, например, запись под номером три, т.е. в самом начале «Коленкоровой тетради»: «Он элегантный, очаровательный (нем. *süss*) стройный», «говорят, ему 38» [21. С. 10]. Сёдергран использует немецкое слово '*süss*' (сладкий; очаровательный) как синоним французскому '*charmant*' в нескольких стихотворениях. Иногда в немецком тексте она называет своего учителя по-русски «котик», как например, в стихотворении 1907 г.: «Как ярко светят звезды, / Как морозна ясная ночь. / О КОТИКЕ мечтать я / сейчас совсем не прочь! //» (нем. *Wie hell die Sterne scheinen / Wie kalt und klar [die] Nacht / Ich habe sie in Gedanken / An КОТИКА verbracht. //*) — и далее о том, как она «страждет мучительно и больно» (нем. *Ich wünsche heiss und schmerzlich*) [21. С. 65]. Интересно, что в записанных на немецком стихах слово «Котик» встречается по-русски и с заглавной буквы, однако шведские комментаторы не поняли созвучность слов Котье–Котик и перевели шуточное имя педагога на шведский

буквально: «котенок» ‘kattunge’, сказав, таким образом, поэтическую идею, сделав ее банальной.



Рис. 1. Генрих Людвигович / Федорович Котье.
Дата снимка и автор неизвестны. Фотография из архива Петришуле

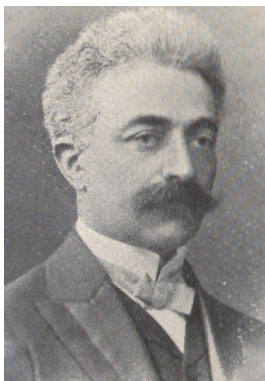


Рис. 2. Генрих Людвигович / Федорович Котье.
Дата снимка и автор неизвестны. Фотография из архива Петришуле¹

¹ Фотография воспроизведена ранее в издании Шведского литературного общества в Финляндии [32. S. 16].

Образ «Котика», которого лирическая героиня Сёдергран прижимает к груди, и кот-счастье (шв. luskokatt) [28. S. 79] перейдут в лирику зрелого периода. Интересно стихотворение на немецком «Что я любила. Подражание» (нем. Was ich liebte (Imitation) [21. S. 20]. Оно начинается с традиционных образов «пьянящего запаха сирени» [нем. schweren Syringeduft], «черных очей» [нем. schwarze Augen], «меланхолического взгляда» [нем. melancholischem Blick]. Однако далее Сёдергран пишет, что эти образы есть дурновкусие [нем. schlechten Geschmack] и остались для нее в прошлом (нем. in alter, /Urvergangenen Zeit.../), сейчас же для ее поэзии важнее другой идеал, и далее пишет о свежести идеала Котье. Однако, возможно, в ее словах можно прочитать иной смысл: она потеряла интерес к романтическим образам немецкой поэзии, которой в школе было очень много. У лирической героини гимназистки появляются «свежие» мысли, связанные теперь с другим языком – французским и с его носителем Котье. Она мечтает о совместном будущем с ним – тогда они смогут говорить о поэзии. Позволим выдвинуть гипотезу о том, что Котье не только учил французскому и руководил чтением французской литературы, но и познакомил гимназисток с французским стихосложением, в том числе, возможно, с Alexandrin, поскольку у Сёдергран появляются стихотворения на французском языке в более «свежей» для нее и более свободной, чем немецкий рифмометрический стих, форме. Их всего четыре, и все они посвящены Котье. Теперь уже на французском Сёдергран снова описывает его внешность и свои чувства: «люблю его безумно, и обожаю коленопреклоненно» (фр. ...Je l'aime comme une folle et l'adore à genoux) «блеск его глаз» (фр. L'éclat de ses yeux), «его воинственный вид» (фр. son allure martial), которые «пленили мое сердце» (фр. qui ont pris mon coeur). Однако тот, «кто видел мою радость и знает мою боль» (фр. qui ont vu ma joie et connaissent ma douleur), не замечает, «что я задыхаюсь, что моя душа полна» (фр. que mon coeur étouffe, que mon âme est plein) [21. S. 142]. Описание внешности Котье на французском ярче всего передано в неоконченном стихотворении, написанном 14 июня 1908 г., где весь «его образ, как отражение дня в нашей реке» (фр. Son visage est pareil / Aux reflets du soir / Dans le beau miroir / De notre rivière... /), «...Глаза, как утреннее солнце.../» (фр. Les yeux sont pareils / Au soleil du matin.../), волосы, как «белые облака» (фр. nuages tout blancs), дыхание, «как осенний ветер» (фр. vent

de l'automne), а усы, которые привлекают внимание на фотографиях, «как крылья ворона» (фр. *Ses moustaches sont pareilles / Aux deux ailes de corbeau...//*) [21. S. 132]. На этом стихотворении видно, как с одной стороны, Сёдергран тренирует французский сравнительный оборот, а с другой стороны, использует образы и эпитеты собственного изобретения, отличные от немецкой романтической традиции, развивая в себе способность наблюдать и точно, и в то же время с определенной долей психологизма, описывать внешность. Вскоре после французских упражнений Сёдергран переходит полностью на шведский язык, и снова в описаниях преобладают внешность Котье и эмоции, т.е. продолжается отработка знакомого образа, но в новой еще более свободной технике: «глаза его черные с грустью, на вид он высок, худощав», «он стрелой мне в сердце попал», «душа и все мои мысли, небеса и земной простор, сошлись в упоительном имени, ловят пылающий взор», и таких примеров достаточно много.

Однако как предмет внимания и любви Котье скоро ушел из сердца гимназистки и поэта. Весной 1908 г. она писала с юмором о нем и о своей несдержанности: «когда я смотрю на свой идеал, мне хочется и плакать, и смеяться» (шв. *...när jag betraktar min ideal, / Måste jag gråta och skratta./*) [21. S. 126], называя всю историю «нелепой» и «глупой» (нем. *ridikul*; шв. *löjlig*). В то же время следует отметить, что к Котье Сёдергран обращалась до последних записей в своем блокноте. Возможно, что именно эта «любовная история» стала для нее импульсом для сочинительства, и когда Сёдергран стала более уверенно отходить от традиционных приемов стихосложения, она была благодарна Котье за вдохновение и «свежее» знание. Возможно, реальная Сёдергран контролировала свои эмоции, но позволяла своей поэтической героине немного помечтать. О такой трактовке отношений педагог – гимназистка позволяет задуматься собственное письмо Сёдергран, датированное 13 июня 1908 г. [22. S. 15]. Оно адресовано хорошему знакомому семьи «дяде» (шв. *farbror*) Уно Бакеру (*Uno Backer*). Уно Бакер (1843–1911), по информации Шведского литературного общества, служил инженером на заводе Нобеля (вероятнее всего, на «Русском дизеле», но эту догадку предстоит проверить) и был по работе знаком с Матвеем Матвеевичем Сёдерграном, отцом Эдит [22. S. 14]. Возможно, добрые отношения со старым петербургским приятелем тогда уже покойного отца позволили гимназистке

быть особенно искренней и доверительной; позже она будет много писать семье Бакеров из Швейцарии. Вот чем она поделилась в этот раз: «Я читаю прелестные французские истории с благоговением и благочестивыми мыслями... О летнем приезде моего Котье мне ничего не известно; но я не могу расстраиваться по этому поводу так, как мне хотелось бы; вероятно, я стала черствой и малочувствительной... И все же я хотела бы сообщить двум гельсингфорцам о новом явлении: о звезде, которая взошла над голубым небом Франции, а теперь продолжает свои грамматически-анекдотические радостные дни в вышине петришуленских классов». И далее Сёдергран переписывает для «дяди Уно» свое шуточное стихотворение о Котье на шведском, которое начинается так: «Я влюблена в учителя французского» (шв. *Jag är förälskad i min franska lärare /...*), в котором подробно описывает его внешность, упоминая о схожести с Мопассаном, его строгость, элегантность, ироничность и свое смущение от общения с ним в классе [22. S. 16]. В письме она комментирует свое «творение» следующим образом: «я постаралась описать его в приличествующей форме (шв. *lämplig form*), как можно кратко. Пусть тебя не пугает странность формы, и только не думай, что это какая-то безумная любовная чушь... Теперь, когда, вскрытие произошло, я вижу, насколько оно было бессмысленно. Невозможно описать личность, особенно если ее обожаешь». О «форме» стихотворения отметим следующее: стихи не зарифмованы, строки разной длины, строфы объединяет конкретная деталь внешности или поведения, но в них разное количество строк, отсутствуют признаки, создающие архитектуру *vers libre* Сёдергран периода зрелого творчества, а именно анафора или параллелизм. Однако оно не является простым перечислением характерных черт педагога, в нем есть аллитерации и ассонансы, применяются приемы звукописи. Письмо не было отправлено, но сохранился его черновик [22. S. 17]. Если верить содержанию письма, то отношение Сёдергран к Котье следует пересмотреть и сделать вывод о том, что в своем поэтическом вымысле она тренировала не только приемы стихосложения, но и училась точно выражать оттенки чувств и особенности внешности на примере выдающегося во всех отношениях Котье, что, по ее собственному мнению, не всегда было удачным.

Важно отметить, что многие стихотворения в «Коленкоровой тетради» проникнуты настроением одиночества и чужести, непониманием того, кому ее поэзия может быть нужна и близка, как, например, в стихотворении 22 сентября 1908 г. на немецком: «я не знаю, кому нести свои песни, / ...Но я проклиная одиночество / и ищу по всему миру / хоть одно сердце» (нем. Ich Weiss nicht, wem meine Lieder bringen, / ...Ich aber verfluche Einsamkeit / Und suche in der weiten Welt / Nach einem Herzen...//) [21. S. 141]. Возможно, роль «понимающего сердца» играл в какой-то период и Котье, что хорошо видно на примере двух стихотворений 1909 г. на шведском: «но он мудр, мой любимый, ибо знает, / Что душа поэта в вечном поиске, / и что она видит, когда работа завершена, / Что еще не достигла блаженства. //» (шв.: ...Men han är klok, min älskling, ty han vet, / Att diktarsjälens söker utan ända, / Och att den ser, när verket sig fulländar / Att den ännu ej nått sin salighet) [21. S. 223] и «...Поэт ищет в мире / Место для своей тоски и веры, / Она становится его прекрасным храмом, / В котором живут его мечты. / ...И, может, я найду в нем / Место для своей тоски и веры, / Где мои мечты будут качаться / В покое и тишине. //» (шв.: ...En diktare söker i världen / En ort för sin längtan och tro, / Den blir hans härliga tempel, / I vilken hans drömmar bo. / ...Men manne jag finner hos honom / En ort för min längtan och tro, / Der mina drömmar få vaggas / Till hvila i osrörd ro. //) [21. S. 230]. Из этих примеров можно сделать вывод о слиянии образа Котье и поэзии в сознании Сёдергран. Генрих Людвигович эмигрировал из России после революции 1917 г., вернулся во Францию и скончался в Париже в 1930-х гг., как сообщили в Петришуле.

Отметим также пространство тревожности и меланхолии, объединяющее гимназические стихотворения, а также персонификацию смерти, характерные для лирики поэтов – современников Сёдергран. Обращают на себя внимание также стихи, в которых Сёдергран размышляет о роли поэта и поэзии, и особенно стихотворение 1907 г. «К богу поэзии» (нем. An der Gott der Dichtung) [21. S. 90], где она его просит: «Покрой меня поцелуями, / Всемогущий, прекрасный Бог /...», (нем. Bedecke mich mit Küssen, / Allmächt'ger, schöner Gott), на примере которого видно, как ответственно и серьезно она относилась к своему дару. По черновикам, сохранившимся в архиве, заметно, как

много Сёдергран работала над своими стихами. В «Коленкоровой тетради» записаны также первые верлибры «Закат в Иванову ночь» (шв.: En hel flottilje båtar simmar) в июне 1908 г. [21. S. 131] и «Радость – это бабочка» (шв. Glädjen är en fjärl) в январе 1909 г. [21. S. 152]. В январе 1909 г. Сёдергран ушла из школы и уехала из Санкт-Петербурга и никогда больше в нем не жила.

Все приведенные примеры, записанные разными размерами в рамках конвенционального или свободного стихосложения, безусловно, можно назвать, «учебными», «тренировочными» и способными вызывать, как у Улофа Энкеля, первого публикатора «Коленкоровой тетради», «разочарование» (шв. en besvikelse) [21. S. 14]. Однако уже в ювенилиях у Сёдергран развивается красочная система образов, собственных поэтических приемов, особенно метафор, «свежих» эпитетов, которая найдет яркое выражение в зрелой лирике. Мы можем сделать предварительный вывод о том, что потребность передавать романтическое чувство, было ли оно реальным, или все же вымышленным, и обожание педагога стало важным стимулом для развития поэтического таланта Сёдергран. «Коленкоровая тетрадь» требует глубокого осмысления, которое откроет новые грани творчества поэта и позволит составить более точную картину о ней как творце.

Петербургская Петришуле, благодаря которой Сёдергран стала полиглотом и высокообразованным человеком, эстетическое воспитание, круг чтения, а также участие в процессе обучения талантливого педагога по французскому языку оказали значительное влияние на ее становление как поэта. Часто необдуманное слово матери могло направлять ход мысли исследователей на ложный путь, и они преувеличивали эмоциональный фактор в творчестве поэта, однако чтение архивных документов и писем Сёдергран помогает сформировать более ясное представление о раннем творчестве этого выдающегося представителя поэтического модернизма. На приведенных примерах видно, что роль Котье гораздо шире и важнее, чем была представлена до сих пор. Он был тем стимулом, который заставлял Сёдергран шлифовать свой дар и совершенствовать свои умения в стихосложении. Материалы ранее известного источника – «Коленкоровой тетради», а также неопубликованной «Французской тетради» и «Гостевой книги» – продемонстрировали, как с раннего возраста рождался и развивался интерес к поэзии у Сёдергран. Многие образы, которые привлекли ее

внимание в детстве или были проверены в гимназической лирике, перешли и в профессиональное творчество. Обращение к первоисточникам и архивным материалам позволило переосмыслить хорошо известные факты биографии поэта.

Список источников

1. Коллекция метрических книг лютеранских церквей. Приход Св. Екатерины // ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. № 1. Ч. 2. 311 л. Актовая запись № 27 за апрель 1892 г.
2. *Ehrström E.G.* Historisk Beskrifning öfwer St Catharina och St Maria Församlingar, eller Svenska och Finska Församlingarna i St Petersburg. Åbo. 1829. 257 S.
3. *Энгман М.* Финляндцы в Петербурге. СПб.: Европейский дом, 2008. 470 с.
4. *Tidestöm G.* Edith Södergran. Stockholm: Aldus, 1960. 264 S.
5. Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского. Материалы для фабрично-заводской статистики. СПб.: Тип. Р. Голике, 1887. 827 с.
6. Указатель фабрик и заводов Европейской России. Материалы для фабрично-заводской статистики. СПб.: Тип. В. Киришабаума, 1894. 827 с.
7. Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации: торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи. СПб.: А.С. Суворин, 1895. 873 с.
8. Энциклопедический словарь: в 86 т. СПб., 1893. Т. 16 (VIII A). 497 с.
9. Чертежи дома и зданий чугуно-литейного завода, на участке, принадлежавшем А.А. Крумбюгелю, Г. Гольмросу и Э. Рейнеке, Ш. де Риц-а-Порту по Малой Посадской ул., 15–17 // ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. № 8323. 1881–1911. 153 л.
10. Чертежи домов, зданий городских бань, конюшен и кегельбана на участке, принадлежавшем Е. Архангельской, С. Климову, Е. Зезюкиной, наследникам Зезюкиной, Г.М. Гольмросу, Л. Нобелю, Нобелям, Э.Л. Нобелю по Б. Сампсониевскому пр., 29–31, Нюстадской ул., 20 (Б. Сампсониевскому пр., 29–31, и Лесному пр. 20) // ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. № 2856. 1851–1906. 318 л.
11. Адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. Весь Петербург на 1894 год / сост. под ред. Н.И. Игнатова. СПб.: Издание А.С. Суворина, 1894. 290 с.
12. *Юхнева Н.В.* Шведы в Петербурге в конце XIX – начале XX веков // Шведы на берегах Невы. По материалам российской статистики. Стокгольм: Шведский институт и Балтийский гуманитарный фонд, 1998. С. 111–113.
13. *Иванова Н.И.* Немецкие предприниматели в Санкт-Петербурге (XVIII–XX вв.). СПб.: Тип. ИОВ РАО, 2002. 265 с.
14. Программы 8 класса женской гимназии 1917 г. // ЦГИА СПб. Ф. 272. Оп. 1. № 939. 48 л.

15. Som en eld över askan. Edith Södergrans fotografier. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1993. 149 S.
16. Переводной список учениц 1903 г. // ЦГИА СПб. Ф. 272. Оп. 1. № 774. 9 л.
17. Переводной список учениц 1905 г. // ЦГИА СПб. Ф. 272. Оп. 1. № 804. 10 л.
18. Переводной список учениц 1906 г. // ЦГИА СПб. Ф. 272. Оп. 1. № 820. 10 л.
19. Заметки Елены Сёдергран // Södergranmaterial ur Hagar Olssons kvarlåtenskap. Svenska litteratursällskapetets arkiv, SLSA 774: 1 Manuskript 25. 9 S.
20. *Enckell O.* Edith Södergrans dikter 1907–1909. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1961. B. I. 296 S.
21. *Enckell O.* Edith Södergrans dikter 1907–1909. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1961. B. II. 157 S.
22. *Södergran E.* Brev. Samlade skrifter 2. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. 312 S.
23. *Brunner E.* Till fots genom solsystemen. En studie i Edith Södergrans expressionism. Stockholm : Bonniers, 1985. 376 S.
24. Dagens Press. № 20. 25.01.1919. 6 S.
25. Школьная тетрадь по французскому языку // Francais. Edith Södergarns arkiv. Svenska litteratursällskapetets arkiv, SLSA 566:2:1. 237 S.
26. Гостевая книга // Minnesalbum. Edith Södergarns arkiv. Svenska litteratursällskapetets arkiv, SLSA 566:2:3. 180 S.
27. Edith's brev. Brev från Edith Södergran till Hagar Olsson med kommentar av Hagar Olsson. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 1955. 230 S.
28. *Södergran E.* Samlade dikter. Helsingfors: Holger Schildt Förlag, 1949. 424 S.
29. Адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. Весь Петербург на 1900 год. СПб. : Издание А.С. Суворина, 1900. 876 с.
30. Адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. Весь Петербург на 1904 год. СПб. : Издание А.С. Суворина, 1904. 890 с.
31. Адрес-календарь Северного общества Nordisk kalender för året 1909 jämte Adresslista m.m. utgiven av Nordiska Föreningen i St.Petersburg, 1908. 110 s.
32. *Södergran E.* Samlade Skrifter 2. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. 312 s.

References

1. The Central State Historical Archive of St. Petersburg (TsGIA SPb). *Kollektiysiya metriceskikh knig lyuteranskikh tserkvey. Prikhod Sv. Ekateriny* [Collection of metric books of Lutheran churches. St. Catherine's Parish]. Fund 2294. List 1. № 1. Part 2. 311 l. Act record No. 27 for April 1892.
2. Ehrström, E.G. (1829) *Historisk Beskrifning öfwer S:t Catharina och S:t Maria Församlingar, eller Swenska och Finska Församlingarna i St Petersburg*. Åbo: [s.n.].
3. Engman, M. (2008) *Finlyandtsy v Peterburge* [Finns in St. Petersburg]. St. Petersburg: Evropeyskiy Dom.
4. Tidestöm, G. (1960) *Edith Södergran*. Stockholm: Aldus.

5. Orlov, P.A. (1887) *Ukazatel' fabrik i zavodov Evropeyskoy Rossii i Tsarstva Pol'skogo. Materialy dlya fabrichno-zavodskoy statistiki* [Index of Factories and Plants in European Russia and the Kingdom of Poland. Materials for Factory Statistics]. St. Petersburg: R. Golike.

6. Orlov, P.A. & Budagov, S.A. (1894) *Ukazatel' fabrik i zavodov Evropeyskoy Rossii. Materialy dlya fabrichno-zavodskoy statistiki* [Index of Factories and Plants in European Russia. Materials for Factory Statistics]. St. Petersburg: V. Kirshbaum.

7. Russian Empire. (1895) *Vsya Rossiya. Russkaya kniga promyshlennosti, torgovli, sel'skogo khozyaystva i administratsii: torgovo-promyshlennyy adres-kalendar' Rossiyskoy imperii* [The Entire Russia. The Russian Book of Industry, Trade, Agriculture and Administration: Trade and Industrial Address-Calendar of the Russian Empire]. St. Petersburg: A.S. Suvorin.

8. Brockhaus, F. & Efron, I. (1893) *Entsiklopedicheskiy slovar': v 86 t.* [Encyclopedic Dictionary: in 86 vols]. Vol. 16. St. Petersburg: F. Brockhaus & I. Efron.

9. The Central State Historical Archive of St. Petersburg (TsGIA SPb). (1881–1911) *Chertezhi doma i zdaniy chugunno-liteynogo zavoda, na uchastke, prinadlezhavshem A.A. Krumbyugelyu, G. Gol'mrosu i E. Reyneke, Sh. de Rits-a-Portu po Maloy Posadskoy ul., 15–17* [Blueprints of the house and buildings of the iron foundry, on the plot belonging to A.A. Krumbügel, G. Golmros and E. Reineke, Sh. de Ritz-a-Port at Malaya Posadskaya St., 15–17]. Fund 513. List 102. № 8323.

10. The Central State Historical Archive of St. Petersburg (TsGIA SPb). (1851–1906) *Chertezhi domov, zdaniy gorodskikh ban', konyushen i kegel'bana na uchastke, prinadlezhavshem E. Arkhangel'skoy, S. Klimovu, E. Zezyukinoi, naslednikam Zezyukina, G.M. Gol'mrosu, L. Nobelyu, Nobelyam, E.L. Nobelyu po B. Sampsonievskomu pr., 29–31, Nyustadskoy ul., 20 (B. Sampsonievskomu pr., 29–31 i Lesnomu pr. 20)* [Blueprints of houses, buildings of city baths, stables and a skittle alley on the plot belonging to E. Arkhangelskaya, S. Klimov, E. Zezyukina, heirs of Zezyukin, G.M. Golmros, L. Nobel, the Nobels, E.L. Nobel at Bolshoy Sampsonievsky Ave., 29–31, Nyustadskaya St., 20 (Bolshoy Sampsonievsky Ave., 29–31 and Lesnoy Ave. 20)]. Fund 513. List 102. № 2856.

11. Ignatov, N.I. (ed.) (1894) *Adresnaya i spravochnaya kniga g. S.-Peterburga. Ves' Peterburg na 1894 god* [Address and Reference Book of St. Petersburg. All Petersburg for 1894]. St. Petersburg: A.S. Suvorin.

12. Yukhneva, N.V. (1998) *Shvedy v Peterburge v kontse XIX – nachale XX vekov* [Swedes in St. Petersburg at the End of the 19th – early 20th Centuries]. In: *Shvedy na beregakh Nevy. Po materialam rossiyskoy statistiki* [Swedes on the Banks of the Neva. Based on materials from Russian statistics]. Stockholm: The Swedish Institute and the Baltic Humanitarian Foundation. pp. 111–113.

13. Ivanova, N.I. (2002) *Nemetskie predprinimateli v Sankt-Peterburge (XVIII–XX vv.)* [German Entrepreneurs in St. Petersburg (18th–20th Centuries)]. St. Petersburg: IOV RAO.

14. The Central State Historical Archive of St. Petersburg (TsGIA SPb). (1917) *Programmy 8 klassa zhenskoy gimnazii 1917 g.* [Curriculum for the 8th grade of the women's gymnasium, 1917]. Fund 272. List 1. № 939.
15. Södergran, E. (1993) *Som en eld över askan. Edith Södergrans fotografier.* Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
16. The Central State Historical Archive of St. Petersburg (TsGIA SPb). (1903) *Perevodnoy spisok uchenits 1903 g.* [Transfer list of female students, 1903]. Fund 272. List 1. № 774. 9 l.
17. The Central State Historical Archive of St. Petersburg (TsGIA SPb). (1905) *Perevodnoy spisok uchenits 1905 g.* [Transfer list of female students, 1905]. Fund 272. List 1. № 804. 10 l.
18. The Central State Historical Archive of St. Petersburg (TsGIA SPb). (1906) *Perevodnoy spisok uchenits 1906 g.* [Transfer list of female students, 1906]. Fund 272. List 1. № 820. 10 l.
19. Södergran, E. (n.d.) *Zametki Eleny Sedergran* [Notes by Elena Södergran]. Södergranmaterial ur Hagar Olssons kvarlåtenskap. Svenska litteratursällskapets arkiv, SLSA 774: 1 Manuskript 25.
20. Enckell, O. (1961a) *Edith Södergrans dikter 1907–1909.* Vol. 1. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
21. Enckell, O. (1961b) *Edith Södergrans dikter 1907–1909.* Vol. 2. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
22. Södergran, E. (1996) *Brev. Samlade skrifter 2.* Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
23. Brunner, E. (1985) *Till fots genom solsystemen. En studie i Edith Södergrans expressionism.* Stockholm: Bonniers.
24. *Dagens Press.* (1919) 25th January.
25. Français. Edith Södergrans arkiv. Svenska litteratursällskapets arkiv. (n.d.) *Shkol'naya tetrad' po frantsuzskomu yazyku* [French Notebook]. SLSA 566:2:1.
26. Edith Södergrans arkiv. Svenska litteratursällskapets arkiv. (n.d.) *Gostevaya kniga* [Guestbook]. SLSA 566:2:3.
27. Södergran, E. (1955) *Edith's brev. Brev från Edith Södergran till Hagar Olsson med kommentar av Hagar Olsson.* Stockholm: Albert Bonniers förlag.
28. Södergran, E. (1949) *Samlade dikter.* Helsingfors: Holger Schildt Förlag.
29. Anon. (1900) *Adresnaya i spravochnaya kniga g. S.-Peterburga. Ves' Peterburg na 1900 god* [Address and Reference Book of St. Petersburg. All Petersburg for 1900]. St. Petersburg: A.S. Suvorin.
30. Anon. (1904) *Adresnaya i spravochnaya kniga g. S.-Peterburga. Ves' Peterburg na 1904 god* [Address and Reference Book of St. Petersburg. All Petersburg for 1904]. St. Petersburg: A.S. Suvorin.
31. Anon. (1908) *Adres-kalendar' Severnogo obshchestva Nordisk kalender för året 1909 jämte Adresslista m.m. utgiven av Nordiska Föreningen i St.Petersburg, 1908.* [s.l.: s.n.].

32. Södergran, E. (1996) *Samlade Skrifter* 2. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Информация об авторе:

Сафонова Л.Ю. – аспирант кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: luba.sazonova@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

L.Yu. Sazonova, postgraduate student, St. Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: luba.sazonova@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 25.05.2025.

The article was accepted for publication 25.05.2025.

Научная статья

УДК 81'25:811+82.09

doi: 10.17223/24099554/24/5

Стратегии перевода стихотворений татарских поэтов на русский и английский языки

Эльвира Фирдавильевна Нагуманова¹

Оксана Владимировна Шемшуренко²

^{1, 2} Казанский федеральный университет, Казань, Россия

¹ ehlviran@gmail.com

² oxana-shem@yandex.ru

Аннотация. В статье ставится проблема перевода татарской поэзии на английский и русский языки. Материалом для изучения послужили лирические тексты татарских поэтов XX–XXI вв. (Дэрдмента, М. Джалиля, Л. Шаеха). В результате проведенного исследования установлено, что стратегия перевода зависит прежде всего от личных предпочтений переводчиков. Доказано, что переводы воссоздают общий смысл оригинала, не раскрывая глубинные пласты татарской культуры.

Ключевые слова: перевод, татарская поэзия, концепт, русский язык, английский язык

Для цитирования: Нагуманова Э.Ф., Шемшуренко О.В. Стратегии перевода стихотворений татарских поэтов на русский и английский языки // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 90–108. doi: 10.17223/24099554/24/5

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/5

Translation strategies for poems by Tatar poets into Russian and English

Elvira F. Nagumanova¹

Oksana V. Shemshurenko²

^{1, 2} Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation

¹ ehlviran@gmail.com

² oxana-shem@yandex.ru

Abstract. This article examines the challenges of translating Tatar poetry into Russian and English, using lyrics by 20th and 21st-century Tatar poets (Derdmend, Musa Jalil, Lenar Shaekh) as its primary material. The study focuses on translating the non-equivalent concept of the Tatar linguaculture *моң*, and individual strategies for translating poems by Tatar poets into Russian and English. The analysis reveals that translators most frequently employ descriptive translation, with their strategic choices being influenced by both personal preference and linguistic proficiency. The study of poetic texts helps identify key vectors in the perception of Tatar cultural and mental phenomena and clarifies the nature of the translation transformations. It is demonstrated that while translations generally succeed in conveying the original's core meaning, they often fail to articulate the deeper cultural layers associated with specific concepts like *моң*. Translators of this term must simultaneously account for its diverse meanings – encompassing sadness (melancholy, sorrow), melody (motive), harmony, and song. The study concludes that the associative-semantic field of such culture-bound concepts typically narrows in translation, as the chosen lexemes can only approximate the full semantic content of the Tatar originals. Consequently, translating these unique concepts is impossible without a thorough consideration of their contextual meaning. The examined translations tend to make implicit semantic components of complex concepts explicit, elements that remain latent for native Tatar speakers. While modern translators into Russian often find successful linguistic solutions that preserve the poetic depth of the originals, this is sometimes achieved at the expense of cultural specificity. Furthermore, most English translations are derived from Russian versions, thereby inheriting their translation strategies. Translators typically seek English equivalents for the lexemes already chosen in the Russian intermediary texts. This practice of relay translation is prevalent due to the inaccessibility of the Tatar language for many translators, resulting in a secondary text shaped by the influence of the translated Russian work.

Keywords: translation, Tatar poetry, concept, Russian language, English language

For citation: Nagumanova, E.F.& Shemshurenko, O.V. (2025) Translation strategies for poems by Tatar poets into Russian and English. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 90–108. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/5

В современном переводоведении существуют разные точки зрения о способах перевода поэтических текстов на язык принимающей культуры. Во многих работах последних лет уделяют особое внимание стратегии перевода, понимая под ним целенаправленное поведение переводчика для решения коммуникативных задач [1–4].

Т.А. Казакова подчеркивает, что переводческая стратегия – это «система взаимодействий когнитивно-эмоциональных факторов понимания и переводческой установки, направленная на решение практических задач по созданию художественного подобия оригиналу на другом языке» [5. С. 18]. По словам немецкого исследователя Х. Крингса, «переводческая стратегия» – это «потенциально осознанный план переводчика, направленный на решение конкретной переводческой проблемы в рамках конкретной переводческой задачи» [3. Р. 18].

Соответственно, каждый переводчик, вступая в диалог с представителем инонациональной культуры, прежде всего должен ориентироваться на определенный набор приемов, методов и техник для достижения репрезентативности перевода. При этом работа должна вестись с учетом особенностей знаковой системы исходного языка.

Особое место в культурах разных народов занимают так называемые безэквивалентные концепты, которые могут быть выявлены через аналогичные языковые единицы. Именно наличие подобных концептов является показателем уникальности каждой культуры. Национальное своеобразие сознания народа проявляется через такие концепты, как русские *духовность*, *соборность* и татарские *мон*, *тауфыйк* и пр.

Данные концепты-уникалии отражают психологию этноса, его образ жизни, многовековые традиции и обычаи, выступающие свидетельствами особенностей соответствующей культуры. В любом случае переводчик, сталкиваясь с этими понятиями, стремится на родном

языке найти слова и выражения, через которые наиболее точно можно было бы передать ядро того или иного концепта. В данном случае не может идти речи о воссоздании всего многообразия исходного слова и выражения на языке переводящей культуры, а лишь о возможности передачи его внутреннего содержания.

Целью данного исследования является выявление стратегии перевода как отдельных концептов татарской культуры, так и лирических произведений татарских поэтов на русский и английский языки.

Актуальность исследования связана с необходимостью актуализации понятия «стратегия перевода» по отношению к переводам с национальных языков, а также определения лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на исходные установки переводчиков. Несмотря на растущее со стороны исследователей внимание к проблеме перевода, работ, в которых затрагиваются вопросы перевода с языков народов Российской Федерации, недостаточно.

Новизна исследования заключается в том, что рецепция феноменов татарской культуры через переводные художественные тексты позволяет выявить основные векторы передачи культурной информации и национальной идентичности татарских авторов на переводящем языке, а также доминантные черты принимающей лингвокультуры, задающие характер переводческих трансформаций, выявление психо-семиотических осложнений, которые можно отнести к категории межкультурных.

Материалом исследования стали стихотворения трех татарских поэтов: Дэрдменда (Закира Садыковича Рамиева) (1859–1921), Мусы Джалиля (Мусы Мустафовича Залилова) (1906–1944), Ленара Шаеха (Ленара Миннемохимовича Шаехова) (род. 1982). Нами специально отобрана поэзия трех поколений поэтов для демонстрации того, как меняется семантическая наполненность одного из значимых концептов татарской культуры – *моң*, а также для определения разной стратегии перевода национальной поэзии на мировые языки.

Основным методом исследования стал метод сопоставления, который нацелен на выявление как общих черт между оригинальной лирикой поэтов и переводами на русский и английский языки, так и различий. Также мы прибегаем к контекстуальному, дефиниционному

анализу, анализу стратегий, использованных разными переводчиками при переводе стихотворений татарских поэтов на русский и английский языки.

Контекстуальный анализ дает возможность раскрыть особенности функционирования языковых единиц в структуре фрагмента текста, когда наряду с индивидуальными признаками языковых единиц учитываются признаки контекстов, в данном случае контекстуальные признаки выступают в качестве независимых переменных, оказывающих влияние на особенности функционирования и семантики языковых единиц.

В рамках данного исследования ценными оказываются также рассуждения о месте переводчика в контексте интерпретационного процесса. Так, российский исследователь и переводчик Е.И. Зейферт вводит понятие «переводческая вторичная авторская вненаходимость», понимая его как «воссоздание идентичности автора оригинала на иноязычной почве с помощью языкового эквивалента с целью создания текста, мерцающего как “свой” / ”чужой”» [6. С. 32]. Непереводимое становится дополнительной границей для этого понятия. Исследователь замечает: «Пересоздание оригинального поэтического текста позволяет переводчику активизировать возможности родного языка в поисках заполнения возникающих лакун эквивалентами» [6. С. 44].

1. Специфика передачи на русском и английском языках концепта *моң*

В татарской культуре одним из ключевых концептов является *моң*. Ч.Н. Бахтиярова отмечает, что слово *моң* не имеет идентичного выражения в русском языке: «Объяснить его можно как “язык души”, выражение в напевах самых сокровенных задушевных чувств простых людей» [7. С. 227].

Заметим, что *моң* наиболее полно представлен в татарском песенном фольклоре. В 1914 г. в статье «Взгляд на нашу народную словесность» Гали Рахим писал о том, что *моң* тесно связан с особенностями этнической идентичности татарского народа: «Но как бы то ни было, факт остается фактом: все татарские песни плачут, тоскуют, и если внешне плач и тоска могут быть неочевидными, то внутренне в них

всегда присутствуют страдания» [8. Р. 165]. Есть напевы, которые отличаются большим разнообразием локальных и этнографических особенностей, богатством мелодики, их называют *озын көй* (протяжная песня). «Орнаментально-импровизационные “озын көй” отличаются широтой и красотой распева, диапазон напевов в таких песнях превышает октаву, а слоговая ритмика может быть соотнесена с ямбом» [9. С. 247].

Можно обнаружить в русском сознании нечто аналогичное, но не сходное. Вспомним высказывание В.Г. Белинского о русской народной песне: «...Власть народной музыки бесконечна над чувством. Не диво, что русский мужичок и плачет, и пляшет от своей музыки; но то диво, что и образованный русский, музыкант в душе, поклонник Моцарта и Бетховена, не может защититься от неотразимого обаяния однообразного, заунывного и удалого напева нашей песни...» [10]. В русской народной песне заключена внутренняя гармония, соотносимая с татарским *моң*. В татарском культурном сознании *моң* связан с песней, являющей собой высшее состояние духа, способное очистить душу, вдохновить каждого человека. Татарские народные песни имеют свой особый лад, особую мелодичность, напевность, что способствует возникновению *моң*. Что-то притягательное есть и в русской песне, и в татарской, и «поэзия нема и бесполезна для людей чуждой нации и понятна только для того народа, в котором родилась она...» [10].

В статье «Особенности передачи национально-специфических концептов в переводных текстах (на примере концепта *Моң*)» исследователи подчеркивают, что *моң* – «это не столько переживание боли и утраты, сколько глубоко внутреннее состояние часто беспричинной тоски и печали, которые имеют подсознательную природу и проявляются наиболее остро в моменты душевных томлений» [9. С. 247].

Данный концепт мы относим к числу непереводаемых, однако возможны на уровне поэтики стиха передача элегичности, напевности татарского языка, воспроизведение особого состояния *моңлык*, возникающего при соприкосновении с *моң*.

Рассмотрим стихотворения, в которых присутствует данный концепт, и обозначим способы передачи его на русский и английский языки. Мы выделяем стихотворения, где звучит мотив творчества и служения народу.

1.1. Одно из самых известных стихотворений Дэрдменда «Бүзләрем мана алмадым» («Не омочил я саван»), написанное в

1908 г., наполнено суфийскими мотивами и символами: *өмид, нан, тау, чишимэи абелхэят* и др. Однако любовь к Аллаху заменяется любовью к родной нации, поэт испытывает боль оттого, что его жертва была бессмысленной, отчаянием проникнута каждая строчка стихотворения.

Исте жилләр ил эченнән,
Иртә-кич салдым колак.
Жил-жиләсләрнең моңыннан
Зәүкы әлхан алмадым [11. С. 24].

Ветры времени гудели,
Днем и ночью я внимал,
В звуках этих и мотивах
Наслажденья не познал.
(Перевод В. Думаевой-Валиевой) [11. С. 25].

Переводчик В. Думаева-Валиева использует в переводе слово *мотив*, это приводит к сужению семантического ядра концепта, тем более в следующей строке оригинала устаревшая форма *Зәүкы әлхан* на современном татарском языке звучит как *көй ләззәте* (наслаждение мелодией (мотивом)).

Данное стихотворение неоднократно переводилось на русский язык. Так, при передаче концепта *моң* С. Липкин использует слово *песня*, Р. Бухараев включает более развернутую форму передачи концепта: *ни боли песен я постичь не смог*. Каждый переводчик исходит из своего поэтического опыта, стремясь найти наиболее адекватные варианты перевода данного концепта. Представленные способы передачи *моң* говорят о том, что переводчики ищут оптимальные способы перевода, но в любом случае они лишь опосредованно передают содержание исходного концепта. Поэтому наиболее близка к оригиналу Думаева-Валиева.

В английской версии для передачи слова *моң* переводчик использует словосочетание *mournful tunes*:

The winds blew softly from my country's heart;
Their melodies would haunt me day and night.
Yet from their **mournful tunes** I had no joy;
From those cool breezes there was no delight [12. P. 141].

Буквально *mournful tunes* означает «скорбные мелодии». Английская версия стихотворения оказывается более близка к переводу С. Липкина. Несомненно, переводчик переводит на английский язык не с оригинала, а с русского перевода.

1.2. Стихотворение Мусы Джалиля «Жырларым» («Мои песни») было написано в 1943 г. В нем поэт прощается с жизнью, он уверен, что песни его не исчезнут, они будут жить в сердцах людей. И свою жизнь он сравнивает с мелодией.

Жыр өйрәтте мине хөр яшәргә
Һәм үләргә кыю ир булып.
Гомрем минем моңлы бер жыр иде,
Үлемем дә яңрап жыр булып [13].

Дословный перевод выделенной для рассмотрения строки звучит следующим образом: «Моя жизнь была одной грустной песней», однако *моң* здесь становится воплощением души самого поэта, его самых сокровенных мыслей.

Рассмотрим переводы этой строки на русский и английский языки. Обратимся к переводу С. Липкина:

Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит,
Жизнь моя **песней** звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит [14. С. 164].

Перевод становится примером адекватной передачи смысловой стороны оригинала, за что ратовала советская переводческая школа. Что же касается перевода сочетания *моңлы бер жыр* (грустная (печальная) одна песня) на русский язык, то сразу бросается в глаза усиление эмоциональной составляющей: *песня звенела*, однако то, что свойственно *озын көй*, не может быть передано через глагол «звенеть» (т.е. издавать звук высокого тембра). Как правило, *моң* соотносится с грустной напевной мелодией. Поэт сравнивает свою собственную жизнь с печальной песней, а смерть станет символом борьбы за свободу (поэт погиб 25 августа 1944 г. в нацистском лагере, передав написанные в немецких застенках стихи соседу по камере).

Стоит отметить, что сравнение жизни с песней часто встречается в поэзии, но Джалиль, понимая и принимая скорую кончину от рук нацистов, продолжает творить, и его душа проникается той огромной живительной силой, которая исходит от его народа. Поэтому *моң* становится не только отражением грустных раздумий поэта о жизни, но и символом тончайшей связи его творчества с народной стихией.

Обратимся к переводу на английский язык:

The song which taught me freedom from the very beginning
Orders me to die like a man, right or wrong.
My life! You sang like **clear, resounding melody**.
Death! You must also ring out like a song! [12. P. 166].

В переводе на английский язык сочетание *моңлы бер жыр* становится чистой, звонкой мелодией. Ощущение звучания связывает английский перевод с русским, однако сочетание *clear melody* (чистая мелодия) в большей степени соотносится с внутренней наполненностью татарского стихотворения. Состояние чистоты соответствует душевному настрою поэта.

1.3. Современный татарский поэт Ленар Шаех ищет *моң* в окружающем мире. Так, в стихотворении «Постмодерн» поднимается важная для современных авторов проблема отсутствия поэзии в окружающей действительности.

Күнел – ак кар... Ул **моң** эзли
Ипподромнан, стадионнан...
Шигырь түгел, дөнья чаба,
Мэшәкәтләр бара аннан [15. Б. 109].

Мы ищем музыку слов, и наш кумир
От ипподрома до стадиона...
По белому снегу душ ступает мир –
Неисчислимы его колонны.
(Перевод Г. Булатовой) [16. С. 45].

В оригинале «душа ищет мелодию», в переводе меняются субъектно-объектные отношения. *Мы ищем музыку слов* – начинает переводчик. В стихотворении на русском языке сфера субъективного яв-

ляется доминирующей. В данном случае, говоря словами С.Н. Бройтмана, «точкой отсчета в субъектной сфере имело не изолированное “я”, а исходная целостность “я” и “другого”» [17. С. 460].

Моң в переводе Г. Булатовой заменяется на выражение *музыка слов*. Этот вариант соответствует общей установке: в татарской культуре мы часто встречаем выражение *моңлы курай тавышы* (досл.: грустная мелодия курая). *Моң* связан с мелодией, песней, народными напевами, поэтому такой вариант перевода достаточно распространен в литературе.

Перевод на английский язык этой части стихотворения звучит так:

We look for music in words, while our idol,
From the race-course to the Amphitheatre,
Steps over the white snow of wordly souls.
There are hundreds of columns here.
(Перевод Д. Жетеевой) [18. Р. 25].

Как и в русском переводе, *моң* в английской версии становится музыкой слов, точнее, музыкой в словах, то есть фраза *Мы ищем музыку слов* превращается в *We look for music in words*, что буквально означает: «Мы ищем музыку в словах». Данный перевод лишь опосредованно передает смысл стиха Шаеха, не говоря уже о внутренней сущности татарского концепта.

Современные татарские переводчики, к которым относятся В. Думаева-Валиева и Г. Булатова, не выходят за рамки сформировавшихся в XX в. особенностей перевода одного из сложных и неоднозначных концептов. Мы не приводим другие примеры передачи *моң* при переводе на русский язык, потому что варианты подбора лексических элементов на переводящем языке остаются неизменными. Это говорит о диффузности значения лексемы *моң*. Переводчики, сталкиваясь с этим концептом, в равной степени должны учитывать разные значения этого концепта – грусть (тоска, печаль), мелодия (мотив), гармония, песня. *Моң* передает особую экзистенциальную восприимчивость человека к звукам мироздания. Данный концепт дает возможность поэтам раскрыть внутреннее состояние лирического героя, которое соотносится не с мыслительными процессами, а с чувственным миром, с эмоциями, а также отображает широкую гамму душевных

переживаний самих поэтов. В процессе перевода чаще всего происходит нейтрализация культурного контекста лирических произведений, где встречается указанный концепт. Как верно замечает Е.В. Белоглазова, «перевод традиционно легко относится к нейтрализации культурной информации, что оказывается нормой даже для культурно нагруженных текстов» [19. С. 93].

2. Достижение «эквивалентности впечатления» при переводе татарской поэзии на русский и английский языки

По словам исследователей, в художественном переводе особую значимость приобретает стратегия, «направленная на достижение эквивалентности впечатления («импрессивной эквивалентности»)» [20, 21]. В данном случае затрагивается вопрос и о способах передачи национального своеобразия оригинала. «Переводчик делает выбор либо в пользу конвенциональных, узуальных, либо в пользу неконвенциональных, окказиональных языковых средств» [20. С. 444].

Обратимся к стихотворениям татарских поэтов.

В стихотворении Дэрдменда «Ятам кайчаклары моңлап» («В минуту грустную одну») кроме концепта *моң* мы также находим выражения, которые не имеют прямых эквивалентов в русском языке. Обратимся к переводу лексемы *өн* (звон, голос, звук):

Килә өннәр, колак чыңлап.

Диямен:

– Ни бу? Нидәндер бу? [10. С. 12].

Как будто звон, какой-то звук.

Я говорю:

– Что это? Отчего?

(Перевод В. Думасовой-Валиевой) [11. С. 12].

Переводчик, избегая однонаправленности перевода, вводит в общий контекст оба слова: *звон* и *звук*.

В английском переводе *өн* передается словом *voice* (голос), сопровождаемым словом *resounds* (звучит). Английский вариант перевода близок к оригиналу:

A voice resounds in my ears
I say:
– What is it?
– Whence does it come? [12. P. 143].

Переводчик дословно переводит вопросительные конструкции, однако само слово *өн* за счет перевода его лексемой *voice* (голос) теряет внутреннюю глубину и недосказанность, присущую татарскому стиху. Как отмечает А.М. Саяпова, «звуки (“өнләр”), доносящиеся до слуха поэта, не звуки этого мира – в реальном мире “журчит вода, кусты колышутся, шумят!..” (“гөрли су, тирәкле тирбәнә, шаулы!..”); а голос трансцендентного» [22. С. 81].

Перевод на английский язык, с нашей точки зрения, также не выполнен с оригинала, потому что анализ языкового уровня стихотворения позволяет обнаружить явные параллели с переводом С. Липкина.

Чаще всего мы фиксируем случаи обращения к описательному (раскрытие значения слова посредством развернутого сочетания) и приближенному (поиску в переводящем языке слова, близкого по значению к исходному) переводам лексического уровня оригинала. Приведем несколько примеров из лирики рассматриваемых авторов.

Стихотворение М. Джалиля «Поэт» посвящено душевным терзаниям поэта в минуты творчества. В оригинале есть выражение *шомлы тынлык басты карсак өйләрне* (тревожная темнота покрыла низкие дома – дословный перевод). Обычно слово *карсак* (низкорослый, низкого роста, низкий) используется при оценке человека, в оригинале дома низкие. В переводе: *в томительной тиши к селенью подползает холод* [14. С. 108].

Отсутствие эквивалента для передачи слова *карсак* приводит к появлению в русском языке такого варианта перевода, где не отражаются конкретные реалии окружающего мира, но присутствие сочетаний *томительная тишь, подползает холод* передает тягостную атмосферу, которая скрыта в строке оригинала. При переводе на английский язык также передается скорее вялая атмосфера, усталость:

But then the thunder calmed and coldness spread.
The settlement lay weary in the hush [12. P. 165].

Слово *карсак* на английский язык также никак не переводится. Дословный перевод строки такой: «Но затем гром утих и распространился холод. / Поселение устало лежало в тишине».

Мы замечаем и в данном случае ориентацию переводчика на английский язык на русскую версию стихотворения Джалиля.

Переводчики современной татарской поэзии также сталкиваются со многими трудностями при передаче лексического уровня оригинала. К примеру, Ленар Шаех в стихотворениях часто использует сложные слова. В стихотворении «Яз жыры» («Весенняя песня») есть сочетание *гөл-назга күмелә* (погружается в цветок-негу – дословный перевод) [15. Б. 24]. В переводе на русский язык мы встречаем выражение *цветочная нежность*.

Рассмотрим более подробно данное стихотворение.

Приведем в качестве примера перевод первой строфы на русский и английский языки:

Сөюгә сусаган күңелгә
Ташкындай саф хисләр түгелә.
Серле көч бар сыман,
Йөрәк тә ярсыган,
Бар халәт гөл-назга күмелә [15. Б. 24].

(В душу, возжаждавшую любви, / Льются потоком чистые чувства. / Словно под влиянием таинственной силы, / Неистово бьется сердце, / Все <состояние> погружается в цветы и негу) (Подстрочный перевод наш. – Э.Н.).

Душа, что жаждет обожанья и любви,
Мечтою ласковой до края озарится.
Таинственною силою в крови,
Кипеньем в сердце оживет. И все внутри
Цветочной нежности, играя, покорится.
(Перевод А. Каримовой) [16. С. 36].

My soul longs for adoration and affection.
It's beaming with sweet dreams to the brim.
Mysteriously powerful in love,
My heart lives with boiling agitation.
And everything inside will playfully meld into a hymn.
(Перевод Д. Жетеевой) [18. Р. 90].

В английском варианте нет ни слова о цветах или цветочной нежности. Фраза *И все внутри / Цветочной нежности, играя, покорится* на английском языке звучит как *And everything inside will playfully meld into a hymn*, что буквально означает: «И все внутри игриво сольется в гимн». *Цветок-нега* и *цветочная нежность* в английском языке превращаются в *гимн*. Английская версия перевода строки отличается не только от оригинала, но и от русской версии перевода, изменилась общая тональность оригинала. Английский вариант перевода в эмоциональном плане более далек от оригинала, чем русская версия.

В целом в русском переводе много добавлений, что приводит к расширению содержания татарского стиха. При этом происходит усиление эмоционального состояния лирического героя: *душа жаждет обожанья и любви, мечта ласковая, таинственная сила* и пр. Те чувства героя, которые в оригинале лишь намечены, в переводе проявляются более интенсивно. Что же касается выбранного варианта перевода выражения *гөл-назга күмелә*, то прослеживается весьма удачный с точки зрения современной практики перевода вариант замены в стихотворении А. Каримовой. Она прибегает к описательному переводу выделенного выражения.

Для сравнения рассмотрим перевод стихотворения Шаеха «Ярый эле, туган авыллар бар» Г. Булатовой. Название стихотворения «Ярый эле, туган авыллар бар» при дословном переводе на русский язык звучит так: «Хорошо, что есть родные деревни». Переводчица перевела как «Возвращаюсь в родную деревню». Меняется название стихотворения, но общая его тональность сохраняется: тоска по родной деревне, тема детства, желание забыть городскую суету, окунуться в гармонию родной деревни. В английском переводе названия «Returning to my home village» также прослеживается сходство с русским переводом наименования.

В стихотворении встречаются выражения, которые невозможно однозначно перевести на другие языки: к примеру, *ыгы-зыгы шавы* (мы переведем одним словом *сутолока*).

Для понимания всех изменений, которые произошли в переводе, приведем полностью катрен.

Онытылган икэн... оныттырган
Таш шәһәрнең **ыгы-зыгы шавы**.

Эллэ кайда гына китеп барган
Бала чактан калган көндөк бавы [15. Б. 144].

(Оказывается, забыто... / Заставил забыть / Суетный шум каменного города.
/ Куда-то делась пуповина, / Оставшаяся еще с детских времен (подстрочный перевод наш. – Э.Н.))

Иногда лишь вздохнется повинно,
И подумаешь в грохоте дня,
Что невидимая пуповина
Крепко с детством связала меня.
(Перевод Г. Булатовой) [16. С. 24].

Таиш шәһәрнең ыгы-зыгы шавы мы перевели как *городская сутолока*, так как *шавы* (шум) здесь выступает лишь фоновой информацией. Соответственно, мы можем наблюдать, как сужается лексическое наполнение подстрочника за счет не просто отсутствия эквивалентов, а за счет того, что на русском языке происходит дублирование информации при переводе. Удачный вариант лексической замены в переводе Булатовой позволил придать переводному произведению подлинное поэтическое звучание на русском языке.

Таких примеров перевода стихотворений Шаеха множество. Современные переводчики не ищут прямых эквивалентов в русском языке, а создают стихотворения, нацеленные на передачу общего настроения, как пишут многие критики перевода, «духа оригинала».

В английском эквиваленте указанное выражение близко к русскому переводу «городская сутолока», а именно:

In the fuss of town I completely forget,
That these lands are forever young a wise [18. P. 18].

При переводе на английский язык *ыгы-зыгы шавы* превращается в *in the fuss of town* (буквально «в суматохе города»).

В целом можно сказать, что английские переводы несут в себе то же наполнение, что и русские, это позволяет говорить: переводчики работают не с оригинальными произведениями, а с русскоязычными версиями стихотворений татарских поэтов. Во всех переводах заметна тенденция, связанная с тем, что переводы соответствуют ожиданиям носителей принимающей культуры, при этом в них наблюдается нивелирование культурной специфики текста оригинала.

Проведенный анализ позволяет прийти к выводу о том, что ассоциативно-смысловое поле безэквивалентных концептов, как правило, сужается в переводных текстах. Это связано с тем, что лексемы, выражения, использованные переводчиками, лишь приблизительно передают содержание специфических концептов татарского языка. Поэтому без учета контекстного значения невозможно осуществить перевод концептов-уникалий.

Переводчики, работая с поэтическими переводами, должны учитывать разные аспекты, в том числе религиозный аспект, эмоциональную составляющую, этический аспект, категорию «памяти нации». Мы отмечаем такую особенность: переводы эксплицитно представляют те компоненты значения сложных концептов, которые в языке оригинала содержатся имплицитно, они оказываются латентными для носителей языка. И чем сложнее набор «функциональных доминант (исходного. – Э.Н.) текста» (термин А.Д. Швейцера) [23], тем более разнообразны варианты перевода мы наблюдаем.

Что же касается отдельных переводческих стратегий, то, как правило, переводчики с татарского языка на русский находят весьма удачные примеры подбора языковых элементов на переводящем языке, которые приводят к появлению стихов, наполненных такой же глубиной, что и оригиналы, но при этом наблюдается пренебрежение культурной спецификой оригинала. Это новое качество переводов мы фиксируем прежде всего в переводческой практике современных поэтов: Г. Булатовой и А. Каримовой.

Большинство переводов на английский язык стихотворений татарских поэтов, как показывает анализ, было осуществлено через русские версии, поэтому в них сохраняется характерная для русских переводов стратегия перевода. Как правило, переводчики стремятся найти в английском языке эквиваленты к лексемам, подобранным переводчиками на русский язык. Такие варианты перевода объяснимы тем, что язык оригинала для многих переводчиков недоступен, поэтому они вынуждены работать с русскими версиями татарских стихотворений. В данном случае речь идет о вторичности самого текста, который возникает под влиянием переводного произведения.

Список источников

1. Излева А.Ю., Полетаева Е.Д. Выработка стратегии перевода как залог его адекватности // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 12 (90). Ч. 2. С. 302–305.
2. Кафискина О.В. Стратегия перевода как термин переводоведения // Вестник Московского университета. Серия 22: Теория перевода. 2017. № 1. С. 4–19.
3. Krings H.P. Was in den Köpfen von Übersetzern vorgeht. Eine empirische Untersuchung zur Struktur des Übersetzungsprozesses an fortgeschrittenen Franzosischlernern. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1986. 570 p.
4. Lorsch W. Translation performance, translation process and translation strategies. Tübingen : Narr, 1991. 311 p.
5. Казакова Т.А. Художественный перевод. Теория и практика. М. : Инъязиздат, 2002. 554 с.
6. Зейферт Е.И. Интертекстуальная и переводческая вторичная вненаходимость автора // Вестник Московского университета. Серия 22: Теория перевода. 2024. № 1. С. 32–51.
7. Бахтиярова Ч.Н. Обновление национальной традиции // Национальное и интернациональное в литературе и искусстве. М. : Мысль, 1964. С. 224–261.
8. Рәхим Г. Сайланма әсәрләр [төз. М.И. Ибрахимов, А.М. Гайнетдинов]. Казан : Ихлас, 2018. 560 б.
9. Галиева А.М., Нагуманова Э.Ф. Особенности передачи национально-специфических концептов в переводных текстах (на примере концепта Моң) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Т. 155, кн. 2. С. 245–252.
10. Белинский В.Г. Статьи о народной поэзии. URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0420.shtml
11. Дәрәмәнд. Шигырьләр = Стихотворения / авт. предисл. и пер. с татар. В. Думаева-Валиева. Казань : Татар. кн. изд-во, 2009. 160 с.
12. Historical anthology of Kazan Tatar verse: voices of Eternity / ed. and transl. by David J. Matthews and Ravil Bukharaev. [Richmond] : Curzon, [2000]. 209 p.
13. Жәлил Муса. Жырларым. URL: <https://shigriyat.ru/>
14. Джалиль Муса. Избранное: Стихи и поэмы / сост. Р.А. Мустафин. Казань : Татар. кн. изд-во, 2006. 271 с.
15. Шаех Л. Казан – Мәскәү: сайланмалар: шигырьләр, поэмалар, балладалар. Казан : Татар. кит. нәшр., 2021. 415 б.
16. Шаех Ленар. Один из вас: стихотворения / [пер. с татар.: Г. Булатова, А. Каримова]. М. : Российский писатель, 2016. 87 с.
17. Бройтман С.Н. Лирика в историческом освещении // Теория литературы : в 3 т. М. : ИМЛИ РАН, 2003. Т. 3. С. 421–466.
18. Shayeh Lenar. One of you: A Collection of Poems [translated by D. Zheteyeva; edited D. Parry]. Hertfordshire : Hertfordshire Press Ltd., 2017. 126 p.
19. Белоглазова Е.В. Перевод транскультурного текста: двойной перевод культуры // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2023. Т. 22, № 3. С. 86–96.

20. Гришаева Л.И. Результат концептуализации сведений о мире как основа для выбора переводческих стратегий // Социокультурные проблемы перевода. Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2008. Вып. 8. С. 431–446.

21. Фененко Н.А. Язык реалий и реалии языка. Воронеж : ВГУ, 2001. 140 с.

22. Саяпова А.М. Дэрдменд и философия экзистенциализма // TATARICA. 2014. № 2 (3). С. 68–84.

23. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. М. : Наука, 1976. 176 с.

References

1. Ivleva, A.Yu. & Poletaeva, E.D. (2018) Vyrabotka strategii perevoda kak zalog ego adekvatnosti [Developing a Translation Strategy as a Guarantee of Its Adequacy]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. 12 (90). Part 2. pp. 302–305.

2. Kafiskina, O.V. (2017) Strategiya perevoda kak termin perevodovedeniya [Translation Strategy as a Term in Translation Studies]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 22. Teoriya perevoda*. 1. pp. 4–19.

3. Krings, H.P. (1986) *Was in den Kopfen von Übersetzern vorgeht. Eine empirische Untersuchung zur Struktur des Übersetzungsprozesses an fortgeschrittenen Franzosischlernern*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

4. Lorsch, W. (1991) *Translation performance, translation process and translation strategies*. Tübingen: Narr.

5. Kazakova, T.A. (2002) *Khudozhestvennyy perevod. Teoriya i praktika* [Translating Fiction: Theory and Practice]. Moscow: In'yazizdat.

6. Zeyfert, E.I. (2024) Intertekstual'naya i perevodcheskaya vtorichnaya vnenakhodimost' avtora [Intertextuality and the Translator's Secondary Exotopy of the Author]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 22. Teoriya perevoda*. 1. pp. 32–51.

7. Bakhtiyarova, Ch.N. (1964) Obnovlenie natsional'noy traditsii [The Renewal of National Tradition]. In: Parkhomenko, M.N. (ed.) *Natsional'noe i internatsional'noe v literature i iskusstve* [The National and the International in Literature and Art]. Moscow: Mysl'. pp. 224–261.

8. Rəkhim, G. (2018) *Saylanma əsərlər*. Təz. M.I. İbrahimov, A.M. Gaynetdinov]. Kazan: İkhlas.

9. Galieva, A.M. & Nagumanova, E.F. (2013) Osobennosti peredachi natsional'no-spetsificheskikh kontseptov v perevodnykh tekstakh (na primere kontsepta Mon) [Rendering Culture-Specific Concepts in Translated Texts (Using the Concept of Mon as an Example)]. *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki*. 155 (2). pp. 245–252.

10. Belinskiy, V.G. (n.d.) *Stat'i o narodnoy poezii* [Articles on Folk Poetry]. [Online] Available from: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0420.shtml

11. Derdmend. (2009) *Shigyr'lar = Stikhotvoreniya* [Poems]. Translated from Tatar by V. Dumaev-Valiev. Kazan: Tatar. kn. izd-vo.

12. Matthews, D.J. & Bukharaev, R. (eds) (2000) *Historical Anthology of Kazan Tatar Verse: Voices of Eternity*. [Richmond]: Curzon.

13. Jilil Musa. (n.d.) *Жырларым*. [Online] Available from: <https://shigrivat.ru/>
14. Jilil Musa. (2006) *Izbrannoe: Stikhi i poemy* [Selected Works: Poetry]. Kazan: Tatar. kn. izd-vo.
15. Shaekh, L. (2021) *Kazan – Məskəy: saylanmalar: shıgyr'lar, poemalar, balladalar*. Kazan: Tatar. kit. nəshr.
16. Shaekh, L. (2016) *Odin iz vas: stikhotvoreniya* [One of You: Poems]. Translated from Tatar by G. Bulatova, A. Karimova. Moscow: Rossiyskiy pisatel'.
17. Broymann, S.N. (2003) *Teoriya literatury: v 3 t.* [Theory of Literature: in 3 vols.]. Vol. 3. Moscow: IWL RAS. pp. 421–466.
18. Shayeh, L. (2017) *One of you: A Collection of Poems*. Translated by D. Zheteyeva. Hertfordshire: Hertfordshire Press Ltd.
19. Beloglazova, E.V. (2023) *Perevod transkul'turnogo teksta: dvoynoy perevod kul'tury* [Translating a Transcultural Text: The Double Translation of Culture]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazykoznanie*. 22 (3). pp. 86–96.
20. Grishaeva, L.I. (2008) *Rezultat kontseptualizatsii svedeniy o mire kak osnova dlya vybora perevodcheskikh strategiy* [The Result of the Conceptualization of World Knowledge as a Basis for Choosing Translation Strategies]. *Sotsiokul'turnye problemy perevoda*. 8. pp. 431–446.
21. Fenenko, N.A. (2001) *Yazyk realiy i realii yazyka* [The Language of Realia and the Realia of Language]. Voronezh: VSU.
22. Sayapova, A.M. (2014) *Derdmend i filosofiya ekzistentsializma. TATARICA*. 2 (3). pp. 68–84.
23. Shveytser, A.D. (1976) *Sovremennaya sotsiolingvistika: teoriya, problemy, metody* [Contemporary Sociolinguistics: Theory, Problems, Methods]. Moscow: Nauka.

Информация об авторах:

Нагуманова Э.Ф. – канд. филол. наук, доцент кафедры русской литературы и методики ее преподавания Казанского федерального университета (Казань, Россия). E-mail: ehlviran@gmail.com

Шемишуренко О.В. – канд. филол. наук, доцент кафедры теории и практики преподавания иностранных языков Казанского федерального университета (Казань, Россия). E-mail: oxana-shem@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

E.F. Nagumanova, Cand. Sci. (Philology), associate professor, Kazan Federal University (Kazan, Russian Federation). E-mail: ehlviran@gmail.com

O.V. Shemshurenko, Cand. Sci. (Philology), associate professor, Kazan Federal University (Kazan, Russian Federation). E-mail: oxana-shem@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 25.05.2025.

The article was accepted for publication 25.05.2025.

Научная статья
УДК 821.22+82.091
doi: 10.17223/24099554/24/6

Символ «نيلوفر كبود» (нилуфар-э кабуд) в романе «Слепая сова» Садега Хедаята и его перевод на английский язык Ираджа Башири

*Марина Владимировна Цветкова¹
Седигех Гане²*

^{1, 2} Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Нижний Новгород, Россия

¹ mtsvetkova@hse.ru

² sgane@hse.ru

Аннотация. Статья посвящена важнейшему символу романа Хедаята «Слепая сова» – вымышленному цветку «нилуфар-э кабуд», который в переводе Башири заменен на «black lily». Символический потенциал образа лилии в восточной и западной традиции во многом перекликается с замыслом Хедаята. Однако черная лилия существует в природе, что лишает ее мистического ореола. К тому же ассоциации с лилией в сознании западного читателя отличны от тех, что предполагал автор перевода, работающих на стыке западных и восточных культур.

Ключевые слова: «нилуфар-э кабуд», лотос, ипомея, черная лилия, Садег Хедаят, Ирадж Башири, «Слепая сова»

Для цитирования: Цветкова М.В., Гане С. Символ «نيلوفر كبود» (нилуфар-э кабуд) в романе «Слепая сова» Садега Хедаята и его перевод на английский язык Ираджа Башири // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 109–125. doi: 10.17223/24099554/24/6

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/6

The symbol "نیلوفر کبود" (niloufar-e kabud) in Sadegh Hedayat's novel *The Blind Owl* and its translation into English by Iraj Bashiri

Marina V. Tsvetkova¹
Sedigheh Ghane²

^{1, 2} HSE University, Nizhny Novgorod, Russian Federation

¹ mtsvetkova@hse.ru

² sgane@hse.ru

Abstract. Translating symbols is a challenging task for translators, who must capture and convey the essence of the source text through the means of another language and culture. In Sadegh Hedayat's novel *The Blind Owl*, the symbol "niloufar-e kabud" is of paramount importance, as it appears in a key scene and becomes a recurring motif throughout the narrative. This article examines the transformations this symbolic image underwent in Iraj Bashiri's English translation of the novel. In Hedayat's novel, the "niloufar-e kabud" is ambivalent, embodying a fusion of opposites: high and low, beautiful and ugly, innocence and depravity, bliss and pain, vitality and mortal threat, death and immortality, Iran's majestic past and its suffocating present. Its semantic field encompasses the ornamentation of ancient Iranian art, a longing for an unattainable ideal, the charm of antiquity, the pain of losing touch with it, images of grief, bruises, mental wounds, handicapped hands and feet, suffocation, lifelessness, and death. In his translation, Bashiri employs "black lily" as an equivalent for "niloufar-e kabud." He integrates the lily into his interpretive framework of Hedayat's complex, multi-layered novel – an interpretation that many researchers find controversial and one that arguably captures only a single semantic layer of the original. The chosen image does resonate with Hedayat's concept to a significant degree, particularly when considering the symbolic weight of the lily, and specifically the black lily, across both Eastern and Western traditions. Both the lotus and the lily are ambivalent symbols, sharing numerous associations and ritual functions. However, the original "niloufar-e kabud" is a non-existent flower, an integral part of the mystical, unearthly woman's image. In contrast, the black lily is a real flower, and its very tangibility diminishes part of the mystical aura. The image of the lily does not evoke the connection to ancient Iranian art and the glorious history of Persia. Finally, for the Western reader, the lily evokes connotations – such as the Virgin Mary, the

Annunciation, and royal power – that are distinct from the cultural and symbolic framework intended by Hedayat and navigated by a translator working at the intersection of Eastern and Western cultures.

Keywords: "niloufar-e kabud", lotus, morning glory, black lily, Sadeqh Hedayat, Iraj Bashiri, *The Blind Owl*

For citation: Tsvetkova, M.V.& Ghane, S. (2025) The symbol "نیلوفر کبود" (niloufar-e kabud) in Sadeqh Hedayat's novel *The Blind Owl* and its translation into English by Iraj Bashiri. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 109–125. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/6

«Слепая сова» (1936) – выдающийся роман известного иранского писателя Садега Хедаята (1903–1951). Повествование в нем разворачивается от лица человека, который рассказывает о себе собственной тени на стене, напоминающей нахохлившуюся сову. Роман разделен на две части. В первой части повествование ведется от лица художника, расписывающего пеналы. Встреча с загадочной ангелоподобной девушкой глубоко меняет его жизнь, заставляя бросить работу и отправиться на ее поиски, которые оказываются безуспешными. Незнакомка неожиданно приходит к нему сама и так же неожиданно умирает (как становится понятно из дальнейшего повествования потому, что рассказчик напоил ее отравленным вином). Повествователь успевает запечатлеть ее образ на бумаге, и этот образ в точности совпадает с образом, изображенным на кувшине, который могильщик находит на месте погребения неземной девушки. Во второй части изнуренный физически и психологически мужчина пытается наладить отношения с женой, которая ни разу не подпустила его к себе после свадьбы. В результате он по неосторожности убивает ее. Обе части романа связаны между собой, и многие смысловые лакуны одной части повествования получают разъяснение через информацию, данную автором в другой.

Существует четыре английских перевода «Слепой совы»: Десмонда Патрика Костелло, Ираджа Башири, Навида Нури и Сассана Табатабаи [1–4]. В настоящей статье речь пойдет о переводе Башири. Сравнение перевода и оригинала будет сосредоточено на переводе символа نیلوفر کبود (нилуфар-э кабуд) как одного из ключевых для произведения. Символ نیلوفر کبود (нилуфар-э кабуд) в «Слепой сове» мно-

гослоен и сложен для понимания. Разгадка этого значимого и загадочного символа представляет собой трудную задачу для переводчика. Сюрреалистические события романа в сочетании с присущей ему неоднозначностью затрудняют интерпретацию истории, основанной на логике сновидений.

Ученые уже не раз обращались к трудности перевода символа نیلوفر کیود (нилуфар-э кабуд) с его неявными коннотациями. Статья Андриановой [5] углубляется в проблемы, с которыми столкнулись Костелло при переводе романа на английский язык [1] и Лескотт на французский [6]. Бирд затрагивает вопрос значения лексемы نیلوفر (нилуфар) и ее перевода на английский, французский и русский языки [7]. Нури во введении к своему переводу признает сложности, связанные с переводом نیلوفر کیود (нилуфар-э кабуд) [2].

Лексема نیلوفر (нилуфар) этимологически восходит к латинскому слову «nepurphar» (ненуфар) и санскритскому термину «nīlotpala». На санскрите «nīla» означает голубой цвет, а «utpala» – лотос или водяную лилию [8]. В персидском языке слово نیلوفر (нилуфар) состоит из двух частей: نیلو (нилу) – лазурный и فر (фар) – лепесток, т.е. буквально это цветок с голубыми лепестками [9].

Оттенки синего цвета в персидской культуре имеют как положительные, так и отрицательные коннотации. С одной стороны, это символ мудрости, честности, мира, доверия, духовности и богатства. С другой стороны, синий цвет ассоциируется с грустью, разлукой и холодом.

Традиционно в фарси используется словосочетание نیلوفر آبی (нилуфар-э-аби), где прилагательное آبی (аби) означает одновременно и «голубой / синий» и «водный» [10]. При этом словосочетание نیلوفر آبی (нилуфар-э аби) на фарси может обозначать два разных цветка: ипомею, имеющую окраску в диапазоне от голубых до фиолетовых оттенков, и лотос, независимо от его цвета [11, 12].

В некоторых словарях, однако, نیلوفر (нилуфар) в соединении со словом آبی (аби) (водный) трактуется как лотос, в то время как نیلوفر (нилуфар) без прилагательного آبی (аби) – как ипомея [13, 14]. Хедаят, как представляется, намеренно выбрал лексему نیلوفر (нилуфар), указывая, таким образом, на оба цветка одновременно и создавая неоднозначность, неопределенность и размытость, которые в целом отличают образную систему романа.

Наибольшее распространение образ лотоса получил в мифологии Египта, Индии и Китая, где этот цветок выступал в качестве образа мирового яйца, рожающего вселенную. Согласно египетской космогонии, именно из лотоса, распутившегося на возникшем из хаоса холме, родилось солнце. Связанный с культом Нила, по берегам которого он рос, лотос означал плодородие, источник жизни и воскресения, служил символом богини плодородия Изида, был связан с культом умирающего и возрождающегося бога Осириса; служил эмблемой царской власти, красуясь на скипетре фараона, изображался на монетах, использовался в праздничном убранстве.

Особенно почитался в Египте голубой лотос, считавшийся символом жизни и бессмертия. Этот цветок с опьяняющим ароматом, является мощнейшим галлюциногеном и обладает способностью изменять сознание, расширяя рамки восприятия, потому у древних египтян он считался проводником в загробный мир.

Лотос почитается как священный цветок и в Индии, где он ассоциируется с творением и играет важнейшую роль в космогонических мифах: из тела Вишну рождается гигантский лотос, на котором восседает Брахма: по мере того, как распускаются лепестки цветка, разрастается и вселенная.

В буддизме цветок лотоса является символом благовещения о рождении Будды: «в день его появления на свет красные, синие и белые лотосы царского сада раскрылись и замерли в ожидании, <...> в момент рождения Будды земля содрогнулась и начался дождь из лотосов, <...> когда маленький Будда сделал свои первые шаги по саду, все увидели, как на месте его следов стали тут же вырастать огромные лотосы. Эти цветы сопутствуют Будде на всех этапах его жизненного пути вплоть до самого последнего часа, и когда на седьмой день после смерти его тело должно быть предано огню, с неба сыплются лотосы всевозможных расцветок» [15].

Возможность перечисленных выше трактовок вполне могла входить в планы Хедаята, хорошо знакомого с символическим наполнением образа лотоса в индийской, буддистской и египетской мифологии.

В Иране лотос является одним из национальных символов. Он часто встречается в орнаментах древнего искусства и архитектуры. Лотос тесно связан с древней иранской религией митраизмом, основанной на поклонении божеству справедливости, согласия и солнечного

света Митре, известному с индоиранских времен. На древних изображениях рождения Митры это божество появляется из бутона лотоса [16. С. 42].

С приходом зороастризма лотос становится символом создателя всех вещей Ахура Мазды, которого изображали держащим в руках цветок лотоса. Потому для зороастрийцев лотос стал знаком божественного дара, который человек получает, достигнув совершенства. Во время археологических раскопок в головах гробницы Кира Великого были найдены фрагменты резьбы с изображением цветка лотоса – таким образом, лотос использовался и как царственный символ [17]. Он часто встречается в руках скульптур царей и старейшин в Персеполе. Поскольку этот цветок растет из воды, источника жизни, он символизирует также возрождение и бессмертие, поэтому древние персы во время скорби украшали свои головы цветами лотоса.

Кроме того, белый лотос был символом Ахеменидской Персии (первой Персидской империи в Западной Азии, основанной Киром Великим в 550 г. до н.э.), как явствует из барельефов в одной из столиц империи Ахеменидов Персеполе, возникшем в VI–V вв. до н.э. на юго-западе Ирана.

Любопытно, что Хедаят превратил белый цвет, несущий позитивное значение, в близкий к фиолетовому темно-синий, имеющий мрачные траурные коннотации. Эта замена, с учетом символической связи лотоса с древним Ираном, важна для понимания значимого для романа образа синяка, с входящими в его семантическое поле образами ранения и боли, отражая те чувства, которые автор испытывал в связи с утратой Ираном его былого величия [2. Р. 19].

Хедаят вместо традиционно используемого в языке в сочетании с نیلوفر (нилуфар) прилагательного آبی (аби) вводит прилагательное کیود (кабуд) (голубой / сине-фиолетовый). На фарси کیود (кабуд) используется не только для описания оттенков голубого и фиолетового, но и синяков на коже. Этот образ коррелирует с образом раны, которым открывается роман: «В жизни есть раны, которые, как проказа, медленно гложут и разъедают душу изнутри» [18. С. 3]. Синяк представляет собой следствие подкожного кровоизлияния. В романе этот видимый знак скрытой травмы приобретает символическое значение, отражая душевные страдания персонажа, причиняющие, по выраже-

нию повествователя «боль, которая не может быть выражена никому», от которой «люди еще не нашли лекарства» [18. Р. 3]. Кроме того, цвет, обозначаемый лексемой كبود (кабуд), ассоциируется в персидской культуре с трауром из-за его близости к черному.

Хедаят не случайно придумывает несуществующее в языке наименование для цветка. Его задача – подчеркнуть, что у него мистическая природа, как и у ангелоподобной девушки, у которой, как отмечает повествователь, «не могло быть никакой связи с реальностью. Например, вода, которой она мыла свои волосы, могла быть только из неведомого диковинного источника или из какой-нибудь волшебной пещеры; ее одежды не были сотканы из обычного хлопка или шерсти, не были сшиты руками из плоти и крови, обыкновенными человеческими руками. Я был уверен, что и тот цветок нилуфар-э кабуд не был простым цветком» [18. С. 18].

Образ диковинного цветка впервые возникает на самых первых страницах романа: «Я рисовал на пеналах в своей комнате... не знаю почему, но тема всех моих картин с самого начала была одной и той же. Я всегда рисовал кипарис, под которым сгорбленный старик с тюрбаном на голове, закутавшись в халат, подобно индийским йогам, сидел на корточках, прикладывая указательный палец левой руки к губам в знак удивления. Перед ним стояла девушка в длинном черном платье и, наклоняясь, протянула ему цветок нилуфар-э кабуд»¹ [18. С. 10]. Почти сразу эта картина с некоторыми вариациями повторяется вновь: «Я увидел в пустыне позади моей комнаты сгорбленного старика, сидящего под кипарисом, и молодая девушка, нет, небесный ангел, стояла перед ним, кланяясь и предлагая цветок нилуфар-э кабуд правой рукой, в то время как старик жевал ноготь указательного пальца левой руки» [18. С. 13]. Далее в романе автор возвращает нас к этой картине еще четыре раза, и почти везде прекрасная девушка держит в руках цветок.

Орнаментами из плюща и схематично представленного цветка лотоса / ипомеи украшались древнеиранские храмы, посвященные Митре, а позднее – мечети. Эти узоры, символизирующие духовное восхождение, упоминаются и в «Слепой сове» Хедаята: «Мои глаза

¹ Здесь и далее перевод авторов статьи.

смотрели на глазурованные изразцы и резьбу на стене мечети, которые навевали на меня приятные сны» [18. С. 100–101]. Подобные орнаменты из декоративных изображений выющихся стеблей, ветвей, деревьев, растений, цветов, бутонов и листьев носят название ختایی (хатаи) и широко распространены в иранском искусстве в целом и для украшения пеналов в частности. Потому не случайно именно на пеналах рассказчик «Слепой совы» рисует картину, элементом которой является «нилуфар-э кабуд».

Сходство с узорами хатаи достигается в романе и за счет повторяемости образа «нилуфар-э кабуд», который изображается то как заполнивший ложину между горами, то как ползучее выющееся растение: «Позади них были дома <...> с узкими и кривыми окнами, из которых росли цветы “нилуфар-э кабуд”, которые вились по дверям и стенам» [18. С. 24]. Земля описывается как покрытая зарослями «нилуфар-э кабуд», лишённого аромата. Когда рассказчик представляет себе, как идет по незнакомым переулкам, его окружают дома необычных геометрических форм, с маленькими темными окнами, стены и двери которых густо увиты «нилуфар-э кабуд» [18. С. 24]. Стебли этих цветов обвивают подножья деревьев, буквально «душат» их и заставляют падать на землю [18. С. 24].

Ученые, занимающиеся творчеством Хедаята, отмечают еще и такие возможные ассоциативные ряды с цветками лотоса / ипомеи, заложённые Хедаятом, как чистота и непорочность ангелоподобной девушки. В связи с этим фрейдистская интерпретация ситуации, в которой девушка передает цветок старику, может предполагать, что девушка (мать) дарит свою девственность недостойному старику (отцу) [19. Р. 148–149]. Подобная интерпретация подтверждается в тексте тем, что дважды повествователь сравнивает девушку на картине с индийской танцовщицей, которой была его мать. А отвратительного старика – с дядей, который был близнецом его отца, но возможно, и самим отцом (так как один из братьев погиб, а кто именно остается неизвестным).

Бирд предлагает трактовать цветок как фаллический символ, упоминая о том, что в древнем Египте женские трупы ритуально «очищались» при помощи цветка лотоса [7]. Шамиса видит в цветке символ единения и счастья, который ангелоподобная девушка не в силах передать старику, которым в итоге оказывается сам повествователь. Девушка в одном из эпизодов символически пытается перепрыгнуть

через ручей, разделяющий ее и старика, однако это ей не удается [20. С. 87]. Эсхакпур видит в сцене, описывающей старика и юную девушку смысл, связанный с представлениями, принятыми в иранском мистицизме. Влюбленный поражен божественным видом ангелоподобной девушки, держащей неземной цветок, и, глядясь в нее как в зеркало, начинает прозревать свое истинное божественное лицо [21].

Таким образом, символический образ цветка, изображаемого Хедаятом, носит амбивалентный характер: он сочетает в себе высокое и низкое, прекрасное и безобразное, невинность и порочность, блаженство и боль, жизнеспособность и смертельную угрозу, смерть и бессмертие, величественное прошлое Ирана и удушливое настоящее. Хедаят, как и многие иранские интеллектуалы первой половины XX в., с презрением относился к исламской религии, связывал отсталость современного им Ирана с господством арабов и сожалел об утрате былой славы персов. В семантическое поле «нилуфар-э кабуд» входят восхитительные орнаменты древнеиранского искусства, стремление к недостижимому идеалу, очарование старины, боль от утраты связи с нею, образы скорби, синяка, душевной раны, скованности по рукам и ногам, удушья, безжизненности и смерти.

Повторяющийся образ цветка вырастает в романе в один из центральных лейтмотивов, расшифровка которого имеет решающее значение для всестороннего понимания общего замысла автора.

Ирадж Башири – известный исследователь, специализирующийся на истории Центральной Азии и Ирана, которому принадлежат переводы на английский, персидский, таджикский и турецкий языки. Его английский перевод «Слепой совы» впервые был опубликован в 1974 г. с тех пор выдержал еще 3 исправленных и дополненных издания (1984, 2013¹; а в 2020 г. вариант 2013 г. был опубликован с анализом романа и предисловием переводчика) и является вторым переводом этого романа на английский язык после перевода Костелло в 1957 г. Это был первый англоязычный перевод «Слепой совы», выполненный носителем языка.

¹ В статье использовался текст третьего издания романа.

Башири, как явствует из предпосланного изданию 2020 г. предисловия, очень серьезно относился к тому, чтобы проникнуть «в структуру» романа Хедаята, «чтобы раскрыть его скрытый подтекст <...>, что помогает переводчику выбрать подходящие эквиваленты <...> из обширного семантического спектра коннотаций одного и того же слова» [22. Р. 4]. Башири отмечает сложность организации романа и подчеркивает, что переводчик, который решает проникнуть в суть этого произведения, должен взять на себя труд ознакомиться с тем, как повлияли на его замысел образование, круг знаний и мировидение автора [22. Р. 5]. В результате анализа текстов, на которые, по его мнению, опирался Хедаят, создавая свой роман, Башири предлагает собственную версию видения замысла писателя. По его мнению, в первой части главный герой находится в Индии, а затем в иранском городе Рее в домонгольские времена. В то время он был художником. Когда он умирает, то проходит через ритуал, описанный в Тибетской книге мертвых. Остальная часть романа происходит в чистилище, представленном при помощи смешения буддийских и иранских образов, трансформированных в духе Тибетской книги мертвых [22. Р. 9]. Среди источников образности романа переводчик особо выделяет буддийские тексты (особенно эпическую поэму «Будда Чарита» о жизни Гаутамы Будды начала II в. н.э. и Тибетскую книгу мертвых); индийские, иранские и кафкианские.

Башири не является профессиональным переводчиком – он университетский профессор, который заинтересовался романом Хедаята, преподавая его в курсе иранской литературы в университете Миннесоты. Потому перевод, который он предлагает, он сам характеризует как буквальный, сделанный им исключительно для анализа («Literal Translation for analytical purposes only»).

В предисловии Башири много внимания уделяет образу нага (от санскр. «нага» – змей), который в переводе Костелло превратился в кобру («cobra»), утратив, таким образом, глубокий мистический смысл, связанный с этим существом в индуизме, буддизме и джайнизме. Однако он ни слова не говорит о сложности для перевода «нилуфар-э кабуд».

«Нилуфар-э кабуд» Башири перевел как «black lily» (черная лилия). Этот перевод значительно отличается от эквивалентов, используемых другими английскими переводчиками: «blue morning glory» –

синяя ипомея (Костелло); «bruised morning glory» – буквально: ушибленная ипомея / ипомея, покрытая кровоподтеками (Нури); как «purple water lily» – фиолетовая водяная лилия (Табатабаи).

«Черная лилия» является функциональным эквивалентом «нилу-фар-э кабуд», имеющим, как и в оригинале, яркий визуальный образ, отличающий его от лотоса и ипомеи. Однако ассоциативный ряд, который влечет за собой образ черной лилии, предназначенный для восприятия европейским читателем, существенно отличается от ассоциативного ряда, сопровождающего лотос / ипомею фиолетового цвета, в оригинале «работающего» преимущественно с традицией восточных культур.

Лилия, как и лотос, символизирует плодородие и процветание, первоисточник жизни. У персов цветок лилии почитался как символ непорочной красоты (название столицы Суза означает город лилий; его герб украшало изображение белых цветов). В Египте изображение лилии в иероглифическом письме обозначает кратковременность жизни, а также надежду на возрождение. Белыми лилиями (как и лотосами) украшали тела умерших молодыми египтянок. Иудеи считали, что лилия возникла из слез Евы, изгнанной из рая, и почитали ее единственным цветком, оставшимся неоскверненным в райском саду. Согласно греко-римской мифологии, лилия произошла из капель молока Геры / Юноны, пролитого на землю. У римлян лилия считалась символом достатка [15].

В германо-скандинавской мифологии скипетр бога грома и молнии Тора венчался лилией, как и волшебный жезл Оберона в германском фольклоре. Согласно германским поверьям, лилии служили обиталищем эльфов. Не случайно со временем лилия прочно вошла в европейскую культуру как символ царской власти – стилизованное изображение цветка (три золотые геральдические лилии – «Fleur-des-Lis») с 1147 г. является эмблемой французских королей.

В христианстве лилия становится символом божественной непорочности и атрибутом святости: с лилией в руке явился к Марии в день Благовещения архангел Гавриил, колыбель Моисея, согласно преданию, остановилась под лилией и т.п.

Связан в мифологии образ лилии и с загробным царством: душа мертвого возвращается на землю в виде белоснежного цветка; лилия вырастает на могиле невинно осужденного или людей, погибших

насильственной смертью. В народных легендах стран Западной и Восточной Европы, где распространен сюжет о любви юноши к прекрасной незнакомке, ускользающей от него в образе белой лилии, этот цветок связан со смертью, разлукой и печалью.

Таким образом, в круг ассоциаций с лилией входят: плодородие, процветание, чистота, первоисточник жизни, кратковременность существования, надежда на возрождение, божественное неземное начало, царская власть, но также и смерть, разлука и печаль. Что свидетельствует об амбивалентности этого образа и близости связанных с ним ассоциаций с образом лотоса.

Использование образа черной лилии в переводе во многих аспектах достигает нужной цели. Как было показано выше, лотос и лилия оба амбивалентны, имеют много общих ассоциаций и функций в ритуалах. В английском языке слово «lily» вызывает ассоциации с «water lily» (кувшинка), образ которой связан с водной стихией, как и у лотоса. Само слово «lily» связано в сознании англоговорящих с белизной, чистотой и хрупкостью (см. прилагательное «lily» – «resembling a lily in fairness, purity, or fragrancу» [23]).

Хедаят использовал прилагательное كيود (кабуд – голубой, сине-фиолетовый), вступающий за счет сходства с кровоподтеком в ассоциативный ряд с душевными ранами рассказчика и цветом траура. Башири за счет прилагательного «black» («черный») передает обе эти ассоциации. В природе черной лилии не существует – так называют лилии темно-бордовых тонов.

Образ цветка в «Слепой сове» замыслен автором как расплывчатый, неконкретный, трудно представимый. «Черная лилия» Башири представляет собой вполне конкретный цветок. Американский Merriam-Webster Dictionary поясняет, что это один из двух видов луковичных растений (*Fritillaria biflora* и *F. camschatcensis*), растущих на Тихоокеанском побережье Северной Америки, которые имеют темно-лиловые лепестки [23].

Ипомея и лотос символизируют девственность, чистоту и невинность. Изображая свой цветок покрытым кровоподтеками, Хедаят переворачивает смысл решающей для интерпретации романа ключевой сцены, где девушка преподносит свою девственность старику. Измененная окраска цветка указывает на то, что девственность эта поругана. Темно-лиловый цвет черной лилии выполняет похожую роль.

«Нилуфар» тесно связан с дорогой сердцу Хедаята Персией домусульманского периода, которая видится ему поруганной арабским завоеванием. Лилия (изображение которой красовалось на гербе Суз) в известной степени передает эту связь.

Однако «нилуфар-э кабуд», придуманный Хедаятом в романе, — часть мистического образа неземной женщины; черная лилия из-за своей конкретики утрачивает существенную часть мистического ореола. Не передает образ лилии и связь с узорами хатаи, тоже отсылающими к славным для Персии временам.

Главное же различие, как представляется, рождается в головах читателей, принадлежащих к европейской культурной традиции, для которых непосредственными естественными ассоциациями с лилией будут ассоциации с Девой Марией, Благовещением и символом королевской власти (благодаря французской геральдической лилии).

В первой сцене — изображающей картину на пенале, цветок в переводе назван просто «лилия» без упоминания цвета («I used to paint a cypress tree under which a stooped old man squatted on the ground shrouding himself in a cloak in the manner of Indian yogis. ...Opposite him a girl in a long, black dress was bending to offer him a lily — because between them a brook intervened» [22. P. 4]). Черный цвет появляется только во второй сцене («...a heavenly angel was standing in front of him, bending to give him a black lily with her right hand» [22. P. 5]). В третьем эпизоде цветок именуется «lily plant» («I don't know why I insisted on finding a stream of water, a cypress tree and a lily plant» [22. P. 7]). В четвертом эпизоде речь снова идет о лилии без указания цвета.

В эпизодах, связанных с образом ангелоподобной девушки, лилия в основном упоминается без обозначения цвета, а потому «работает» на ассоциации с чистотой и невинностью. В пейзажных зарисовках, в создании пугающей атмосферы которых в оригинале важную роль играет образ «нилуфар-э кабуд», в переводе в основном возникает черная лилия: «In some places there were only hacked tree trunks and crooked trees all around the road; behind these there were high and low geometrical houses: conic for some, truncated cones for the others, all having crooked windows through which black lilies had protruded, climbing their doors and walls» [22. P. 13]. «The ground was covered with scentless, black lilies» [22. P. 14]. «It seemed that lily stalks were entangling their feet and causing them to fall down» [22. P. 16] и т.п. В результате в переводе

возникает отсутствующее в оригинале противопоставление девушки с ее небесной чистотой прогнившему миру, полному грязи и боли.

Таким образом, несмотря на выбор относительно удачного эквивалента для «нилуфар-э кабуд», Башири вписывает образ лилии в свою собственную трактовку сложного и многослойного романа Хедаята, которая снимает лишь один смысловой пласт «Слепой совы», причем трактовка Башири представляется исследователям довольно спорной [19]. Кроме того, сам образ лилии в сознании западного читателя задает коннотации, отличные от тех, что предполагал автор перевода, работающий на стыке западных и восточных культур.

Возможно, более подходящим решением было бы использовать само слово «нилуфар-э кабуд» в транслитерации на английский язык [24] или назвать цветок «лиловый нилуфар», что, с одной стороны, отразило бы мысль о мистическом характере цветка, а с другой – сохранило бы отсылку к цветку кровоизлияния и синяка.

Список источников

1. *Hedayat S. The Blind Owl* / trans. D.P. Costello. London : John Calder, 1957. 134 p.
2. *Hedayat S. The Blind Owl* / trans. N. Noori. Geneva : Editorial l'Aleph – Iran Open Publishing Group, 2011. 81 p.
3. *Hedayat S. The Blind Owl* / trans. I. Bashiri. Cairo : Sorayya Publishers, 2013. 95 p.
4. *Hedayat S. The Blind Owl* / trans. S. Tabatabai. London : Penguin Books, 2022. 85 p.
5. *Andrianova A. A Nilufar by Any Other Name: The Implications of Reading Sadegh Hedayat in Translation* // Translation and Literature. 2013. № 22. P. 215–239.
6. *Hedayat S. La Chouette Aveugle* / Trans. R. Lescot. Paris : Jose Corti, 1952. 200 p.
7. *Beard M. Hedayat's Blind Owl as a Western Novel*. Princeton : Princeton University Press, 1990. 270 p.
8. *Nenuphar* // Merriam-Webster dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/nenuphar>
9. «Нилуфар» // فرهنگ فارسی به پهلوی [Персидско-пехлеви словарь] / Б. Фарахваши. Тегеран : Данешга-э Тегеран, 2002. С. 340.
10. «Аби» // ختنامه دهخدا [Аби] [Деххода словарь] / А.А. Деххода. Тегеран : Данешга-э Тегеран, 2006. С. 147.
11. «Нилуфар» // فرهنگ معاصر فارسی [Современный персидский словарь] / Г. Садри Афшар. Тегеран : Фарханг-э моасер, 2002. С. 1248.
12. «Нилуфар» // ختنامه دهخدا [Нилуфар] [Деххода словарь] / А.А. Деххода. Тегеран : Данешга-э Тегеран, 2006. С. 236.

13. «Нилуфар» فرهنگ عميد [نيلوفر] [Амид словарь] / Х. Амид. Тегеран : Амид кабир, 1996. С. 1149.
14. «Нилуфар» فرهنگ معين [نيلوفر] [Моин словарь] / М. Моин. Тегеран : Заррин, 2007. С. 1602.
15. Макарова И.С. Образы лотоса и лилии в мифологических системах Востока и Запада // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2013. № 4. С. 99–106.
16. Яхаги М.Дж. فرهنگ اساطير و داستان‌واره‌ها در ادبيات فارسي [Мифы и рассказы в персидской литературе]. Тегеран : Фарханг-э моасер, 2007. 966 с.
17. Стронах Д. پاسارگاد [Пасаргад] / Дэйвид Стронах [пер. с англ. Х. Хатиб Шахиди]. Тегеран : Сазман-э Мирас-э Фарханги-йе Кешвар, 2000. 616 с.
18. Хедаят С. بوف کور [Слепая сова]. Мумбаи : Рукописная версия, 1936. 144 с.
19. Hedayat's *The Blind Owl* Forty Years After / ed. by M.C. Hillmann. Austin : University of Texas, 1978. 215 p.
20. Шамиса С. داستان یک روح [История одной души]. Тегеран : Фэрдоуси, 1997. 341 с.
21. Эсхакнур Ю. بر مزار صادق هدایت [На могиле Садега Хедаята] // Иран Намех. 1992. № 39. С. 419–472.
22. Bashiri I. Analyzing and Translating *The Blind Owl* 1964–2020. Minnesota : The University of Minnesota, 2020. 53 p.
23. Lily // Merriam-Webster dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lily>
24. Vinay J.P., Darbelnet J. Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation / ed. trans. J.C. Catford, M.J. Hamel-Sager. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1995. 358 p.

References

1. Hedayat, S. (1957) *The Blind Owl*. Translated by D.P. Costello. London: John Calder.
2. Hedayat, S. (2011) *The Blind Owl*. Translated by N. Noori. Geneva: Editorial l'Aleph – Iran Open Publishing Group.
3. Hedayat, S. (2013) *The Blind Owl*. Translated by I. Bashiri. Cairo: Sorayya Publishers.
4. Hedayat, S. (2022) *The Blind Owl*. Translated by S. Tabatabai. London: Penguin Books.
5. Andrianova, A. (2013) A Nilufar by Any Other Name: The Implications of Reading Sadegh Hedayat in Translation. *Translation and Literature*. 22. pp. 215–39.
6. Hedayat, S. (1952) *La Chouette Aveugle*. Translated by R. Lescot. Paris: Jose Corti.
7. Beard, M. (1990) *Hedayat's Blind Owl as a Western Novel*. Princeton: Princeton University Press.
8. *Nenuphar*. Merriam-Webster Dictionary. [Online] Available from: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/nenuphar>

9. Farakhvashi, B. (ed.) (2002) [نیلوفر // به پهلوی [Persian-to-Pahlavi Dictionary]. Tehran: Tehran University Press. p. 340.
10. Dehkhoda, A.A. (ed.) (2006) "Ābī." In: *Dehkhoda Dictionary*. Tehran: Tehran University Press. p. 147.
11. Sadri Afshar, G. (ed.) (2002) "Nilufar" [نیلوفر] In: *Contemporary Persian Dictionary*. Tehran: Farhang-e Moaser. p. 1248.
12. Dehkhoda, A.A. (ed.) (2006) Nilufar. In: *Dehkhoda Dictionary*. Tehran University Press. p. 236.
13. Amid, H. (ed.). (1996) Nilufar. In: *Amid Dictionary*. Tehran: Amir Kabir. p. 1149.
14. Moin, M. (ed.). (2007) Nilufar. In: *Moin Dictionary*. Tehran: Zarrin. p. 1602.
15. Makarova, I.S. (2013) Obrazy lotosa i lilii v mifologicheskikh sistemakh vostoka i zapada [Images of the Lotus and Lily in the Mythological Systems of the East and West]. *Vestnik LGU im. A.S. Pushkina*. 4. pp. 99–106.
16. Yahaghi M.J. (2007) فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی [Myths and Narratives in Persian Literature]. Tehran: Farhang-e Moaser.
17. Stronach, D. (2000) پاسارگاد [Pasargadae]. Translated from English by H. Khatib Shahidi. Tehran: Cultural Heritage Organization of the Country.
18. Hedayat, S. (1936) بوف کور [The Blind Owl]. Mumbai: Manuscript version.
19. Hillmann, M.C. (ed.) (1978) *Hedayat's The Blind Owl Forty Years After*. Austin: University of Texas.
20. Shamisa, S. (1997) داستان یک روح [The Story of a Soul]. Tehran: Ferdowsi.
21. Eshaghpour, Y. (1992) بر مزار صادق هدایت [At the Grave of Sadegh Hedayat]. *Iran Nameh*. 39. pp. 419–472.
22. Bashiri, I. (2020) *Analyzing and Translating The Blind Owl 1964–2020*. Minnesota: The University of Minnesota.
23. Merriam-Webster Dictionary. (n.d.) *Lily*. [Online] Available from: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lily>
24. Vinay, J.P. & Darbelnet, J. (1995) *Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Информация об авторах:

Цветкова М.В. – д-р филол. наук, профессор департамента литературы и межкультурной коммуникации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Нижний Новгород, Россия). E-mail: mtsvetkova@hse.ru

Гане С. – аспирант департамента литературы и межкультурной коммуникации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Нижний Новгород, Россия). E-mail: sgane@hse.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

M.V. Tsvetkova, Dr. Sci. (Philology), professor, HSE University (Nizhny Novgorod, Russian Federation). E-mail: mtsvetkova@hse.ru

S. Ghane, postgraduate student, HSE University (Nizhny Novgorod, Russian Federation). E-mail: sgane@hse.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 27.08.2025.

The article was accepted for publication 27.08.2025.

ИМАГОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 821.161.1

doi: 10.17223/24099554/24/7

В.А. Жуковский в литературной критике 1803–1819 гг.

Виталий Сергеевич Киселев

Томский государственный университет, Томск, Россия, kv-uliss@mail.ru

Аннотация. В статье обозреваются критические и информационные материалы российской периодики 1803–1819 гг., посвященные личности и творчеству Жуковского. Определяется их роль в утверждении литературной репутации поэта и представления о ключевых особенностях его творческого метода. Реконструируется логика критической рефлексии над ведущими художественными формами Жуковского, новыми для словесности, – «визионерской» лирикой, балладами, гекзаметром.

Ключевые слова: литературная репутация, русская литература, В.А. Жуковский, литературная критика, журналистика

Источник финансирования: исследование проведено в Томском государственном университете в рамках проекта Российского научного фонда № 24-18-00386 «История русской литературной критики первой половины XIX века: В.А. Жуковский в прижизненной критической рецепции».

Для цитирования: Киселев В.С. В.А. Жуковский в литературной критике 1803–1819 гг. // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 126–163. doi: 10.17223/24099554/24/7

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/7

Vasily Zhukovsky in the literary criticism of 1803–1819

Vitaly S. Kiselev

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, kv-uliss@mail.ru

Abstract. This article surveys critical and informational materials in the Russian periodical press from 1803 to 1819, dedicated to the persona and work of Vasily Zhukovsky. In the early stage (1803–1812), critical reviews were sporadic and reflected isolated facets of the writer's reputation: the notability of his first attempts (Pyotr I. Makarov), the merit of his translations (Mikhail T. Kachenovsky), the success of *Vestnik Evropy* and its individual publications (Pyotr I. Shalikov, reviewers for *Ulei* [The Beehive] and *Tsvetnik* [The Flower Garden], Sergey N. Glinka), and the reception of the anthology *A Collection of Russian Verses* (Pyotr A. Vyazemsky). Between 1813 and 1819, critical attention to Zhukovsky became far more consistent. During the period, the poet gained recognition both with the public and at the imperial court. In an artistic sense, the union of poetry and power gave rise to the phenomenon of "visionary lyricism," the specifics of which critics – such as the anonymous reviewers of *Syn otechestva* [Son of the Fatherland] and *Russkii invalid* [Russian Invalid], as well as Pavel M. Stroev and Vladimir V. Izmailov – sought to comprehend. The persistent critical framing of Zhukovsky's most ideologically charged and court-sanctioned poems helped sustain a broader interpretive context, which allowed the public to interpret even the most official brief notices about the poet's new works on events of court life or about new marks of the Tsar's favor toward him as acts of a special nature – as fragments of a discourse linking the poet, the state, and Providence. A second important vector of criticism was the definition of the distinctive features of Zhukovsky's artistic manner. Critics identified, firstly, a transcendental aspiration, ideality, and dreaminess, embodied in heightened symbolism, and secondly, pictorial quality and a "painterly" character. Reviewers found these traits in various combinations across all genres, but especially in his idylls and ballads. The reception of the latter marked a profound receptive shift in criticism – away from the aesthetics of late Classicism and the tenets of Karamzinian Sentimentalism, and toward the Romantic illusionism of the younger Karamzinists. Articles by Nikolay I. Gnedich, Aleksandr S. Griboedov, and Aleksey F. Merzlyakov on the ballad reveal new trends associated with this change in orientation: the assessment of French and German influence, and the logic of the national adaptation of genres. Further-

more, the controversy over the hexameter drew Zhukovsky's work into the conceptual sphere of Neoclassical artistic movements in the spirit of Johann J. Winckelmann.

Keywords: literary reputation, Russian literature, Vasily Zhukovsky, literary criticism, journalism

Financial support: The research was conducted at Tomsk State University and supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-18-00386: "History of Russian literary criticism of the first half of the 19th century: Vasily Zhukovsky in lifetime critical reception".

For citation: Kiselev, V.S. (2025) Vasily Zhukovsky in the literary criticism of 1803–1819. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 126–163. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/7

Перспективным направлением современного литературоведения является изучение рецепции личности и творчества Жуковского в критике [1]. При этом следует помнить, что русская литературная критика оформилась как влиятельный институт лишь в 1830–1840-е гг., а репутация поэта сложилась гораздо ранее – еще в 1810-е гг., а уже в 1820-х гг. подверглась канонизации. Таким образом, ранние разрозненные журнальные отзывы о произведениях Жуковского и событиях его профессиональной карьеры нужно оценивать на фоне более широких процессов, в которых пересекались интенции художественного и институционального плана.

Перипетии утверждения литературной репутации Жуковского мы осветили в двух особых статьях [2, 3], наблюдения которых сводятся к следующему. Первый этап утверждения писателя в литературном поле (1797–1807 гг.) представлял собой попытку опереться на ресурсы двух систем литературной коммуникации – дружеских сообществ и профессиональных отношений. С одной стороны, уже в Московском благородном пансионе и смежном с ним Дружеском литературном обществе Жуковский оказался в насыщенной кружковой среде, пределы которой расширились в начале 1800-х гг. благодаря вхождению в орбиту контактов Н.М. Карамзина и И.И. Дмитриева, а с ними и большинства московских литераторов; с другой стороны, необходимость заработка подвигала к профессиональной литературной деятельности – переводческой. Тем самым первоначальная лите-

ратурная репутация Жуковского складывалась прежде всего в непубличной кружковой среде, родственно-дружеской, а прагматическим проявлением ее служила востребованность переводов у издателей (И.Е. Зеленикова, П.П. Бекетова, И.Ф. Керцелли).

В художественном плане быстрое признание было обусловлено ориентацией юного поэта на авторитетный карамзинский канон как в прозаических миниатюрах, так и в стихотворных опытах. Важным эпизодом, подчеркнувшим символическое признание, стала публикация «Сельского кладбища» в декабрьском номере «Вестника Европы» за 1802 г. Надежды друзей и литературных покровителей не пропали втуне – период «молчаливого» «белевского уединения» закончился в 1806 г. художественным прорывом, когда из-под пера Жуковского вышло несколько десятков новых лирических произведений разных жанров. В художественном плане они продемонстрировали полноту овладения автором жанровой палитрой карамзинизма и превращение его в регулярного участника литературной жизни. Особое читательское внимание привлекла публикация «Песни барда над гробом славян-победителей».

«Цеховой» характер признания молодого Жуковского (круг издателей и литераторов, в основном, московских) обусловил крайнюю немногочисленность публичных отзывов о его творениях. До 1808 г. их только два. Первый появился на волне интереса к автору недавно опубликованного «Сельского кладбища». П.И. Макаров, воспользовавшись выходом второй книжки альманаха «Утренняя заря», где в том числе были помещены поэтические и прозаические опыты Жуковского, не преминул в своей рецензии заметить и ободрить начинающих литераторов (вкуче с И.А. Петиным): «Друзья отечественной литературы порадуются таланту молодых наших писателей – таланту, ожидающему единственно зрелости и тех идей, которые приобретаются не иначе, как долговременным наблюдением света» [4. С. 180–181]. И далее критик привел текст прозаической миниатюры Жуковского «Мысли на кладбище» [4. С. 181–183].

Вторая из ныне известных рецензий на произведения молодого автора была написана М.Т. Каченовским и касалась изданного в конце 1806 г. перевода романа «Дон Кишот» [5]. Пользуясь репутационным успехом героя после серии поэтических публикаций и особенно после

выхода в свет «Песни барда над гробом славян-победителей», критик убеждал читателей в декабрьском номере «Вестника Европы»:

Г. Жуковский оказал приятнейшее одолжение любителям отечественной словесности, предложив им такую книгу, которая переведена и беспрестанно переводится на все языки и которую уже более двухсот лет люди всякого звания читают с великим удовольствием. <...> Читатели увидят это из следующего разговора между Дон Кишотом и ламанхским дворянином; увидят также, к какому классу переводчиков надлежит причислить г-на Жуковского [6. С. 286, 288].

Развивая успех 1806–1807 гг., отмеченный в том числе первыми журнальными рецензиями, Жуковский решил выступить издателем «Вестника Европы». В 1808–1811 гг. сложилась основа его литературной репутации, определенная принятием публикой и критиками жанровых составляющих журнала – беллетристики, поэзии и критики. Благодаря его переводческим усилиям читатели могли ознакомиться с качественной европейской беллетристикой малых форматов и оценить уровень переводов, а также оригинальной прозы («Марьяна роцца», «Три сестры» и др.). Критические материалы редактору также удавались, причем разных жанров – обзор новой книги, рецензия на пьесу и спектакль (в «Московских записках»), статья по эстетике, исторический жанровый обзор – и эти образцы Жуковский впоследствии будет переиздавать в подборках своей прозы. Наконец, в 1808–1811 гг. поэт пишет каждый год более чем по десятку новых стихотворений разных жаров. Почти все они быстро оказываются на страницах «Вестника Европы», предлагая читателю все новые версии жанров карамзинского канона – романа, песни, любовного и дружеского послания, пейзажной лирики, элегии на смерть, эпитафии и, конечно, баллады. Таким образом, авторская репутация Жуковского в ходе редактирования журнала приобрела подлинную объемность, что подчеркнул успех подготовленной им пятитомной антологии «Собрание русских стихотворений» (опубликована в 1810–1811 гг.).

Статус поэта как заметной фигуры на литературном Олимпе выразительно подчеркнула оценка анонимного сотрудника журнала «Улей». В своей статье «Что желательно в пользу русского языка», опубликованной в январе 1811 г., тот приветствовал появле-

ние новых хрестоматий с выборкой образцовых «цветов отечественной словесности», способствующих совершенствованию языка (типичное положение карамзинистской литературной программы), а попутно выделял Жуковского: «Г. Жуковский своими трудами в сем роде, отчасти уже известными, делает величайшую услугу. Поприще велико, но силы подвижника уже испытаны» [7. С. 13].

При популярности у читателей как самого журнала, так и произведений его редактора в публичных критических оценках это отразилось мало и случайным образом. Из заметных эпизодов можно указать на разгоревшуюся по поводу «Марьиной рощи» небольшую полемику, продемонстрировавшую повышенное внимание к повести, и в дальнейшем нередко упоминавшейся (и даже переделанной А.И. Мещевским в поэму) и ставшей знаковой для репутации Жуковского как зачинателя новой романтической прозы. Критику, впрочем, не заинтересовали художественные новации произведения. В журнале «Аглая» П.И. Шаликов опубликовал «Письмо любезному издателю “Вестника Европы”», где похвалил своего адресата («Но грации с удовольствием читают журнал ваш; а ученые, а политики – что и говорить! Как журналист завидую – но самым дозволительным образом – участи “Вестника Европы”; как добрый приятель желаю любезному его издателю еще лучшей, еще блистательнейшей во всех трудах кабинета – и жизни!» [8. С. 29]), однако указал на пару бытовых несообразностей в сюжете повести. Жуковский, правда спустя время, откликнулся статьей «Благодарность любезному издателю “Аглаи”», в которой, рассыпавшись в похвалах и П.И. Шаликову, и самой форме комплиментарной критики, разъяснил несообразности с веретеном и лентами [9. С. 492–494].

А далее на обмен любезностями неожиданно откликнулся петербургский журнал «Цветник», в зачине статьи которого, посвященной совсем другой теме, неизвестный сотрудник не преминул поиронизировать над слащавостью подобных «полемику»:

Прочитав в «Аглае» письмо, заключающее *мануфактурное замечание сельских барынь*¹ об ошибке автора «Марьиной рощи», я ждал с большим

¹ Здесь и далее все выделения курсивом принадлежат авторам цитируемых текстов.

нетерпением ответа издателя «Вестника Европы»: мне хотелось видеть войну двух издателей журналов, читаемых во всей империи и войну о веретене. Долго ожидание мое было тщетно, и я наконец не знал уже, чему приписать бездействие оскорбленного. <...> Наконец оно прервано и вместо мщения мы увидели благодарность, сияющую во всем своем блеске. Признаюсь, нельзя без трогательного чувства, без умиления видеть тонкую осторожность, нежные укоризны, с одной стороны, с другой – признательность и великодушные! Эпитет *любезного*, столь приличный обоим издателям, находится при каждом обращении одного к другому [10. С. 391–393].

Второй примечательный эпизод литературно-критического свойства не приобрел публичности и касался готовящейся Жуковским к печати антологии «Собрание русских стихотворений». Ее составление и публикация пришлось на годы постепенной консолидации круга младокарамзинистов и усиления их полемики с оппонентами, а выход в свет трех заключительных томов в 1811 г. вообще совпал с основанием «Беседы любителей русского слова». Невозможность уложить материал антологии в единый художественный канон очень раздражала представителей всех литературных «партий», задававшихся вопросом о принципе отбора Жуковским авторов и их произведений. Свести воедино ряд таких претензий попытался П.А. Вяземский. Его «Запросы господину Василию Жуковскому от современников и потомков» в свое время остались домашним опусом, а при первой публикации оказались датированы 1809 г. Но, очевидно, они были составлены не ранее выхода в свет первых двух томов «Собрания», т.е. в 1810 или в начале 1811 г. Среди прочих здесь звучали такие «запросы»:

Зачем не напечатали вы прекрасного перевода Мерзлякова Тиртеевых од, а напечатали его песню... Зачем не удостоили вы своим благоволением прекраснейшие стихи Магницкого на смерть Валериана Зубова, и оду Державина, писанную к нему же после возвращения из Персии, а напротив, зачем удостоили вы какую-то «Феодицею», в которой нет ничего, кроме бомбаста, стоять в числе «Русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев»? ...Чем прогневились перед вами «Дарования», ода Карамзина, и «Фантазия», ода Востокова? ...отчего в одном первом томе находим мы четырнадцать пьес Капниста, а только четыре Дмитриева? [11. С. 1–9].

Неизвестно, удовлетворил ли Жуковский любопытство молодого критика приватно, но никаких публичных комментариев по этому поводу он не сделал.

Три другие выявленные на сегодняшний день критические реплики этого периода были специфичны. Поводом для первой стала благотворительная деятельность Жуковского, занявшая заметное место в «Вестнике Европы». В № 7 за 1808 г. он рассказал читателям о талантливом художнике Н.Ф. Алферове, которому не хватало средств для задуманного путешествия по Греции, и просил издателя журнала «Русский вестник» С.Н. Глинку выступить посредником в доставлении ему денег [9. С. 497–499]. Последний вскоре публично поблагодарил Жуковского и обещал исполнить просьбу:

Почтенный издатель «Вестника Европы» давно уже сам знаком с любителями русской словесности; и, известя прежде всех о молодом нашем художнике, он получил священное право быть посредником между им и благотворительностью соотечественников наших... Впрочем, лестный обо мне отзыв приемлю с благодарностью и почту за счастье вместе с ним украшать листы «Вестника» моего именами людей великодушных [12. С. 115].

Еще одна критическая реплика была порождена оскорбленным авторским самолюбием. Г.В. Гераков, преподаватель и чиновник, автор многих ультрапатриотических сочинений, отправил в 1808 г. свои «исторические отрывки» Жуковскому, но ответа не получил, о чем спустя два года и сообщил читателям в своей новой книжечке под названием «Российские исторические отрывки, писанные Гавриилом Гераковым, издателем “Твердости духа русских”, не помещенные господином Жуковским в свой журнал “Вестник Европы” 1808 года, с прибавлением и того, что не помещено 1805 года в “Вестник же Европы” господином Каченовским» [13]. Комментируя досаду незадачливого писателя в рецензии на его брошюру, анонимный критик журнала «Цветник» выразил, однако, полное согласие с Жуковским:

Сочинитель вправе негодовать на издателей «Вестника Европы» за то, что они не приняли исторических его отрывков и даже вместо благодарности *предали его забвению* (стр. 14). Должно предполагать, что любители словесности с большим удовольствием стали бы читать анекдоты, в которых встречаются непростительные ошибки против вкуса и грамматики [14. С. 383].

Таким образом, 1797–1811 гг. стали лишь началом и авторской карьеры, и ее отражения в критике. Со вторжением наполеоновских войск завязался новый и этапный для Жуковского репутационный узел: самый яркий молодой поэт поколения волею судьбы и своей волею оказался рядовым ополченцем, прошедшим с русским войском от Бородино до Вильно, а скромный деятель походной типографии, став непосредственным свидетелем исторических событий, претворил их в лирические документы высочайшего уровня («Певец во стане русских воинов», «Вождю победителей»). Энергия, заключенная в этой ситуации и заряжающая эти тексты, не могла остаться втуне – и уже в начале 1813 г. решительно изменила траекторию литературной карьеры Жуковского [3].

Поворотным ее моментом явился успех «Певца во стане русских воинов», соединившего приметы высоких одических жанров, соответствовавших эстетическим предпочтениям массового читателя, со столь же популярной элегической стилистикой карамзинизма. Это позволило, с одной стороны, консолидировать вокруг Жуковского круг младокарамзинистов, результатом чего стало впоследствии рождение общества «Арзамас», а с другой – найти поддержку в придворной среде, с 1813 г. начавшей опекать молодого поэта. В короткий срок он прошел путь от милостивого внимания императрицы Марии Федоровны до высочайших рескриптов 1815 и 1816 гг., назначения пенсии и приглашения на должность сначала придворного чтеца, а затем учителя великой княгини Александры Федоровны.

В художественном плане союз поэзии и власти породил феномен визионерской лирики, наделявшей произведения разных жанров – послания (начиная с «Императору Александру»), песни, идиллии, баллады, пейзажные элегии, альбомные стихотворения – идеологическим или историософским подтекстом. Это, в свою очередь, способствовало проникновению литературного начала в жизнь двора – прежде всего в плане его оформления как кружкового сообщества со своими семейными ритуалами, эзотерической дружеской семантикой, коллективным творчеством. Благодаря усилиям Жуковского двор превращался в среду «немногих», где литературная и аристократическая элитарность сливались друг с другом.

Между тем «Певец во стане русских воинов», несмотря на восторженное приятие публикой, не удостоился ни одного развернутого

критического обзора. До брошюрки М.А. Бестужева-Рюмина «Рассуждение о “Певце в стане русских воинов”», опубликованной в 1822 г. [15], это произведение лишь упоминалось – но упоминалось неизменно как талантливое воспевание воинской славы отечества и «первое из стихотворений на происшествия 1812 года» [16. С. 149]. Произведение настолько глубоко определило репутацию автора, что он получил дополнительное эвфемистическое имя Певца или Певца во стане русских воинов. Одним из первых так публично назвал поэта Ф.Н. Глинка, печатая в «Русском вестнике» 1814 г. свои «Письма русского офицера». В письме от 18 декабря 1812 г. он рассказывал о посещении в Вильне больного Жуковского и сетовал: «Я два раза навещал одного <из> излюбленнейших *поэтов наших*, почтенного *В.А. Жуковского*. <...> Как грустно видеть страдания того, кто был таким прелестным *певцом во стане русских* и кто дарил нас такими прекрасными *балладами!*» [17. С. 11–12].

«Певец во стане» сросся со своей эпохой и вместе с ней быстро отодвинулся в прошлое, превратившись в своеобразный памятник, достойный восхищения и подражания, но не разборов и анализа. Критика встала перед необходимостью объяснения нового явления только в тот момент, когда Жуковский создал целый ряд произведений визионерского характера – «Императору Александру» (опубликовано в начале 1815 г.), «Певец в Кремле» (опубликовано в начале 1817 г.), «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича» (опубликовано в мае 1818 г.), «Молитва русского народа» («Боже, царя храни!», опубликовано в декабре 1818 г.). Их своеобразие определялось не столько прямым обращением поэта к венценосным адресатам или божеству – такие приемы можно было встретить и в оде, сколько апелляцией к трансцендентному смыслу событий, причем в духе романтической мистики.

Жуковский очень запоздал с поэтической реакцией на заграничные походы, взятие Парижа, восстановление на троне Бурбонов, однако его реплика в хоре певцов императора Александра оказалась настолько весомой, что моментально была объявлена шедевром. Свою роль здесь, конечно, сыграло одобрение царственного адресата, но критики ощутили и новую природу послания. Авторы статей в «Русском инвалиде» [18], «Сыне отечества» [19], «Современном

наблюдателе российской словесности» [20. С. 145], «Российском музее» [21] по мере возможностей пытались объяснить производимое им впечатление, не укладывающееся ни в старые одические каноны, ни в стилистику карамзинизма.

Самым развернутым был отзыв В.В. Измайлова в «Российском музее», где обильно публиковались и другие стихи Жуковского. Перечислив удостоившиеся внимания публики произведения поэта («Сельское кладбище», «Певец во стане русских воинов», баллады, послания), критик попробовал определить достоинства нового опыта инструментарием карамзинистской эстетики – мысли, слог, язык, вкус, красоты:

Последнее <послание> к императору Александру принесло новое достоинство нашему поэту. Общее мнение согласно в том, что оно отличается высокими мыслями, слогом везде *пиитическим*, языком равно гармоническим и правильным, вкусом, почти всегда верным правилам искусства; что превосходные красоты, рассеянные в сем творении, далеко превышают пороки и недостатки, неразлучные с произведениями человеческого разума, и что сия последняя вернейшая мера для оценки талантов включает г. Жуковского в список наших лучших поэтов, а его сочинение в число нашего богатого капитала в поэзии [21. С. 202–203].

В том же духе стилистической критики В.В. Измайлов далее дал несколько советов, как можно исправить пару стихов, сделав их более ровными по языку и точными по смыслу, однако главное его внимание привлекли как раз те фрагменты послания, где на первом плане были визионерские образы и апелляции к трансцендентному плану событий:

Представляя восшествие царя на престол в эпоху политических бурь, он выражает в сих стихах крепость души его:

Нет! выше бурь венца ты ею возносился,
Очами твердыми сей ужас проникал
И в сердце Промысла судьбу свою читал.

Потрясение царств и народов есть великая тайна Промысла, ведущего нас к отдаленной, но известной цели своей, и эта мысль так оживотворена стихотворцем... [21. С. 206].

Романтическая поэтика Жуковского ощутимо выходила за пределы привычных жанровых форм и стилистики, и авторы критиче-

ских заметок 1815–1819 гг. пытались эмпирически, иногда просто через подбор подходящих выписок, как поступил В.В. Измайлов, нащупать ее главные особенности [22].

Так же, например, действовал спустя два года и анонимный автор рецензии на «Певца в Кремле» в «Сыне отечества». Вспомнив о претексте стихотворения – «Певце во стане русских воинов» – и эпохе его создания («И самая необыкновенная форма сего стихотворения сообразна с необычайными происшествиями и обстоятельствами того времени, и чувствами, которые от того рождались в душе каждого россиянина!»), он сосредоточил внимание на трансцендентном смысле нового визионерского опуса:

Русское воинство, совершив бессмертный поход к столице врагов и отомстив ей, по велению великого государя своего, за зло добром, за опустошение сохранением, за смерть и ужас дарованием новой жизни и спокойствия, возвратилось на родину и почило от трудов своих. Певец восходит на священные стены *Кремля*, и возглашает песнь благодарения Всевышнему Промыслу за освобождение и возвеличение любезного отечества. ...В нынешней песни его господствует... восторг умиления и признательности к Промыслу, восторг тихий, спокойный, благоговейный. В ней все мысли и изображения имеют *одну* цель: представить чувства благодарности счастливых спокойствием и славою россиян к великому государю, предводившему народами в сии незабвенные годы, и изъявить пред престолом Высшего Судии то – чего никакой язык человеческий достойно выразить не может! [23. С. 70].

Оставшаяся часть довольно большой рецензии представляла собой, как и у В.В. Измайлова, выписку из «Певца в Кремле», призванную показать, как Жуковский создает новый поэтический стиль для выражения того, «чего никакой язык человеческий достойно выразить не может».

Подобный устойчивый ракурс, в котором представляли в критике наиболее идеологически акцентированные и одобренные двором стихотворения, поддерживал общий контекст, позволявший публике интерпретировать даже вполне официозные короткие заметки о новых произведениях автора на события придворной жизни или о новых зна-

ках высочайшей милости к нему как акты особой природы – как фрагменты дискурса, связывавшего поэта, власть и Провидение¹. Например, рецензии на «Певца в Кремле» в «Сыне отечества» (№ 2) предшествовало (в № 1) сообщение о всемилостивейшем пожаловании Жуковскому ежегодной пенсии и бриллиантового перстня:

Любимый и уважаемый всею просвещенною публикою нашу писатель *Василий Андреевич Жуковский* удостоился на сих днях получить знаки особенной монаршей милости. Государь император, обращая внимание на отличные сочинения, которыми он украсил русскую словесность и из коих многие посвящены славе воинства российского, в изъявление высочайшего своего благоволения и для обеспечения впредь состояния его всемилостивейше соизволил назначить ему четыре тысячи рублей ежегодного пенсионна и в то же время пожаловал ему драгоценный брильянтовый перстень с своим вензелем. Мы уверены, что все любители сочинений *Жуковского* (и кто не любит их?) разделят с нами удовольствие, которое мы ощутили, узнав, каким отличным образом великий и правосудный монарх наградил таланты и труды, посвященные славе отечества и распространению между соотечичами любви к истине и добродетели, которою дышат все творения сего любезного стихотворца! [24].

Учитывая, что такие сообщения кочевали из одного издания в другое², для читателя они образовывали единое семантическое поле, позволявшее легко достраивать предполагаемые смыслы новых опусов.

¹ В критических публикациях о Жуковском 1814–1819 гг. слова Провидение и Промысел – одни из самых частотных (16 упоминаний, не считая синонимов и эвфемизмов).

² Ср., например, сообщение в журнале «Отечественный памятник»:

Знаменитому российскому писателю г. Жуковскому всемилостивейше пожалован бриллиантовый перстень с вензловым именем *Его Императорского Величества*. Об нем же состоялся следующий высочайший указ от 30-го декабря на имя г. министра финансов.

«Взирая со вниманием на труды и дарования известного писателя штабс-капитана *Василия Жуковского*, обогатившего нашу словесность отличными произведениями, из коих многие посвящены славе российского оружия, повелеваю, как в ознаменование *Моего* к нему благоволения, так и для доставления нужной при его занятиях независимости состояния производить ему в пенсион по четыре тысячи рублей в год из сумм Государственного Казначейства.

АЛЕКСАНДР

Например, публикацию в декабре 1818 г. «Молитвы русского народа» («Боже, царя храни!») сопровождала в «Северной почте» лишь сухая преамбула, не мешавшая, однако, почувствовать сакральный пафос произведения:

Государь император возвратился к нам из заграничного путешествия в во-
жделенном здравии, прибыв в минувшее воскресенье, 22 декабря, в две-
надцатом часу ввечеру в Царское Село. Мы сообщаем здесь прекрасный
гимн сочинения В.А. Жуковского, петый в Санкт-Петербургской гимна-
зии сего декабря 21 числа при публичном экзамене на голос «God save the
King» [26].

В орбиту сакрализующего дискурса, где героями выступали поэт и императорская фамилия, попадала и сфера литературного быта. По-
казательно здесь, например, что авторские мини-альманахи «Für
Wenige. Для немногих», печатавшиеся в первой половине 1818 г. ма-
леньким тиражом и распространявшиеся Жуковским в придворной
среде, пересекали ее границу и становились предметом обсуждения
не только в кругу коллег-стихотворцев, но и в критических заметках,
например, «Сына отечества»:

Под сим заглавием печатаются отборные немецкие романсы и баллады с
переводом *Жуковского*. Явление приятное! К сожалению, сказывают, что
собрание сие печатается действительно *для немногих*, т.е. в небольшом
числе экземпляров для приятелей поэта. Мы в состоянии с ним поспорить
и готовы утверждать, что если он хотел писать для тех, которые любят и
его, и талант его, то правильнее было бы сказать в заглавии: *для многих*.
В числе сих *многих* есть читатели «Сына отечества»: для них выписали
мы перевод прекрасной Шиллеровой баллады «Ritter Toggenburg» [27].

Само обозначение «для немногих» тоже стало знаковым для репу-
тации Жуковского и привнесло в него сложную семантику избранно-
сти (придворной, аристократической, эстетической) вкупе с теснотой

Да будет прославлен в отдаленных концах вселенной величайший из монар-
хов, ободряющий таланты и покровительствующий трудам почтенных сочините-
лей! [25].

дружеского круга¹. Вместе с поэтом его *немногие* читатели-собеседники не просто наслаждались или забавлялись стихами, но совершали трансцендентное путешествие, выходили за пределы обыденной реальности. Именно этот эффект обращал на себя внимание наиболее проницательных критиков и объединял в преемственное целое разрозненные заметки 1815–1819 гг. о новых произведениях или сборниках Жуковского. В балладах, о которых мы еще будем ниже говорить отдельно, в цикле «Двенадцать спящих дев», в замысле поэмы из русской истории, в начатом переводе «Орлеанской девы» Шиллера, в собрании стихотворных сочинений 1816 и 1818 гг., в сборнике переводов и «Опытов в прозе» (1816 и 1818 гг.), в гекзаметрических идиллиях авторы рецензий усматривали две черты, органично сочетавшиеся, но направленные к разным полюсам: живописность изображения – и повышенную символичность, даже эмблематичность.

Так, Р. Т. Гонорский уже в 1816 г. в статье «Нечто о нашей живописной прозе и о нынешнем состоянии русской словесности» объявил Жуковского мастером изобразительности: «В нынешнее время и Вольтер..., конечно, примирился бы с русским языком, – когда б ему прочитали какой-нибудь гармонический отрывок *прозы Карамзина* и лучшую пиэску, например “Элизиум” или “Мою богиню” *Жуковского*» [29. С. 382]. В рецензии на «Двенадцать спящих дев» анонимный критик «Сына отечества» также назвал «картинность» главным свойством его поэзии:

Главнейшее достоинство баллад или повестей г. *Жуковского*, так как и всех почти его стихотворений, состоит в легкой, свободной версификации и в *описательной или картинной поэзии*. Он удивительно *владеет языком*, столь упорным против большей части наших стихотворцев, и чрезвычайно живо изображает описываемые им в стихах предметы, особенно величественные и ужасные [30. С. 231].

К нему присоединился и некто Р. Л. из «Украинского вестника»: «Вадим» – искупитель дев – без сомнения, будет восхищать не менее

¹ Ср. замечание из позднейшего обзора того же «Сына отечества»: «...издание, выходящее не в определенные времена, под заглавием “Для немногих”. Знаменитый поэт *Жуковский*, преподающий правила русского языка ее высочеству великой княгине Александре Федоровне, издает оный, помещая в нем одни переводы в стихах лучших иностранных авторов. Сей журнал назначен преимущественно для употребления августейшей ученицы г. *Жуковского*» [28. С. 134].

самых “Спящих дев”: те же очаровательные картины, тот же легкий, прелестный рассказ, то же пламенное воображение» [31. С. 246].

Но, пожалуй, по длинным венцом пластичности – и при этом легко ощутимой символичности явились гекзаметрические идиллии Жуковского конца 1810-х гг. Публикацию наиболее знаменитой из них – «Овсяного киселя», перевода из И.П. Гебеля, как и другие, – в «Трудах Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете» редакторы снабдили предисловием, в котором попытались объяснить, как простота и реалистичность соединяются в ней с трансцендентной устремленностью:

На сцене те же лица. Крестьянка-старушка, приготовив для своих внучат овсяной кисель, рассказывает им историю овсяного зернышка. Предмет, по-видимому, мелкий; но автор соединил с ним мысли высокие. Говоря о простой былинке, он возбуждает в душе читателя прекрасные мысли о Провидении. Все оживлено в его картине. Каждое растение имеет своего ангела; жребий невидимого зародыша также занимает всеобъемлющую любовь Создателя, как и блистательный жребий планеты. И тленная былинка неприметно становится эмблемою человеческой жизни: нет витиеватого уместования, ибо здесь говорит поселянка, говорит детям, и языком ей приличным; но есть живое, сильное, всеоживляющее чувство [32. С. 62].

В результате во второй половине 1810-х гг. в критике закрепился устойчивый взгляд на поэзию (и частично прозу) Жуковского как на феномен мистический, спиритуальный, возвышенный [33. С. 29–162]. Ближайшим аналогом его стиля и поэтики уже в 1816 г. была объявлена поэзия Шиллера с ее идеальностью и «высшей мечтательностью»:

Он <Жуковский> поистине принадлежит к числу счастливейших любимцев муз; к немногому числу тех, кои никогда не забывали достоинства и цели священного дара песней! Безусловное возвышение над сферою всего обыкновенного, неослабный полет ко всему изящному и благородному и некоторая *высшая* мечтательность – составляют характеристику его стихотворений. Мы находим в духе его некоторое *сродство* с духом Шиллера (*благороднейшего* из стихотворцев нашего времени) и вообще имеем причину думать, что изучение немецких поэтов много содействовало развитию сего отечественного гения [34. С. 4].

Для друзей поэта эти клише, начиная с 1817 г., стали еще и предметом иронической игры, как, например, в переписке А.И. Тургенева с П.А. Вяземским. Последний, например, утверждал 1 мая 1819 г.: «C'est le poète de la passion, то есть, страдания. Он <Жуковский> брэнчит на распятии: лавровый венец его – венец терновый, и читателя своего не привязывает он к себе, а точно прибывает гвоздями, вколачивающимися в душу» [35. С. 227].

Между тем в рецептивном плане подобная поэзия порождала существенные трудности, поскольку плохо вписывалась в жанровую систему и стилистику сразу двух литературных направлений, с которыми исследователи русской критики по установившейся с Ю.Н. Тынянова традиции ассоциируют основные баталии 1810-х гг. Спор карамзинистов и шишковистов с их языковыми и стилевыми программами в этой системе координат продолжился противостоянием «Арзамаса» и «Беседы любителей русского слова». Однако если мы внимательнее присмотримся к предметам главных полемик эпохи, то они первоначально завязались вокруг баллады, а затем в их орбиту были втянуты современные судьбы элегии и оды вкупе с пересмотром приоритетов французских и немецких влияний. Причем собственно представители «Беседы», как, впрочем, и старшие карамзинисты, в критических баталиях не участвовали, предоставив это право младшим карамзинистам (консолидированным вокруг «Арзамаса») и младшим архаистам (действовавшим по отдельности).

Если реконструировать рецептивный контекст, то можно констатировать, что к середине 1810-х гг. жанрово-стилевая система позднего классицизма, испытывавшая значительное влияние преромантических (или раннеромантических) веяний, в читательском восприятии составляла мейнстрим и ассоциировалась с высокой литературной традицией. Карамзинизм и его программа также обнаружили к этому времени и плодотворность, и востребованность, став вполне легитимной частью литературного поля в области «средних» жанров и «срединного» уровня стилистики (с ориентацией на разговорный светский язык). Помимо привычности для читателя оба направления демонстрировали еще и тесную связь с французской традицией, пусть и активно критиковавшейся архаистами в пору наполеоновских войн.

Поэзия Жуковского, в первую очередь его баллады, нарушали каноны и позднего классицизма, и сентиментализма. Именно они и

стали предметом главных нападок в переломной для литературного процесса пародии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815). Чувствительный поэт Фиалкин мог бы восприниматься как вполне условная фигура – гипертрофированную слезливость активно осмеивали как последователи Шишкова, так и почитатели Карамзина – но его опознавательным знаком стала баллада, причем на античную тему:

БАЛЛАДА

Пел бессмертный славну Трою,
Пел родных Приама чад,
Пел Ахилла, жадна к бою,
Пел Элены милый взгляд [36. С. 164].

Помимо того, что это напрямую ассоциировалось с Жуковским, чья «Людмила» (1808), а затем «Светлана» (1813) стали необыкновенно популярными, а «Кассандра» (1809) и «Ахилл» (1814) создали новую модификацию античной баллады, за парадирзуемым жанром стоял контекст и немецких влияний (Г.А. Бюргер, И.К.Ф. фон Шиллер), и набирающего силу неоклассицизма, проникнутого идеями И.И. Винкельмана и И.Г. Гёте. Однако баллада с ее мертвецами и мистикой, соединением высокого и ужасного, с повышенной метафоричностью и стилевыми контрастами не вписывалась ни в «высокий» (шишковисты), ни в «средний» (карамзинисты) литературный «регистры», создавая свою эстетику¹. И тем не менее к середине 1810-х гг. пионер этого жанра, сумевший в начале своей карьеры опереться на карамзинскую традицию, а потом привить к ней высокую стилистику, одобряемую архаистами, стал не просто популярным поэтом, но подлинным лидером современной словесности. О его деятельности как главы «Арзамаса» знали, конечно, только друзья Жуковского и ближайший к ним круг, однако газеты и журналы помимо публикации собственно трудов поэта регулярно сообщали читателям и о выходе в свет каждого крупного его произведения [16, 18–21, 23, 26–28, 30–32, 38–41; 42. С. 8; 43–46], и о начале продаж первого и второго собрания

¹ Как заключила М.Н. Виरोлайн, оценивая литературную программу «Арзамаса» и молодых последователей Карамзина в целом, «...арзамасцы оказались карамзинистами, разрушившими центральные принципы карамзинской программы» [37].

сочинений [34, 47–50] (и сопровождавших их сборниках прозы [51–53]), и об участии в составлении коллективных антологий («Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах / в прозе» [54, 55]), а главное — о все новых знаках признания, о получении придворных должностей и пенсионов, о милостивых рескриптах [24, 25, 56, 57], о принятии в члены статусных литературных обществ — Общества любителей российской словесности при Московском университете (1816) [58, 59], Императорской Российской академии (1818) [60–63]. Это не просто подтверждало исключительное место Жуковского на литературном Олимпе, но и легитимировало в глазах читателя его эстетику и жанровую систему.

Столь быстрый переворот вкусов породил, однако, встречную реакцию в виде публичного неодобрения отдельных жанров и стиховых форм. Персональные выступления с критикой Жуковского, впрочем, были единичными. Чаще же это превращалось в обсуждение критиками комплекса вопросов о специфике новых образцов баллады, идиллии, «визионерской» лирики, об источниках литературных влияний (французская или немецкая ориентация), о соотношении национального и заимствованного, в том числе о месте античных элементов (гекзаметр, переводы древних авторов).

Первый из этих споров разгорелся в тот момент, когда, казалось бы, в общем мнении утвердилось одобрительное отношение к балладе. Успех «Людмилы», «Громобоя», «Светланы» был несомненным, читатели ждали новых опытов Жуковского. Более того, баллада в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах» оказалась включена в число пресловутых «образцов», что подтверждали и журнальные сообщения («“Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах” состоять будет из шести частей, из коих в I и II будет поэзия лирическая: оды, песни и романсы; в III баллады, сказки, басни, в IV послания, сатиры, идиллии, эклоги; в V и VI смесь» [55. С. 104]). Вскоре выяснилось, что в балладе заложен не только новеллистический, но и эпический потенциал, способный развернуться в большую нарративно-стихотворную конструкцию — конкурент старой эпической поэме. Так, сам Жуковский вместо поэмы о Владимире одарил читателя в 1817 г. балладным циклом на древнерусский сюжет «Двенадцать спящих дев», а молодой Пушкин к 1820 г. создал на балладной основе поэму «Руслан и Людмила».

Прозвучавшие на этом фоне критические реплики Н.И. Гнедича и А.С. Грибоедова в 1816 г. и А.Ф. Мерзлякова в 1818 г. были необычными. Например, выход в свет «Двенадцати спящих дев» был отмечен только положительными отзывами:

Г. Жуковский попытался ввести в русскую литературу этот род *народной эпопеи*: самый блестящий успех увенчал его усилия. Даже по согласию его недоброжелателей, все его баллады блещут красотою высшего порядка и наиболее замечательны те, сюжеты которых принадлежат ему. И если когда-нибудь в России появится новый Ариост, он сможет использовать и слишком короткий рассказ Нестора, и все народные легенды, которые связаны с именем Владимира [39. С. 325].

Спешу обрадовать вас и всех читателей «Украинского вестника» приятным известием. Все с восхищением читали прекрасную балладу г. Жуковского «Двенадцать спящих дев»; все желали с нетерпением видеть окончание оной; наконец любимый наш поэт исполнил желание своих друзей и читателей [31. С. 246].

Успех баллад Жуковского, впрочем, мог восприниматься до поры до времени как единичное и уникальное явление, тесно связанное в рецептивном плане еще и с поэтикой его визионерской политической лирики (оссианические тени и духи из «Людмилы» появляются и в «Певце в Кремле»). Это позволяло относиться к его опытам «извинительно», оправдывая высокой поэтичностью странность и даже отвратительность предмета:

Надобно рассыпать такие богатые и живые краски в картинах, наполнять таким волшебным очарованием стихи, каким они наполнены, например, в балладе «Двенадцать спящих дев», когда хотят, чтоб подобные баллады могли нравиться. «Но если сей род найдет подражателей, которые, не имея превосходных талантов своего образца, станут также писать об одних мертвецах и привидениях — тогда словесность наша...» (Н.И. Гнедич) [64. С. 5].

Проблемой подобная поэтика стала только тогда, когда начали появляться первые оригинальные модификации жанра в виде серии П.А. Катенина 1815–1816 гг. («Наташа», «Убийца», «Леший», «Ольга»). Н.И. Гнедич в своей рецензии обратил упреки к «Ольге». В ответ А.С. Грибоедов переадресовал их первоисточнику – «Людмиле» Жуковского [65]. А.Ф. Мерзляков обобщил претензии и выдвигал

нул обвинение самому жанру баллады. Оно не было четко артикулировано по сути и склонялось, с одной стороны, к критике отвратительного предмета – мертвецы, убийства, привидения, а с другой – к осуждению своеволия, отсутствия какого-либо канона:

Скажите, м<илостивые> г<осудари>, баллада имеет ли какие-нибудь для себя правила, так как всякой другой род, получивший право гражданства в кругу литературы? Мы знаем пределы для оды, для поэмы, для трагедии и для элегии и даже для баллады, некогда бывшей или такой, как нам показала ее Италия, а потом Испания и Португалия, после французы и, наконец, у нас некоторые из осторожнейших писателей. Теперь бог знает что: ни вероятия в содержании, ни начала, ни конца, ни цели, ни худой, ни доброй: все достоинство в слоге. Слог хорош; но что остается у меня в голове или сердце? [66. С. 66].

Историки русской романтической баллады (Р.В. Иезуитова, В.Э. Вацуро, В.И. Федоров, В.М. Маркович и др.) обоснованно связали эти претензии с проблемой легитимации фантастического, чудесного компонента литературы и в целом романтического типа художественного сознания, предполагающего свободу воображения, «обращение в сферу исключительного, таинственного, стихийного – всего того, что знаменует собою отход от привычных и устоявшихся форм жизни и норм поведения» [67. С. 156]. В отличие от обращения к чудесному в оде и эпосе или в «чувствительной» балладе (Н.М. Карамзин, Г.П. Каменев) Жуковский (и его последователи, как П.А. Катенин) не стремился сохранить элементы жизнеподобия, а создавал автономный художественный мир со своими законами поведения героев, специфической образностью и стилистикой. Его нужно было принять целиком – и тогда рождался эмоциональный отклик, при ином подходе текст просто не работал. Но этот принцип касался и всей художественной системы Жуковского в целом, недаром балладный антураж определил эстетику «Арзамаса» и оказался спроецирован и на другую литературную продукцию как главы общества, так и его участников.

Трудность согласования подобной эстетики с законами «здорового смысла» и «вкуса», лежащими в основе карамзинизма, определила суть претензий Н.И. Гнедича к катенинской «Ольге», а А.С. Грибоедова к «Людмиле» Жуковского. В плане развития сюжета и поведения персонажей они обрушились на неправдоподобие деталей (адские

духи произносят проповеди, героини верят жениху, несмотря на очевидные указания на его инфернальность), но главное внимание уделили стилистическим огрехам (взаимно оспариваемым), «неудачным» выражениям, которые почему-либо выходили за границы разговорной / поэтической нормы («Слезный сон – сухой эпитет, *рано поутру* – сухая проза» [64. С. 11]; «турк», «песньми», «под звон колоколов», «*отвесть от греха разум, непричастный слову*», «*наскакать на забор*» и т.п.). Их разборы сыграли свою рецептивную роль и помогли читателю не только эмоционально принять новый жанр, но и освоиться с его еще непривычной стилистикой. Знаменательно, что новые споры о балладе в первой половине 1820-х гг. уже не заострялись на правдоподобии сюжета, но придали еще большую значимость поэтической семантике, ее ровности и оправданности.

Рецензии Н.И. Гнедича и А.С. Грибоедова позволили наметить и еще один важный для критической репутации Жуковского контекст – его роль в смене эстетических приоритетов литературы и в национальной адаптации заимствованных жанрово-стилевых образцов. Последовательно сравнивая немецкий оригинал («Ленору» Г.А. Бюргера) и варианты его перевода в «Ольге» и «Людмиле», критики предельно наглядно показали, как поэты ищут эквиваленты и в чем их перевод насыщается национальными элементами:

«Людмила» есть оригинальное русское прелестное стихотворение, для которого идея взята только из *Бюргера*. Стихотворец знал, что «Ленору», народную немецкую балладу, можно сделать для русских читателей приятною не иначе, как в одном только подражании. Но его подражание не в том состояло, чтоб вместо собственных немецких имен лиц и городов поставить имена русские. Краски поэзии, тон выражений и чувств, составляющие характер и дающие физиогномию лицам, обороты, особенно принадлежащие простому наречию и отличающие дух народного языка русского, – вот чем «Ленора» преобразена в «Людмилу» [64. С. 7–8].

Для обоих критиков критерием удачности перевода выступала органичность в переложении на разговорный светский язык, и в этом они оставались в пределах карамзинистской программы – для их преемников в первой половине 1820-х гг. окажутся важны уже более национально специфичные элементы стиля. Между тем они уже

вполне отчетливо ощущали стилевое различие, стоявшее за обозначающей конкуренцией жанров французского и немецкого происхождения. Так, А.Ф. Мерзляков в своем разборе противопоставил балладу, какую «нам показала ее Италия, а потом Испания и Португалия, после французы» [66. С. 66], и балладу образца Бюргера / Жуковского / Катенина. Его критика последней (первую он вполне одобрял как легитимный жанр и жанровую стилистику) в том числе выступала ответом на одобрительные отзывы о немецких влияниях: «Тот же “Conservateur Impartial” заставляет нас торжествовать и радоваться какому-то преобразованию духа нашей поэзии. Он поздравляет нас с тем, что мы исполнились духом германских поэтов и что сей дух нам родственней» [66. С. 68].

Здесь А.Ф. Мерзляков подразумевал первое крупное выступление В.К. Кюхельбекера, напечатанное в газете «Le Conservateur impartial» на французском языке и переопубликованное в журнале «Вестник Европы» в переводе на русский. Свой обзор современного состояния словесности он завершил констатацией, подчеркивавшей роль Жуковского в утверждении новых жанрово-стилевых приоритетов:

Жуковский не только переменяет внешнюю форму нашей поэзии, но даже дает ей совершенно другие свойства. Принявши образцами своими великих гениев, в недавние времена прославивших Германию, он дал (выразимся словами одного из наших молодых поэтов) германический дух русскому языку, ближайший к нашему национальному духу, как тот, свободному и независимому [68. С. 157].

Впрочем, если присмотреться к примерам, которые выдвигали А.Ф. Мерзляков и В.К. Кюхельбекер в качестве образцов, то они сближались общей ориентацией на античный опыт. В 1810-е гг. русская литература, осваивая категории историзма и национальной самобытности, в первую очередь, проецировала их на классическую древность, в первостепенной значимости которой сходилась французская нормативная эстетика Ж.Ф. Лагарпа и немецкая школа И.И. Винкельмана. И в подобном контексте художественные поиски Жуковского воспринимались как чрезвычайно показательные – будь то зондирование возможностей русской поэмы или эксперименты с русским гекзаметром. После успеха «Певца во стане русских воинов» именно на него возлагались основные надежды как на эпического поэта. Так,

С.С. Уваров в начале 1814 г. в своем известном ответе на письмо В.В. Капниста, касавшееся возможностей русского гексаметра, предлагал Жуковскому готовую программу поэмы:

Я часто о сем предмете беседовал с моим приятелем г-м Жуковским, которого превосходный талант в поэзии довольно известен; я часто предлагал ему написать русскую поэму русским размером, предоставляя судить ему, какой метр между русскими способнее к продолжительному сочинению. Зачем, я говорил ему, не избрать эпоху древней нашей истории, которую можно назвать эпохою нашего рыцарства, в особенности эпоху, предшествовавшую введению христианской религии? Тут вы найдете в изобилии все махины, нужные к поэме. Что может быть для поэта обширнее наших походов на Царь-град? Что разнообразнее древнего нашего баснословия? С каким искусством предстоит вам соединить ее оригинальные северные формы с блистательными появлениями Востока! Каким волшебным светом может поэт озарить берега Днепровские, стены Киева, Восфор и златые вершины Царя-града! В этой эпохе история сопутствуема баснословием; поэт может произвольно черпать из той и другой; он избирает между историческими памятниками и народными преданиями и из всех сих богатых материалов составляет целое [69. С. 63–65].

К мнению С.С. Уварова присоединился и анонимный рецензент «Сына отечества», больший упор сделавший не на поэтику жанра (русский размер, мифология в соседстве с историей, локальный колорит), а на свойства таланта Жуковского, обещавшие успех предприятия:

Г. Уваров в письме своем об экзаметре говорит между прочим, что русские могут иметь свою отечественную поэму и назначает для оной именно: *эпоху до христианства и последующую*, которую называет он *эпохою нашего рыцарства*. <...> Если г. Жуковский согласился на его приглашение написать поэму из нашей истории, то он должен непременно избрать сей период, от рождения славянского народа до разделения княжеств по смерти Владимира. Мы пожелаем с г. Уваровым, чтоб автор «Певца во стане русских воинов», «Двенадцати спящих дев» и пр. – поэт, который умеет соединять пламенное, часто своенравное воображение с необыкновенным искусством писать, посвятил жизнь свою на произведение такого рода для славы отечества (которое умеет чувствовать его заслуги) и не истощил бы своего бесценного таланта на блестящие безделки [70. С. 102–103].

Надежды на появление эпической поэмы на древнерусский сюжет возобновились после публикации в 1817 г. «Двенадцати спящих

дев». Об этом не преминул напомнить С.С. Уваров в своей рецензии [39], а Н.И. Греч, перечисляя эпические опыты 1817 г., счел их очевидным шагом к большому полотну:

В эпическом роде отличаются «Рождение Омера», преисполненное красотою поэзии стихотворение г. Гнедича, и «Двенадцать спящих дев» г. Жуковского – одно из прекраснейших произведений сего поэта, а в лирическом его же «Певец на Кремле». Давно уже говорили и писали, что г. Жуковский занимается сочинением большой эпической поэмы «Владимир». Желаем, чтоб сей слух был справедлив, чтоб певец *Светланы* и *Вадима* занялся изображением сего великого происшествия, способного воспламенить истинное дарование русского стихотворца восторгом поэзии, любви к отечеству и религии [42. С. 8].

Примечательно, что имя Жуковского изначально оказалось связано не только с вопросом о национальном эпосе, но и с полемикой о гекзаметре [71. С. 157–176]. В традиции французской литературы, усвоенной и в русской словесности, размером эпической поэмы был александрийский стих. Поначалу и С.С. Уваров, ратовавший в письме к Н.И. Гнедичу, а затем и в письме к В.В. Капнисту за обращение к гекзаметру, советовал Жуковскому использовать в поэме не его, а «русский размер», опробованный Н.М. Карамзиным и А.Н. Радищевым [72]. Однако очевидные успехи в популяризации нового размера, примером которых служила и немецкая литература, а также обращение к нему Н.И. Гнедича в переводе «Илиады», постепенно преодолевали представление о неорганичности данной античной формы отечественной стиховой культуре. Более того, в 1820–1830-е гг. возникла даже лингвистическая мифология, назначавшая русский и другие славянские языки прямыми преемниками древнегреческого, что делала их наследниками и античных форм стихосложения. Тем не менее для конца 1810-х гг. любое расширение сферы, где мог использоваться гекзаметр, помимо переводов древних авторов, воспринималось как большая смелость и порождало критические выпады.

Между тем Жуковский, развивая неоклассицистические интенции, от тематического обращения к Древней Греции (прозаические переводы, «Кассандра», «Ахилл») перешел к экспериментам с собственно античными формами и перевел в 1814 г. фрагмент из «Мессиады» Ф.Г. Клопштока гекзаметром. Следующий шаг он сделал, разорвав

обязательную связь гекзаметра с жанром эпической поэмы: в 1816 и 1818 гг. он перевел этим размером шесть идиллий И.П. Гебеля. И подобное стечение – гекзаметр, античность, немецкое влияние, бытовые сюжеты – вызвало еще один полемический взрыв. А.Ф. Мерзляков в своем «Письме из Сибири» осудил не только баллады, но и отказал в жизнеспособности русскому гекзаметру («тщетны ваши усилия, почтенные российские уставщики стопосложения, тщетны! У вас не может быть ни греческих, ни латинских гекзаметров, в настоящем и подлинном смысле сего слова» [66. С. 60–61]), а В.В. Капнист отправил Жуковскому большое обличительное письмо, где пытался убедить молодого автора:

Признаюсь, прискорбно было мне видеть в сочинениях Ваших одну песнь «Мессияды», переведенную эксаметрами, по мнению моему, совершенно несвойственными русскому языку. Я утешал себя мыслью, что это была снисходительная жертва советам приятелей Ваших: одних, имеющих собственную необходимость убегать сравнения с хорошими сочинителями рифменных стихов, а других, желающих отличиться покровительством греческому и латинскому стопосложению и надеющихся вообще придать важность мнению своему деятельным участием в оном знаменитого пиита. В сем уповании скрепился я и молчал. Но появление «Овсяного киселя» в эксаметрах, скажу Вам не обинуясь, опечалило меня чрезмерно; я не мог с равнодушием видеть, что заставляют Вас уж весьма много жертвовать чужим предубеждениям или выгодам и помрачить превосходный дар подражанием иноязычному, несвойственному нам стихоразмерению. ...Оставьте слабые пособия новизн писателям, предпочитающим весьма легкий труд низать дактили и хорей; будьте удостоверены, что только малым числом латинников читаются эксаметры русские; что ни одного из них никто не затвердил наизусть, тогда как другие стихи Ваши, подобно ломоносовским и державинским, с приятностью в памяти читателя впечатлеваются; и, наконец, что все русские эксаметры, несмотря на покровительство некоторых пристрастных людей, будут иметь участь тилематиховских [73. С. 507–508].

И все же успешность первых гекзаметрических опытов и Жуковского, и его коллег по цеху (Н.И. Гнедич, А.Ф. Воейков), а также активное участие младокарамзинистов-романтиков в литературной жизни быстро меняли парадигму эстетических предпочтений. Так, в исключительно стиховедческом измерении из представителей нового

поколения автор «Певца во стане» в наиболее репрезентативном трактате 1810-х – втором издании «Опыта о русском стихосложении» А.Х. Востокова – упоминался чаще всего, хотя и не в связи с гекзаметром. Теоретиком стиха были, в частности, выделены его эксперименты с пятистопным ямбом и вариантами амфибрахия:

В последние годы Жуковский обновил 5-тистопные ямбы, написавши оными несколько стихотворений, и может быть, его таланту предоставлено ввести сей размер в равное употребление с шестистопным [74. С. 35].

В.А. Жуковский употребил 6-тистопный амфибрахический в строках, сочетавши 3 таковые длинные стиха с коротким дактилическим <«К Филону»> [74. С. 41].

В стихотворении «Теон и Эсхин» Жуковского 4-хстопные мужские сочетаются с 3-хстопными женскими [74. С. 42].

Баллада Жуковского «Эолова арфа» разделена на куплеты, состоящие из 2-хстопных женских и 4-хстопных мужских в следующем сочетании [74. С. 43].

В стихах Жуковского «Моя богиня» 3-х стопные с кратким на конце слогом [74. С. 44].

В том же качестве одного из самых заметных и показательных поэтов эпохи, по произведениям которого можно следить не только за общими успехами отечественной словесности, но и за тенденциями ее развития, Жуковский предстал в разнообразных обзорах, посвященных как отдельным жанрам, так и литературе в целом. В первом качестве К.Н. Батюшков упомянул, например, его баллады – образец легкой словесности: «баллады Жуковского, сияющие воображением часто своенравным, но всегда пламенным, всегда сильным» [75. С. 55]. С 1815 г. поэт стал неперменным персонажем критического жанра годового обозрения. Сначала его послание к императору отметил П.М. Строев в «Обзрении успехов российской словесности в продолжение первой половины 1815 года» [20. С. 145], а в «Обзрении русской литературы 1815 и 1816 годов» Н.И. Греча Жуковский фигурировал уже как автор и издатель целого комплекса произведений («Переводы в прозе», «Императору Александру», «Стихотворе-

ния Василия Жуковского», «Собрание образцовых сочинений и переводов в стихах и прозе») [76. С. 59–60, 62]. Эту тенденцию продолжил В.К. Кюхельбекер во «Взгляде на нынешнее состояние русской словесности» («*Coup d'œil sur l'état actuel de la littérature russe*») [68. С. 157] и Н.И. Греч в статье «О произведениях русской словесности в 1817 году» [42. С. 8].

Таким образом, литературная критика 1803–1819 гг. в 78 выявленных на сегодняшний день публикациях, где Жуковский упоминался или выступал главным героем, отразила не только перипетии становления его авторской репутации, но и эволюцию эстетической парадигмы, выдвигавшую на первое место романтическую программу младших карамзинистов.

Список источников

1. Киселев В.С. Творчество В.А. Жуковского в рецепции литературной критики первой половины XIX века: к постановке проблемы // Имагология и компаративистика. 2024. № 21. С. 207–219.
2. Киселев В.С. «Некоторые стихотворения Жуковского и теперь уже заслуживают лестное внимание»: литературная репутация поэта в 1797–1812 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2025. № 516. С. 5–16.
3. Киселев В.С. «Чудо, сотворенное тобою, удивительнее чуда Орфея»: литературная репутация В.А. Жуковского в 1813–1820 гг. // Имагология и компаративистика. 2025. № 23. С. 203–234.
4. Макаров П.И. Новые книги. Утренняя заря. Труды воспитанников Университетского благородного пансиона. М., 1800 и 1803 г. В 12 д. л. Книжки: первая и вторая // Московский Меркурий. 1803. Ч. 2. Июнь. С. 180–184.
5. Багно В.Е. Жуковский – переводчик «Дон Кихота» // Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. М. : Языки славянской культуры, 2012. Т. 9. С. 429–448.
6. Каченовский М.Т. Новая книга. «Дон Кишот Ламанхский». Сочинение Серванта. Переведено с французского Флорианова перевода В. Жуковским : в 6 т. В 12 д. л. Москва. В типографии Платона Бекетова // Вестник Европы. 1806. Ч. 30. № 24. С. 286–292.
7. Что желательно в пользу русского языка // Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 6–14.
8. Шаликов П.И. Письмо любезному издателю «Вестника Европы» // Аглая. 1809. Ч. 7. Июль. С. 26–29.
9. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. М. : Языки славянской культуры, 2014. Т. 10, кн. 2. 832 с.
10. Два слова постороннего // Цветник. 1809. Ч. 3. № 9. С. 391–396.

11. *Вяземский П.А.* Запросы господину Василию Жуковскому от современников и потомков (1809) // Вяземский П.А. Полное собрание сочинений : в 12 т. СПб. : Издание графа С.Д. Шереметева, 1878. Т. 1. С. 1–9.

12. *Глинка С.Н.* Письмо к издателю // Русский вестник. 1808. № 4. С. 113–120.

13. *Гераков Г.В.* Российские исторические отрывки, писанные Гавриилом Гераковым, издателем «Твердости духа русских», не помещенные господином Жуковским в свой журнал «Вестник Европы» 1808 года, с прибавлением и того, что не помещено 1805 года в «Вестник же Европы» господином Каченовским. Петроград : при 1-м Кадетском корпусе, 1810. 17 с.

14. Российские исторические отрывки, писанные Гавриилом Гераковым, издателем «Твердости духа русских», не помещенные господином Жуковским в свой журнал «Вестник Европы» 1808 года, с прибавлением и того, что не помещено 1805 года в «Вестник же Европы» господином Каченовским. Петроград: При 1-м Кадетском корпусе. 1810 // Цветник. 1810. Ч. 6, № 6. С. 381–385.

15. *Бестужев-Рюмин М.А.* Рассуждение о «Певце в стане русских воинов». СПб. : В тип. И. Иоаннесова, 1822. 68 с.

16. Разные известия и замечания // Сын отечества. 1814. Ч. 18, № 49. С. 145–149.

17. *Глинка Ф.Н.* Письма русского офицера // Русский вестник. 1814, № 7. С. 3–120.

18. *К.* Императору Александру. Стихотворение Василия Жуковского. С.П.Б. в типографии Ф. Дрехслера, 1815, 19 стр. в 4 // Русский инвалид. 1815. № 16 (24 февр.). С. 1.

19. Императору Александру. Стихотворение Василия Жуковского. С.П.Б. 1815. В тип. Ф. Дрехслера, в 4 19 стр. // Сын отечества. 1815. Ч. 20, № 7. С. 26–28.

20. *Строев П.М.* Обзор успехов российской словесности в продолжение первой половины 1815 года // Современный наблюдатель российской словесности. 1815. № 18. С. 142–148.

21. <*Измайлов В.В.*> Императору Александру. Стихотворение Василия Жуковского. С. Петербург. В типографии Ф. Дрехслера. 1815 // Российский музей. 1815. № 5. С. 202–210.

22. *Долгушин Д.В.* Литературная репутация В.А. Жуковского в 1808–1815 гг.: от «Вестника Европы» к «Российскому музеуму» // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2025. Т. 24, № 2. С. 89–100.

23. Певец на Кремле, Василия Жуковского. С.П.б. 1816. В Медицинской тип. В б. 8, 21 стр. // Сын отечества. 1817. Ч. 35, № 2. С. 69–75.

24. Смесь. 2 // Сын отечества. 1817. Ч. 35, № 1. С. 40.

25. Высочайшее благоволение знаменитому российскому писателю Жуковскому // Отечественный памятник. 1817. № 1. С. 12–13.

26. <Без заглавия. «Молитва русского народа»> // Северная почта. 1818. № 103 (25 декабря). С. 1.

27. Für Wenige. Для немногих. № 1. Москва. 1818. В тип. Августа Семена. В м. 8. 36 стр. // Сын отечества. 1818. Ч. 44, № 9. С. 113.

28. Новости литературные <«Für Wenige. Для немногих»> // Сын отечества. 1819. Ч. 55, № 19. С. 133–136.

29. Гонорский Р.Т. Нечто о нашей живописной прозе и о нынешнем состоянии русской словесности // Украинский вестник. 1816. Ч. 4, № 12. С. 374–384.

30. Двенадцать спящих дев, старинная повесть, сочинение Василия Жуковского. С эпиграфом из Гете: Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. – с гравированною картинкою и виньетою. С.П.б. в Медицинской типографии, 81 стран. В 12 // Сын отечества. 1817. Ч. 39, № 32. С. 230–232.

31. Р.Л. О новой балладе г. Жуковского (К издателям из С.П.бурга) // Украинский вестник. 1817. Ч. 7, № 8. С. 246–247.

32. Жуковский В.А. Овсяный кисель <преамбула> // Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. 1818. Ч. 10. Стихотворения. С. 62–63.

33. Виноцкий И.Ю. Дом толкователя: поэтическая семантика и историческое воображение В.А. Жуковского. М. : Новое литературное обозрение, 2006. 328 с.

34. К. Стихотворения Василия Жуковского. Ч. I. С. П. Б. в Медицинской типографии, 1815, в б. 8 // Русский инвалид. 1816. № 18 (22 янв.). С. 3–4.

35. Остафьевский архив князей Вяземских. СПб. : Изд. гр. С.Д. Шереметева, 1899. Т. 1. 730 с.

36. Шаховской А.А. Урок кокеткам, или Липецкие воды // Шаховской А.А. Комедии. Стихотворения. Л. : Советский писатель, 1961. С. 119–264.

37. Виролайнен М.Н. Карамзинизм и антикарамзинизм арзамасцев // Жуковский и другие: Материалы II Международных научных чтений памяти Александра Сергеевича Янушкевича, Томск, 18–20 сентября 2024 г. Томск : Изд-во ТГУ, 2025. В печати.

38. <Без заглавия. «Песнь русскому царю от его воинов»> // Северная почта. 1815. № 94 (24 ноября). С. 1.

39. <Уваров С.С.> Les douzes vierges dormantes, poème de M. Joukowsky // Le Conservateur impartial. 1817. № 63 (mardi le 7 aout). P. 325–326.

40. Разные известия <«Двенадцать спящих дев»> // Сын отечества. 1817. Ч. 39, № 31. С. 190.

41. Жуковский В.А. Гебель. Красный карбункул (сказка) <преамбула> // Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. 1817. Ч. 9. Стихотворения. С. 49–50.

42. Греч Н.И. О произведениях русской словесности в 1817 году // Сын отечества. 1818. Ч. 43, № 1. С. 3–13.

43. <Без заглавия. «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича»> // Северная почта. 1818. № 41 (22 мая). С. 2.

44. Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Часть девятая. М. 1817 г. в Унив. тип. в 8 134 и 89 стр. // Сын отечества. 1818. Ч. 44, № 10. С. 148.

45. *Жуковский В.А.* Овсяный кисель <примечание> // Сын отечества. 1818. Ч. 44, № 11. С. 190.

46. Новости литературные <«Орлеанская дева»> // Сын отечества. 1819. Ч. 54, № 22. С. 136–137.

47. Литература <«Стихотворения Василия Жуковского»> // Русский инвалид. 1815. № 85 (23 октября). С. 1.

48. <Без заглавия. «Стихотворения Василия Жуковского»> // Северная почта. 1815. № 85 (23 октября). С. 1.

49. Стихотворения Василия Жуковского. Часть I. С.П.б. В Медиц. тип. в 4 247 стр. // Сын отечества. 1816. Ч. 27, № 3. С. 112–113.

50. Стихотворения Василия Жуковского. Издание второе. Три части. С.П.б., 1818, в типографии Императорского Воспитательного дома. В 8. В 1 части 194, во 2307, в 3 232 стр. // Сын отечества. 1818. Ч. 45, № 18. С. 225.

51. Переводы в прозе В. Жуковского. Часть I. Повести. Москва 1816, в Унив. тип., в 8 294 стр. // Сын отечества. 1816. Ч. 31, № 29. С. 109.

52. Разные известия <«Переводы в прозе В. Жуковского»> // Сын отечества. 1817. Ч. 37, № 16. С. 154–155.

53. «Опыты в прозе» Василия Жуковского. М. 1818, в тип. Селивановского, в 8, 234 стр. // Сын отечества. 1818. Ч. 47, № 27. С. 55–56.

54. <Без заглавия. «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах»> // Северная почта. 1815. № 45 (5 июня). С. 2.

55. Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом любителей отечественной словесности. Часть I. С.П.б. 1815. В Медиц. тип. в 8 339 стр. // Сын отечества. 1815. Ч. 22, № 22. С. 104–105.

56. Внутренние известия // Русский инвалид. 1817. № 5 (7 янв.). С. 1.

57. Внутренние известия // Русский инвалид. 1818. № 91 (23 апр.). С. 1.

58. Протокол 15-го заседания, обыкновенного // Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Летописи Общества. Год II. 1817. Ч. 8. С. 28–33.

59. Отчет об упражнениях и действиях Общества любителей российской словесности // Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Летописи Общества. Год II. 1817. Ч. 8. С. 212–220.

60. <Без заглавия> // Северная почта. 1818. № 83 (16 октября). С. 2.

61. *С.П.* Внутренние известия // Русский инвалид. 1818. № 242 (18 октября). С. 1–2.

62. Ученые, благотворительные и другие общества // Сын отечества. 1818. Ч. 49, № 42. С. 181.

63. О собрании Академии Российской 21-го сентября 1818 г. // Известия Российской Академии. 1819. Кн. 7. С. 123–126.

64. <Гнедич Н.И.> О вольном переводе Бюргеровой баллады «Ленора» // Сын отечества. 1816. Ч. 31, № 27. С. 3–22.
65. <Грибоедов А.С.> О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора» // Сын отечества. 1816. Ч. 31, № 30. С. 150–160.
66. <Мерзляков А.Ф.> Письмо из Сибири // Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете. 1818. Ч. 11. Отд. 1. Прозаические сочинения. С. 52–70.
67. Пезуитова Р.В. Баллада в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л. : Наука, 1978. С. 138–163.
68. Кюхельбекер В.К. Взгляд на нынешнее состояние русской словесности // Вестник Европы. 1817. Ч. 95, № 17/18. С. 154–157.
69. Уваров С.С. Ответ г. Уварова на письмо г. Капниста об экзаметре // Чтения в Беседе любителей русского слова. Чтение 17. СПб. : При Сенатской типографии, 1815. С. 47–67.
70. Письмо к И. М. М. А. о сочинениях г. Муравьева, изданных по его кончине. Москва. 1810 // Сын отечества. 1814. Ч. 16, № 35. С. 87–116.
71. Егунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков. М. : Индрик, 2001. 400 с.
72. Запалов В.А. «Русские размеры» в поэзии конца XVIII века // XVIII век. СПб.: Наука, 1999. Сб. 21. С. 391–400.
73. Капнист В.В. Собрание сочинений : в 2 т. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. Т. 2. 636 с.
74. Востоков А.Х. Опыт о русском стихосложении. СПб. : В Морской тип., 1817. 168 с.
75. Батюшков К.Н. О влиянии легкой поэзии на образованность языка // Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. 1816. Ч. 6: Прозаические сочинения. С. 35–62.
76. Греч Н.И. Обзор русской литературы 1815 и 1816 годов (Окончание) // Сын отечества. 1817. Ч. 35, № 2. С. 55–67.

References

1. Kiselev, V.S. (2024) Vasily Zhukovsky's works in the reception of literary criticism of the first half of the 19th century: To the problem statement. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 21. pp. 207–219. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/21/10
2. Kiselev, V.S. (2025a) "Some of Zhukovsky's poems even now deserve flattering attention": The poet's literary reputation in 1797–1812. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 516. pp. 5–16. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/516/1
3. Kiselev, V.S. (2025b) "The miracle you have performed is more amazing than the miracle of Orpheus": The literary reputation of Vasily Zhukovsky in 1813–1820.

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies. 23. pp. 203–234. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/23/11

4. Makarov, P.I. (1803) *Novye knigi. Utrennyaya zarya. Trudy vospitannikov Universitetskogo blagorodnogo pansiona*. M., 1800 i 1803 g. V 12 d. l. Knizhki: pervaya i vtoraya [New books. Morning Star. Works of the students of the University Noble Boarding School. Moscow, 1800 and 1803. In 12th degree of sheet. Booklets one and two]. *Moskovskiy Mercuriy*. 2. June. pp. 180–184.

5. Bagno, V.E. (2012) Zhukovsky – perevodchik "Don Kikhota" [Zhukovsky as a translator of "Don Quixote"]. In: Zhukovsky, V.A. *Polnoe sobranie sochineny i pisem: v 20 t.* [Complete Works and Letters: in 20 vols]. Vol. 9. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury. pp. 429–448.

6. Kachenovskiy, M.T. (1806) *Novaya kniga. "Don Kishot Lamankhskiy". Sochinenie Servanta. Perevedeno s frantsuzskogo Florianova perevoda V. Zhukovskim: v 6 t.* V 12 d. l. Moskva. V tipografii Platona Beketova [A new book. "Don Quixote of La Mancha." A work by Cervantes. Translated from the French translation of Florian by V. Zhukovsky: in 6 vols. In 12th degree of sheet. Moscow. At the printing house of Platon Beketov]. *Vestnik Evropy*. 30 (24). pp. 286–292.

7. Anon. (1811) *Chto zhelatel'no v pol'zu rossiyskogo yazyka* [What is desirable for the benefit of the Russian language]. *Ulei*. 1 (1). pp. 6–14.

8. Shalikov, P.I. (1809) *Pis'mo liubeznomu izdateliu "Vestnika Evropy"* [A letter to the dear publisher of the "Herald of Europe"]. *Aglaya*. 7. July. pp. 26–29.

9. Zhukovsky, V.A. (2014) *Polnoe sobranie sochineny i pisem: v 20 t.* [Complete Works and Letters: in 20 vols]. Vol. 10. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

10. Anon. (1809) *Dva slova postoronnego* [Two words from an outsider]. *Tsvetnik*. 3 (9). pp. 391–396.

11. Vyazemskiy, P.A. (1878) *Polnoe sobranie sochineniy: v 12 t.* [Complete Works: in 12 vols]. Vol. 1. St. Petersburg: S.D. Sheremetev. pp. 1–9.

12. Glinka, S.N. (1808) *Pis'mo k izdatelyu* [Letter to the publisher]. *Russkiy vestnik*. 4. pp. 113–120.

13. Gerakov, G.V. (1810) *Rossiyskie istoricheskie otryvki, pisannye Gavriilom Gerakovym, izdatelem "Tverdosti dukha russkikh", ne pomeshchennye gospodinom Zhukovskim v svoj zhurnal "Vestnik Evropy" 1808 goda, s pribavleniem i togo, chto ne pomeshcheno 1805 goda v "Vestnik zhe Evropy" gospodinom Kachenovskim* [Russian Historical Fragments, written by Gavriil Gerakov, publisher of "The Fortitude of the Russian Spirit," not included by Mr. Zhukovsky in his journal "Herald of Europe" in 1808, with an addition of what was not included in "Herald of Europe" by Mr. Kachenovsky in 1805]. Petrograd: pri 1-m Kadetskom korpuse.

14. Gerakov, G. (1810) *Rossiyskie istoricheskie otryvki, pisannye Gavriilom Gerakovym, izdatelem "Tverdosti dukha russkikh", ne pomeshchennye gospodinom Zhukovskim v svoj zhurnal "Vestnik Evropy" 1808 goda, s pribavleniem i togo, chto ne pomeshcheno 1805 goda v "Vestnik zhe Evropy" gospodinom Kachenovskim*. Petrograd. Pri 1-m Kadetskom korpuse [Russian historical fragments, written by Gavriil Gerakov, publisher of "The Fortitude of the Russian Spirit," not included by

Mr. Zhukovsky in his journal "Herald of Europe" in 1808, with an addition of what was not included in "Herald of Europe" by Mr. Kachenovsky in 1805. Petrograd. At the 1st Cadet Corps. 1810]. *Tsvetnik*. 6 (6). pp. 381–385.

15. Bestuzhev-Ryumin, M.A. (1822) *Rassuzhdenie o "Pevtse v stane russkikh voinov"* [A Discourse on "The Bard in the Camp of the Russian Warriors"]. St. Petersburg: V tip. I. Ioannesova.

16. Anon. (1814) Raznye izvestiya i zamechaniya [Miscellanea]. *Syn otechestva*. 18 (49). pp. 145–149.

17. Glinka, F.N. (1814) Pis'ma russkogo ofitsera [Letters of a Russian officer]. *Russkiy vestnik*. 7. pp. 3–120.

18. Zhukovsky, V. (1815) K. Imperatoru Aleksandru. Stikhotvorenie Vasiliya Zhukovskogo. S.P.B. v tipografii F. Drekhslera, 1815, 19 str. v 4 [To Emperor Alexander. A poem by Vasily Zhukovsky. St. Petersburg at the printing house of F. Drekhslers, 1815]. *Russkiy invalid*. 24th February. p. 1.

19. Zhukovsky, V. (1815) Imperatoru Aleksandru. Stikhotvorenie Vasiliya Zhukovskogo. S.P.b. 1815. V tip. F. Drekhslera, v 4 19 str. [To Emperor Alexander. A poem by Vasily Zhukovsky. St. Petersburg. 1815. At the printing house of F. Drekhslers]. *Syn otechestva*. 20 (7). pp. 26–28.

20. Stroev, P.M. (1815) Obozrenie uspekhov rossiyskoy slovesnosti v prodolzhenie pervoy poloviny 1815 goda [A review of the progress of Russian literature during the first half of 1815]. *Sovremennyy nablyudatel' rossiyskoy slovesnosti*. 18. pp. 142–148.

21. <Izmaylov, V.V.> (1815) Imperatoru Aleksandru. Stikhotvorenie Vasiliya Zhukovskogo. S. Peterburg. V tipografii F. Drekhslera [To Emperor Alexander. A poem by Vasily Zhukovsky. St. Petersburg. At the printing house of F. Drekhslers]. *Rossiyskiy muzeum*. 5. pp. 202–210.

22. Dolgushin, D.V. (2025) Literaturnaya reputatsiya V.A. Zhukovskogo v 1808–1815 gg.: ot "Vestnika Evropy" k "Rossiyskomu muzeumu" [The literary reputation of V.A. Zhukovsky in 1808–1815: From the "Herald of Europe" to the "Russian Museum"]. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya*. 24 (2). pp. 89–100.

23. Zhukovsky, V. (1817) Pevets na Kremle, Vasiliya Zhukovskogo. S.P.b. 1816. V Meditsinskoy tip. V b. 8, 21 str. [The Singer in the Kremlin, by Vasily Zhukovsky. St. Petersburg. 1816. At the Medical printing house]. *Syn otechestva*. 35 (2). pp. 69–75.

24. Anon. (1817) Smes'. 2 [Miscellany, 2]. *Syn otechestva*. 35 (1). p. 40.

25. Anon. (1817) Vysochayshee blagovolenie znamenitomu rossiyskomu pisatelyu Zhukovskomu [The highest favor shown to the famous Russian writer Zhukovsky]. *Otechestvennyy pamyatnik*. 1. pp. 12–13.

26. Anon. (1818) <Bez zaglaviya. "Molitva russkogo Naroda"> [Untitled. "Prayer of the Russian People"]. *Severnaya pochta*. 25th December. p. 1.

27. Anon. (1818) Für Wenige. Dlya nemnogikh. № 1. Moskva. 1818. V tip. Avgusta Semena. V m. 8. 36 str. [For a Few. For the Few. No. 1. Moscow. 1818. At the printing house of Avgust Semen. In 8th degree. 36 pp.]. *Syn otechestva*. 44 (9). pp. 113.

28. Anon. (1819) Novosti literaturnye <Für Wenige. Dlya nemnogikh> [Literary news <For a Few. For the Few>]. *Syn otechestva*. 55 (19). pp. 133–136.

29. Gonorskiy, R.T. (1816) Nechto o nashey zhivopisnoy proze i o nyneshnem sostoyanii russkoy slovesnosti [Something about our picturesque prose and the current state of Russian literature]. *Ukrainskiy vestnik*. 4 (12). pp. 374–384.

30. Zhukovsky, V. (1817) Dvenadtsat' spyashchikh dev, starinnaya povest', sochinenie Vasiliya Zhukovskogo. S epigrafom iz Gete: Das Wunder ist des Glaubens libstes Kind. – s gravirovannoyu kartinkoyu i vin'etoyu. S.P.b. v Meditsinskoy tipografii, 81 stran. V 12. [Twelve Sleeping Maidens, an ancient tale, a work by Vasily Zhukovsky. With an epigraph from Goethe... With an engraved picture and a vignette. St. Petersburg at the Medical printing house, 81 pages. In 12]. *Syn otechestva*. 39 (32). pp. 230–232.

31. R.L. (1817) O novoy ballade g. Zhukovskogo (K izdatel'nyam iz S.P.burga) [About a new ballad by Mr. Zhukovsky (To the publishers from St. Petersburg)]. *Ukrainskiy vestnik*. 7 (8). pp. 246–247.

32. Zhukovsky, V.A. (1818) Ovsyanyy kisel' <preambula> [Oatmeal jelly <preamble>]. *Trudy Obshchestva lyubiteley rossiyskoy slovesnosti pri Imperatorskom Moskovskom universitete*. 10. pp. 62–63.

33. Vinitskiy, I.Yu. (2006) *Dom tolkovatelya: poeticheskaya semantika i istoricheskoe voobrazhenie V.A. Zhukovskogo* [The House of the Interpreter: Poetic Semantics and the Historical Imagination of V.A. Zhukovsky]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

34. K. (1816) Stikhotvoreniya Vasiliya Zhukovskogo. Ch. I. S. P. B. v Meditsinskoy tipografii, 1815, v b. 8 [Poems by Vasily Zhukovsky. Part I. St. Petersburg at the Medical printing house, 1815, in 8]. *Russkiy invalid*. 22nd January. pp. 3–4.

35. Anon. (1899) *Ostaf'evskiy arkhiv knyazey Vyazemskikh* [The Ostafyevo Archive of the Vyazemsky Princes]. Vol. 1. St. Petersburg: S.D. Sheremetev.

36. Shakhovskoy, A. A. (1961) *Komedii. Stikhotvoreniya* [Comedies. Poems]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'. pp. 119–264.

37. Virolaynen, M.N. (2025) Karamzinizm i antikaramzinizm arзамastsev [Karamzinism and anti-Karamzinism of the Arзамas members]. *Zhukovskiy i drugie* [Zhukovsky and Others]. Porc. of the 2nd International Conference in Memory of Aleksandr Sergeevich Yanushevich, Tomsk, September 18–20, 2024. Tomsk: Tomsk State University.

38. Anon. (1815) <Bez zaglaviya. "Pesn' russkomu tsaryu ot ego voynov"> [Untitled. "Song to the Russian Tsar from his warriors"]. *Severnaya pochta*. 24th November. p. 1.

39. <Uvarov, S.S.> (1817) Les douzes vierges dormantes, poème de M. Joukowski. *Le Conservateur impartial*. 63 (mardi le 7 aout). pp. 325–326.

40. Anon. (1817) Raznye izvestiya <Dvenadtsat' spyashchikh dev> [Various news <Twelve Sleeping Maidens>]. *Syn otechestva*. 39 (31). p. 190.

41. Zhukovsky, V.A. (1817) Gebel'. Krasnyy karbunkul (skazka) <preambula> [Hebel. The red carbuncle (a fairy tale) <preamble>]. *Trudy Obshchestva lyubiteley rossiyskoy slovesnosti pri Imperatorskom Moskovskom universitete*. 9. pp. 49–50.
42. Grech, N.I. (1818) O proizvedeniyakh russkoy slovesnosti v 1817 godu [On the works of Russian literature in 1817]. *Syn otechestva*. 43 (1). pp. 3–13.
43. Anon. (1818) <Bez zaglaviya. "Gosudaryne velikoy knyagine Aleksandre Fedorovne na rozhdenie v. kn. Aleksandra Nikolaevicha"> [Untitled. "To Her Imperial Highness Grand Duchess Alexandra Feodorovna on the birth of Grand Duke Alexander Nikolaevich"]. *Severnaya pochta*. 22nd May. p. 2.
44. Anon. (1818) Trudy Obshchestva lyubiteley rossiyskoy slovesnosti pri Imperatorskom Moskovskom universitete. Chast' devyataya. M. 1817 g. v Univ. tip. v 8 134 i 89 str. [Proceedings of the Society of Lovers of Russian Literature at the Imperial Moscow University. Part nine. Moscow 1817 at the University printing house in 8th degree 134 and 89 pp.]. *Syn otechestva*. 44 (10). p. 148.
45. Zhukovsky, V.A. (1818) Ovsyanyy kisel' <primechanie> [Oatmeal jelly <note>]. *Syn otechestva*. 44 (11). p. 190.
46. Anon. (1819) Novosti literaturnye <Orleanskaya deva> [Literary news <The Maid of Orleans>]. *Syn otechestva*. 54 (22). pp. 136–137.
47. Anon. (1815) Literatura <Stikhotvoreniya Vasiliya Zhukovskogo> [Literature <Poems by Vasily Zhukovsky>]. *Russkiy invalid*. 23rd October. p. 1.
48. Anon. (1815) <Bez zaglaviya. Stikhotvoreniya Vasiliya Zhukovskogo> [Untitled. Poems by Vasily Zhukovsky]. *Severnaya pochta*. 23rd October. p. 1.
49. Zhukovsky, V. (1816) Stikhotvoreniya Vasiliya Zhukovskogo. Chast' I. S.P.b. V Medits. tip. v 4 247 str. [Poems by Vasily Zhukovsky. Part I. St. Petersburg. At the Medical printing house in 4th degree 247 pp.]. *Syn otechestva*. 27 (3). pp. 112–113.
50. Zhukovsky, V. (1818) Stikhotvoreniya Vasiliya Zhukovskogo. Izdanie vtoroe. Tri chasti. S.P.b., 1818, v tipografii Imperatorskogo Vospitatel'nogo doma. V 8. V 1 chasti 194, vo 2307, v 3 232 str. [Poems by Vasily Zhukovsky. Second edition. Three parts. St. Petersburg, 1818, at the printing house of the Imperial Orphanage. In 8th degree. In part 1 194, in part 2 307, in part 3 232 pp.]. *Syn otechestva*. 45 (18). p. 225.
51. Anon. (1816) Perevody v proze V. Zhukovskogo. Chast' I. Povesti. Moskva 1816, v Univ. tip., v 8 294 str. [Prose translations by V. Zhukovsky. Part I. Stories. Moscow 1816, at the University printing house, in 8, 294]. *Syn otechestva*. 31 (29). p. 109.
52. Anon. (1817) Raznye izvestiya <Perevody v proze V. Zhukovskogo> [Various news <Prose translations by V. Zhukovsky>]. *Syn otechestva*. 37 (16). pp. 154–155.
53. Anon. (1818) "Opyty v proze" Vasiliya Zhukovskogo. M. 1818, v tip. Selivanovskogo, v 8, 234 str. ["Experiments in prose" by Vasily Zhukovsky. Moscow 1818, at the printing house of Selivanovsky, in 8, 234 pp.]. *Syn otechestva*. 47 (27). pp. 55–56.

54. Anon. (1815) <Bez zaglaviya. "Sobranie obraztsovykh russkikh sochineniy i perevodov v stikhakh"> [Untitled. "A collection of exemplary Russian works and translations in verse"]. *Severnaya pochta*. 5th June. p. 2.

55. Anon. (1815) *Sobranie obraztsovykh russkikh sochineniy i perevodov v stikhakh*. Izdannoe Obshchestvom lyubiteley otechestvennoy slovesnosti. Chast' I. S.P.b. 1815. V Medits. tip. v 8 339 str. [A collection of exemplary Russian works and translations in verse. Published by the Society of Lovers of Russian Literature. Part I. St. Petersburg 1815. At the Medical printing house in 8, 339 pp.]. *Syn otechestva*. 22 (22). pp. 104–105.

56. *Russkiy invalid*. (1817) *Vnutrennie izvestiya* [Domestic news]. 7th January. p. 1.

57. *Russkiy invalid*. (1818) *Vnutrennie izvestiya* [Domestic news]. 23r April. p. 1.

58. Anon. (1817) *Protokol 15-go zasedaniya, obyknovennogo* [Minutes of the 15th meeting, regular]. *Trudy Obshchestva lyubiteley rossiyskoy slovesnosti pri Imperatorskom Moskovskom universitete. Letopisi Obshchestva*. 2 (8). pp. 28–33.

59. Anon. (1817) *Otchet ob uprazhneniyakh i deystviyakh Obshchestva lyubiteley rossiyskoy slovesnosti* [Report on the exercises and actions of the Society of Lovers of Russian Literature]. *Trudy Obshchestva lyubiteley rossiyskoy slovesnosti pri Imperatorskom Moskovskom universitete. Letopisi Obshchestva*. 2 (8). pp. 212–220.

60. Anon. (1818) <Bez zaglaviya> [Untitled]. *Severnaya pochta*. 16th October. p. 2.

61. Anon. (1818) S.P. *Vnutrennie izvestiya* [S.P. Domestic news]. *Russkiy invalid*. 18th October. pp. 1–2.

62. Anon. (1818) *Uchenye, blagotvoritel'nye i drugie obshchestva* [Scientific, charitable and other societies]. *Syn otechestva*. 49 (42). p. 181.

63. Anon. (1819) *O sobranii Akademii Rossiyskoy 21-go sentyabrya 1818 g.* [On the meeting of the Russian Academy on September 21, 1818]. *Izvestiya Rossiyskoy Akademii*. 7. pp. 123–126.

64. <Gnedich, N.I.> (1816) *O vol'nom perevode Byurgerovoy ballady "Lenora"* [On the free translation of Bürger's ballad "Lenore"]. *Syn otechestva*. 31 (27). pp. 3–22.

65. <Griboedov, A.S.> (1816) *O razbore vol'nogo perevoda Byurgerovoy ballady "Lenora"* [On the analysis of the free translation of Bürger's ballad "Lenore"]. *Syn otechestva*. 31 (30). pp. 150–160.

66. <Merzlyakov, A.F.> (1818) *Pis'mo iz Sibiri* [A letter from Siberia]. *Trudy Obshchestva lyubiteley rossiyskoy slovesnosti pri Moskovskom universitete*. 11. pp. 52–70.

67. Iezuitova, R.V. (1978) *Ballada v epokhu romantizma* [The ballad in the era of Romanticism]. In: *Russkiy romantizm* [Russian Romanticism]. Leningrad: Nauka. pp. 138–163.

68. Kyukhelbeker, V.K. (1817) *Vzglyad na nyneshnee sostoyanie russkoy slovesnosti* [A look at the current state of Russian literature]. *Vestnik Evropy*. 95 (17/18). pp. 154–157.

69. Uvarov, S.S. (1815) *Otvet g. Uvarova na pis'mo g. Kapnista ob ekzametre* [Mr. Uvarov's response to Mr. Kapnist's letter about the hexameter]. In: *Chteniya v Besede*

lyubiteley russkogo slova [Readings at the Colloquy of Lovers of the Russian Word]. Part 17. St. Petersburg: Pri Senatskoy tipografii. pp. 47–67.

70. Anon. (1814) Pis'mo k I. M. M. A. o sochineniyakh g. Murav'eva, izdannykh po ego konchine. Moskva. 1810 [A letter to I.M.M.A. about the works of Mr. Muravyov, published posthumously. Moscow. 1810]. *Syn otechestva*. 16 (35). pp. 87–116.

71. Egunov, A.N. (2001) *Gomer v russkikh perevodakh XVIII–XIX vekov* [Homer in Russian Translations of the 18th–19th Centuries]. Moscow: Indrik.

72. Zapadov, V.A. (1999) "Russkie razmery" v poezii kontsa XVIII veka ["Russian Meters" in the Poetry of the Late 18th Century]. In: *XVIII vek* [The 18th Century]. Sb. 21. St. Petersburg: Nauka. pp. 391–400.

73. Kapnist, V.V. (1960) *Sobranie sochineniy: v 2 t.* [Collected Works: in 2 vols]. Vol. 2. Moscow; Leningrad: AS USSR.

74. Vostokov, A.Kh. (1817) *Opyt o russkom stikhoslozhenii* [An Essay on Russian Versification]. St. Petersburg: V Morskoy tip.

75. Batyushkov, K.N. (1816) O vliyanií legkoy poezii na obrazovannost' yazyka [On the influence of light poetry on the education of language]. *Trudy Obshchestva lyubiteley rossiyskoy slovesnosti pri Imperatorskom Moskovskom universitete*. 6. pp. 35–62.

76. Grech, N.I. (1817) Obozrenie russkoy literatury 1815 i 1816 godov (Okonchanie) [A review of Russian literature of 1815 and 1816 (Conclusion)]. *Syn otechestva*. 35 (2). pp. 55–67.

Информация об авторе:

Киселев В.С. – д-р филол. наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: kv-uliss@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

V.S. Kiselev, Dr. Sci. (Philology), head of the Department of Russian and Foreign Literature, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: kv-uliss@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 20.07.2025.

The article was accepted for publication 20.07.2025.

Original article
UDC 821.161.1
doi: 10.17223/24099554/24/8

"Khozhenie to the Russian Land": The image of Kherson Province in Nikolai Gogol's *Dead Souls* (1842) and in Alexander Schmidt's *Materials for the Geography and Statistics of Russia: Kherson Province* (1863)

Alina V. Ilinykh¹
Nataliya V. Khalina²
Tatiana V. Chukanova³

^{1, 2, 3} Altai State University, Barnaul, Russian Federation

¹ rouze18@mail.ru

² nkhalina@yandex.ru

³ chukanova.64@mail.ru

Abstract. This article explores the construction of the artistic and essayistic image of Kherson Province in Nikolai Gogol's *Dead Souls* (1842) and in Alexander Schmidt's *Materials for the Geography and Statistics of Russia: Kherson Province* (1863). In Gogol's narrative, Kherson Province emerges as a travestied 'paradise' space, conveyed through corresponding linguistic representations. Schmidt, through derivational sequences, outlines the mechanism by which the everyday space of the Kherson steppes – or the wild steppe – transforms into a non-hostile territory, a process dominated by the movement "towards a civil order." The use by both Gogol and Schmidt of individually "edited" versions of the Old Russian genre of *khozhenie* (a walking, or pilgrimage narrative) allows the authors to reconstruct the image of Southern Russia. They portray its genesis as a component of "Holy Russia" – the inner form of the language that constitutes a thinking personality of the Russian Empire.

Keywords: "khozhenie" (pilgrimage), Nikolay V. Gogol, *Dead Souls*, Alexander Schmidt, Kherson Province, semantic derivation, derivational sequences, predicative categorization of nation mental space, place image, imagology

For citation: Ilinykh, A.V., Khalina, N.V. & Chukanova, T.V. (2025) "Khozhenie to the Russian Land": The image of Kherson Province in Nikolai Gogol's *Dead Souls* (1842) and in Alexander Schmidt's *Materials for the*

Geography and Statistics of Russia: Kherson Province (1863). Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies. 24. pp. 164–185. doi: 10.17223/24099554/24/8

Научная статья

doi: 10.17223/24099554/24/8

**«Хождение по Земле Русской»: образ
Херсонской губернии в «Мертвых душах» (1842)
Н.В. Гоголя и в «Материалах для географии
и статистики России. Херсонская губерния» (1863)
А.О. Шмидта**

Алина Валентиновна Ильиных¹

Наталья Васильевна Халина²

Татьяна Викторовна Чуканова³

^{1, 2, 3} *Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия*

¹ *rouze18@mail.ru*

² *nkhalina@yandex.ru*

³ *chukanova.64@mail.ru*

Аннотация. Освоение «новых» территорий – сложный процесс не только в государственно-экономическом, но и в семиотико-семантическом плане: ранее «чужие» территории должны были начать идентифицироваться для населения как «свои». Необходима имагологическая работа, способствующая выработке эмоциональной эмпатии новых территорий и их семантическому переходу из статуса «неповседневного» в статус «повседневного, коммуникативно обыденного». В качестве семантически осваиваемых и присваиваемых в XIX в. Российской империей территорий берутся Херсонская губерния и Крым. Изменению их имагологического статуса способствуют художественные и очерковые нарративы, примерами которых являются «Мертвые души» (1842) Н.В. Гоголя и «Материалы для географии и статистики России. Херсонская губерния» (1863) А.О. Шмидта. Херсонский сюжет романа Гоголя представляет собой художественный итог немногим более чем 70-летнего существования в пределах Российской империи новой административной единицы на порубежных территориях Северного Причерноморья и Приазовья – Новороссийской губернии, или Новороссии. К середине 1830-х гг. крымское пространство должно было стать для жителя Российской империи реальностью его обыденной жизни (Alltag) и элементом его повседневности

(Alltäglichkeit). Чичиковской «деловой проект» в «Мертвых душах» позиционируется Гоголем как способ «оповседневнивания», сведения к исподу «крымской рациональности» посредством комической обработки идей 'греческого проекта' Екатерины II, реализуемого через присоединение Крыма, благодаря чему Россия получала свою долю античного наследства и возвращалась туда, где брало начало русское христианство, принятое в древнем Херсонесе, в память о котором был назван вновь построенный Херсон. Херсонская губерния становится центральным предметом в очерковом исследовании А.О. Шмидта. В «Историческом введении» книги воссоздается «неповседневная реальность» Херсонской губернии. Номинацией данной территории становится обозначение 'Херсонские степи', характеризуемое как «узел многих разнохарактерных и обширных пространств». В качестве единиц измерения территории автором берутся 'пространство' и 'страна'. В повествовании Н.В. Гоголя рисуется облик Херсонской губернии как травестируемого 'райского' пространства, представленного репрезентантами-эмпативами (маркерами травестийной эмпатии): 'херсонский помещик', 'умершие души', 'мертвые души', 'счастливое переселение', 'настоящий херсонский помещик', 'херсонские деревни', 'земли в Таврической и Херсонской губерниях', 'Чичикова слободка', 'сельцо Павловское' 'в Херсонскую их!' и т.д. В очерковом нарративе А.О. Шмидта акцент делается на истории херсонской степи как великого пути, представленного лингвоментальными конструктами: 'естественный путь в Европу всех кочевых племен Азии', 'станция временного сидения до сдвигения другими выходами'; 'узел многих разнохарактерных и обширных пространств' и т.д. Для воссоздания образа Южной Руси Н.В. Гоголь и А.О. Шмидт используют древнерусские аллюзии (образ Земли Русской), частью которых выступают реминисценции средневекового жанра хождения, моделирующие образ Святой Руси. Это позволяет внести в описание социально-исторической повседневности сакральный оттенок.

Ключевые слова: хождение, Н.В. Гоголь, «Мертвые души», А.О. Шмидт, Херсонская губерния, семантическая деривация, деривационные последовательности, предикативная категоризация ментального пространства нации, образ места, имагология

Для цитирования: Ilinykh A.V., Khalina N.V., Chukanova T.V. «Khozhenije to the Russian Land»: the Appearance of the Kherson Province in *The Dead Souls* (1842) by Nikolay Gogol and in *The Materials for Geography and Statistics of Russia. Kherson province* by Alexander Schmidt (1863) // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 164–185. doi: 10.17223/24099554/24/8

In June–July of 1835, following his visit to relatives in Malorossiia (Little Russia), Gogol went on a trip to the Crimea, after which he began to work on *Dead Souls*. This is confirmed in a letter dated October 7, written upon his return to St. Petersburg. In it, while also requesting that Pushkin send back a comedy he had submitted for the poet's feedback (as he was in urgent need of money and had to deliver the play to the actors), Gogol announced, "I have begun to write *Dead Souls*. The plot has expanded into a very long novel and, it seems, will be quite amusing. But now I have halted at the third chapter. I am seeking a good informant with whom I can become briefly acquainted. I want to show in this novel, if only from one perspective, all of Russia" [1. P. 375].

Earlier, in a letter from Poltava dated July 15, Gogol had already hinted at the creative ferment spurred by his travels. Writing to Vasily A. Zhukovsky, he asked the poet to petition the Empress to retain his associate professorship in the Department of General History at St. Petersburg University, which was in jeopardy due to his absence during the Crimean trip – a journey he claimed was necessary to restore his health. In the same letter, the writer-professor described the abundance of ideas generated by his voyages through the southern Russian territories, "A great many plots and plans accumulated during my travels, so that if not for the hot summer, I would have now filled a great deal of paper. But the heat inspires a terrible laziness, and only a tenth has been committed to paper and yearns to be read to you" [2. P. 369–370].

The plot of Gogol's "very long novel" can be seen as an artistic reflection on the historical development of the Southern Russian borderlands. Chronologically, it represents a culmination of just over seventy years of existence for the Novorossiysk province (Novorossiia) – a new province carved from the Northern Black Sea and Azov regions that had been incorporated into the Russian Empire. This period began with the manifesto of November 21, 1764, which established the Little Russian Collegium. This act effectively abolished the restoration of various ancient rights of Malorossiia (Little Russia), returning it in the state of the Middle Ages. Furthermore, the "long novel" can also be interpreted as an analytical outcome of the more than fifty years following the absorption of the Crimean territories into the Russian Empire. This process was formally initiated in 1783, when Grigory A. Potemkin drafted the document that formed the basis for

the supreme manifesto, "On the Acceptance of the Crimean Peninsula, Taman Island and the Entire Kuban Side under the Russian State." The manifesto was signed by Empress Catherine II on April 8 (19), 1783 [3].

By the mid-1830s, the Crimean space was becoming integrated into the Russian imperial consciousness as both a tangible reality of everyday life (Alltag) and a normalized element of daily routine (Alltäglichkeit) [4]. A clear indication of this process was the 1834 publication of the *Guide du voyageur en Crimée* by Charles Montandon, a Swiss native who had taken up permanent residence in Crimea [5]. The very existence of such a guidebook signified the positioning of Crimea as a direct component of the southern Russian territories. This, in turn, testified to two significant developments: a) its transition from the status of a remote or "uninhabited" imperial periphery to a categorized and accessible space for everyday travel; and b) its transformation into a conceptual "ligament" within the Russian daily life. This integration served as a "melting pot of rationality" for the "Russian peasant," ultimately contributing to an evolving mental map of the empire's space and borders for its citizens.

In his analysis of everyday life as a differentiating concept that distinguishes one phenomenon from another, Bernhard Waldenfels emphasizes its capacity to alter the boundaries and meanings of differentiable spheres based on place, time, environment, and culture [4]. Within this framework, the 'everyday' is interpreted as that which is familiar, orderly, and proximate. This stands in direct contrast to the 'non-ordinary,' which exists as the unusual, outside the habitual order, and the distant.

B. Waldenfels conceptualizes everyday life – encompassing everyday knowledge, politics, law, history, art, and even phenomena like "marching saints" – as a domain of changeable and variable rationality. This rationality is embodied in semantic, regularly recurring, and transparent relationships that operate across diverse fields and styles of rational thought. It is thus appropriate to interpret the 1830s as the period during which a distinct "Novorossiysk rationality" was formed, characterized by a process of pluralization and the acquisition of what might be termed a "Crimean (or ancient) crucible of rationality." In Waldenfels's conception of everyday life as a crucible of rationality, pluralization signifies that an infinite number of forms of irrationality are met by specific, historically shifting forms of rationality. This framework provides a basis for understanding the diversity of realities – conditionally named Malorossiyan (Little Russian) and Great Russian –

that collectively constituted a single geopolitical and geopoetic territorial integrity. The notion of this territorial and semantic integrity was emphasized in the document "Note on Malorossiya (Little Russia)" [6], prepared for Catherine II to justify the policy on the status of the Hetmanate. The "Note" argued that the Malorossiyan people had since ancient times been defined as directly Russian. It attributed their historical separation to the weakened power of the Grand Dukes of Kiev, which led the people into a state of bankruptcy and internal ruin, ultimately inflicting considerable damage on the interests of the Russian state.

Building upon Waldenfels's concept of everyday life as a process through which individuals and societies are formed and organized, we can identify a downward orientation in this movement, which Max Weber defined as "familiarization" – a process of settling in, accomplished through education, the mastery of traditions, and the reinforcement of social norms. In this context, Chichikov's adventure in Gogol's *Dead Souls* can be interpreted as a process of "informing" reducing to *the underside*¹ of "Crimean rationality." This rationality, which had been arbitrarily elevated to the status of the "innocent" and the "ancient," is subjected to a comic re-processing. The novel engages ironically with the ideas of Catherine II's 'Greek Project,' which envisioned the annexation of the Crimea. As Andrei Zorin notes, this ideology posited that with the Crimea, "Russia received its share of the ancient inheritance" and returned to the place where "Russian Christianity originated" [7. P. 100] – a reference to ancient Chersonesus, whose memory was evoked in the naming of the newly built city of Kherson [8. P. 81–82].

Accordingly, to achieve the objective of portraying the "underside" or the "underbelly" of Russia in *Dead Souls*, Gogol selects a narrative method rooted in the ancient tradition of the *khozhenie* – a "walking," or a narrative

¹ *The underside* in V.I. Dahl's *Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language* is explained as 'the side or plane of an object facing down to the ground; sometimes even the bottom or the base'. Semantically correlated and derived from this unit are the underclothes – in the underclothes, under the underclothes that exist; the bottom, on which, above which there are other objects / Underclothes. Iconography. A caftan under a cloak; colloquially: trousers, trousers, pantaloons, trousers; underwear – the underworld, the dwelling of sinful souls, hell, pitch, Tartarus, the underworld kingdom.

of a "traveler," "wanderer," "pilgrim," "skaska," or "embassy." This approach frames Russian artistic culture as a vivid reflection of a worldview with medieval antecedents, one that synthesizes political, moral, and artistic interests with the creative vision of the author.

Compositionally, pilgrimage and *khozhenie*¹ are distinguished by inserted episodes of legendary biblical content (not found in diplomatic and commercial walks), which correlate with geographical places (Kherson Province in *Dead Souls*), or with "shrines" and monuments of Christian culture, or, as in Gogol's case, with memories and symbolic reminders of antiquity. A clear example of this is Gogol's use of the names Themistocleous and Alcides for Manilov's sons.

The name 'Themistocleous' is a neologism formed by combining the name of Themistocles (c. 524–459 BC) – the Athenian statesman and commander of the Greco-Persian wars, a "founding father" of Athenian democracy who sought to establish Athens as a maritime power and who died in Asia Minor – with the letter 'jus' (Ј) from the Old Slavic alphabet. This letter, which denoted Old Slavic nasal vowels, lost its nasal quality around the tenth century. It is generally held that both the small jus (ЈѦ) and large jus (ЈѦ) derive from a specialized form of the Greek letter αλφα. In Russian, the small jus (ЈѦ) evolved into the modern letter 'Ya' (Я), while in Polish, its phonetic counterparts are represented by 'ę' and 'ą'.

In an attempt to demonstrate that the quality of his offspring's education corresponds to the gravitas of their classical names, the progressive father asks Themistocleous to name the most significant cities in France and Russia:

"Themistocleous!" said Manilov, addressing the older boy, who was making efforts to free his chin from the napkin the lackey had tied around it. Chichikov raised an eyebrow slightly on hearing this partly Greek name, to which, for some unknown reason, Manilov gave the ending "-us," but tried at once to bring his face back to its usual state. "Themistocleous, tell me, what is the best city in France?"

Themistocleous successfully demonstrates the required knowledge, for which Chichikov praises him highly: "The smarty! ", "such knowledge, at such an

¹ It is plausible to interpret Gogol's journey to the Crimea as a form of pilgrimage in its own right, not only to "get dirty in mineral mud," as an associate professor at the Department of General History of St. Petersburg University informs Zhukovsky in his letter dated July 15, 1835.

age!", "this child will have great abilities." In response, the grateful Manilov notes that this son, unlike his other son Alcides, who is less quick-witted, possesses a distinct set of talents. Manilov presents these talents as a suitable foundation for a future career in the diplomatic corps for Themistocl[us]es:

Oh, you still don't know him," responded Manilov, "he has an exceeding amount of wit. The younger one now, Alcides, this one is not so quick, but that one, as soon as he meets something, a bug or a gnat, his eyes suddenly start rolling; he runs after it and investigates it at once. I intend him for the diplomatic line. Themistoclous," he went on, again addressing the boy, "want to be an ambassador?" "Yes," replied Themistoclous, chewing his bread and wagging his head right and left.

The name of Manilov's second son, Alcides, also pays tribute to antiquity, though its significance is mythological rather than political. "Alcides" (from the Greek *alke*, meaning 'power') was the name borne by Hercules before his encounter with the Pythia. At birth, Hercules was given the name Palemon. In mythological tradition, he is often referred to as Alcides, denoting his descent from his grandfather, Alcaeus. This patronymic was established to affirm his earthly lineage through his nominal father, Amphitryon, the next in seniority, despite the belief that his true father was Zeus. Thus, the hero's full, original name was Palemon Alcides. The name "Hercules" itself, meaning 'glorified by Hera,' was bestowed upon him later by the prophetic priestess of the Delphic Oracle at the temple of Apollo on the slopes of Mount Parnassus.

The recognition of the ancient motif in *Dead Souls*, which ostensibly provides a degree of ontological security to the Russian way of life, simultaneously calls into question not so much its reasonableness as its very intelligibility. According to the postulates of theories of "everyday-unimportant", daily life must possess its own distinct character, wisdom, and experiential knowledge, "Everyday life has its own experience and its own wisdom, its own face, its foresight, its repeatability, but also its strangeness, its weekdays and its holidays" [9. P. 72]. Within this framework, the human is conceived as an "unfixed" animal¹ existing "on the threshold between the

¹ Waldenfels, in order to confirm his thesis that "human culture is unthinkable without contrasting the everyday and the innocent," appeals to the "life experience" of animals, "If, for example, we allow ourselves to speculate a little about the daily life of a bee or a lion, then, naturally, the question arises: what is the daily life of a bee or a lion? The animal, according to all our experience, is 'rigidly fixed' through instinct and a genetic program. It has its own environment, within the boundaries of which its behavior

ordinary and the unusual", where these two states relate to one another as foreground and background, or as front and back.

For Gogol, the fundamental flaw of the "Novorossiysk policy" lies in its attribution of a metamorphosis – worthy of a Greek mythological plot and transforming individuals from "scoundrels into excellent subjects" – solely to the fact of their resettlement to the Kherson lands. This logic effectively assigns these territories a paradisiacal status. As Vladislav Krivonos suggests, translating this idea into the language of Christian theology implies that "the very nature of man and his being 'in the resurrection' will radically change" [10. P. 375]. However, such a transcendence of the threshold between the ordinary and the unusual, and the emergence onto a "new earth" marked as Edenic, can only occur, within the novel's logic, "on the model of the resurrection of the dead, who, thanks to Chichikov's ingenuity, became as if alive" [8. P. 81].

Scholars have suggested that in designing his plot, Gogol, drawing on his background as a former employee of the Department of General History at St. Petersburg University, may have adapted a practice from Roman military history. It is documented that during the financing of military campaigns, Caesar would distribute pay intended for soldiers who had died in previous engagements to the surviving legionnaires; this fund was known as *mortuus animarum*, or "dead souls."

As an epic narrative, the work was distinguished by its schematic features, which informed the reader – a participant in the creation of a collective history – about real historical events. This generic convention compelled the author-narrator to strive for an accurate depiction of occurrences in which he was a participant or witness. Within these narrative "sketches" (*khozhdeniya*), the writer's moral character, literary talent, and depth of thought were made visible. The level of imagery – that is, the capacity to verbally reconstruct the essence of an event and thereby elicit a corresponding reflective response aligned with the "worldview of the modern era" (Viktor V. Vinogradov) – is determined, according to Sofiya P. Lopushanskaya, by the "language of a thinking personality" [11]. The core of this "language of a thinking personality," as the scholar argues, dictates the co-existence of concrete and abstract spatial representations within language,

and perception are carried out. Is it a holiday for a cat when it basks in the sun? Does she transform herself by indulging in 'endless daydreams'?"

as well as the predominance of either figurative or rational principles [11–14]. Thus, the figurative concretization of described events serves as a method for supplementing or compensating for an underdeveloped system of abstract thinking [14].

The categories of space and time are fundamental to non-objective reality, which holds significant meaning for everyday experience [15]. The study of "imaginary" and "real" spatial images or earthly space enables scholars to identify the "habits of consciousness" characteristic of people in antiquity and the Middle Ages, revealing their inherent modes of assessing reality. In both Western and Russian medieval thought, the concept of space is inextricably linked to the relationship between the earthly and the otherworldly, the mundane and the sacred, the familiar and the unknown. Consequently, Gogol's use of the mental scenario of "khozhenie" as a mental framework to transcribe real events and relations of his own era allows him to employ "mental moves" that constitute these "habits of consciousness," thereby predisposing to a favorable and immediate engagement with the literary material. The *khodzhenie* genre offers several distinct advantages for this purpose: 1) if the reader trusts the writer, they are more likely to accept the writer's assessment of reality and the veracity of the events described; 2) an intensified focus on a particular facet of life allows the reader to diversify their own "habits of consciousness"; 3) the genre employs the traditional stylistic device of "stringing," a feature common in folk art used to describe a complex object by first naming a larger entity, followed by a chain of progressively smaller components; 4) when describing objects and events of particular importance, the travel writer could deviate from a simple style and adopt a more elevated register, utilizing complex syntax, rhythmic speech patterns, and alliteration.

Within the *khozhenie* genre, everyday life – the writer's presence within an event, their placement of themselves within a specific, real locus that is juxtaposed with both other mundane spaces and a non-ordinary realm – becomes the signifier for those extraordinary spaces. This is achieved by transforming ordinary actions into substitutes that function as singular signs: copies, reproductions, or symbols of a higher reality [16]. Gogol adheres to the established conventions of the "walking" genre in the introduction to *Dead Souls*. As per these conventions, the introduction is designed to: a) acknowledge the tastes and expectations of his contemporaries; b) secure the reader's trust; c) assure the public of piety and moral standing;

d) assert the truthfulness of his narrative, convincing the audience that it is not a work of fiction; e) persuade the reader that everything recounted was witnessed directly by the author "with his own sinful eyes":

Through the gates of the inn in the provincial town of N. drove a rather handsome, smallish spring britzka, of the sort driven around in by bachelors: retired lieutenant colonels, staff captains, landowners possessed of some hundred peasant souls – in short, all those known as gentlemen of the middling sort. In the britzka sat a gentleman, not handsome, but also not bad-looking, neither too fat nor too thin; you could not have said he was old, yet neither was he all that young. His entrance caused no stir whatever in town and was accompanied by nothing special; only two Russian muzhiks standing by the door of the pot-house across from the inn made some remarks, which referred, however, more to the vehicle than to the person sitting in it.

It is from the gates of a hotel in the provincial city of "N" that the journey – a quest for the Russian version of an "earthly paradise" – begins. In Gogol's work, this paradise is travestied through the space of Kherson Province [8, 16]. "In the case of Kherson Province, the issue is not merely one of a different scale of travestification, affecting the poem's entire world-image, but also of its different purpose, which is not limited to the ironic reduction of the narrative's subject" [8. P. 8]. According to Krivonos, the image of Kherson Province combines the properties of Arcadian¹ and eschatological space. It is a realm where the "peasants" – the "dead souls" acquired by Chichikov – having completed one cycle of existence, are poised to begin another. This new life receives a definitive assessment: "<...> though they are scoundrels now, upon being resettled to a new land, they may suddenly become excellent subjects" [17. P. 155].

The toponyms featured in the travestied paradise of "Kherson Province" are drawn from the everyday reality of Gogol's Crimean-Poltava journey in 1835. It is plausible that certain plot developments, and even the name of the protagonist, emerged during this trip, as Gogol passed through the lands of the neighboring Kherson Province after departing his native Vasilevka in the Poltava region [18]. Supporting this connection, the Kherson

¹ In *Evenings on a Farm near Dikanka*, the Crimean space is endowed with both Arcadian and eschatological characteristics. This treatment actualizes the mythologem of 'Arcadia as a place that death has already visited.'

Province is home to the Chichikleya River, a tributary of the Bug, on whose banks numerous settlements are situated. Among them is the large village of Novo-Pavlovka, which likely existed in the area as early as 1835; it is documented as a major settlement in the "Lists of Populated Places of the Russian Empire" from the 1860s and on military-topographic maps from the 1850s–70s. Adjacent to Chichikleya was the ancient Tatar fortress of Chikchakly, marked on maps from the 16th and 18th centuries. The Tatar word "Chik" signifies "edge," "limit," or "border" – a frontier. Historical works, such as that of Prince Myshetsky, refer to Chikchakly as a great city of the past. The 20-verst-long valley of the Chichikleya River was renowned for its fertile chernozem soils, a fact well-known in the capital; advertisements for the sale of "Chikchakli black earth" appeared in the *St. Petersburg Gazette* during the 1830s.

The origin of the protagonist's surname can be traced to Gogol's own writings. In his book *All Sorts of Things*, among the riddles he recorded, is the following, "Bigla chechitochka mimo moi voritochka, vibig chichik, – vona y stala" [19. P. 516]. Here, *chechitka* is a small bird of the finch family, and *chichik* is the male of this species. Simultaneously, Arkadiy Kh. Goldenberg situates the central motifs of Gogol's work within the context of Italian culture, correlating the protagonist's existential motif with Italian lexical units: *ciccia* (slang for 'body'), *ciccione* (slang for 'fat man'), and *cicalone* ('chatterbox') [19, p. 137]. This interpretation suggests that the character's name hints at a corporeal, carnal essence – a motif that resonates with the Rabelaisian concept of the material bodily lower stratum. This concept is associated with a decentralized universe, where the relative center shifts from the heavens to the earth, a place that, according to medieval cosmology, was the farthest removed from God: the underworld [21].

The administrative history of Kherson Province began on May 15, 1803, when, by a decree from Alexander I and the Senate, the provincial capital and administration were transferred from Nikolaev to Kherson, and the region was officially renamed Kherson Province. This reorganization followed an earlier decree on October 8, 1802, which divided Novorossiysk Province into Yekaterinoslav, Nikolaev, and Taurida provinces, with Kherson County initially assigned to Nikolaev Province. One of the first comprehensive descriptions of the region, *Materials for the Geography and Statistics of Russia: Kherson Province* (1863) [22], was compiled by Alex-

ander Ottovich Schmidt, a Russian military commander, General of Infantry, and veteran of the 1855 Crimean campaign. In 1859, the General Staff assigned Schmidt to conduct a statistical survey of Kherson Province, which military strategists considered a potential theater of future operations. Throughout the year, Schmidt studied the region's economy, topography, and settlements, spending at least two subsequent years editing the collected material. In 1863, he delivered a four-hour report on his findings at a plenary session of the General Staff, after which his work was published. For this achievement, Alexander Schmidt was awarded the Order of St. Vladimir, 4th Class, and promoted to the rank of Colonel in 1864. Upon commencing his assignment to compile a descriptive account of Kherson Province – a work the author himself categorized as an essay – Schmidt first acquainted himself with the region's existing literature and printed sources. This preliminary research aimed to grasp the current situation and identify the most pressing concerns for the local population. Subsequently, he undertook extensive travels throughout the province to verify and supplement his findings, as well as to investigate issues for which sufficient data was lacking or which emerged from observing the diverse living conditions of the inhabitants [21]. In terms of narrative structure, the *Materials* align more closely with later travelogues, such as Afanasy Nikitin's *Khozhenie (A Journey Beyond the Three Seas)*. These works detail the impressions gathered from visiting foreign territories – for Nikitin, with specific commercial objectives – and exhibit a pronounced reliance on firsthand experience. Judging by the content of the *Materials'* "Historical Introduction," the purpose of Schmidt's survey of Kherson Province was to assess the readiness of the Kherson steppe lands, and particularly of the peoples inhabiting them, for the development of civil society and the establishment of trade relations with various countries for "the mutual exchange of their products" [23]. Regarding the region's potential, Schmidt arrives at a definitive conclusion: endowed with the functional status of a "node of spaces," the Kherson steppes possess, under more favorable circumstances, clear prospects for a prosperous future.

Historically, however, this very status as a "node of spaces" proved detrimental to the peoples inhabiting the Kherson steppe. As Schmidt notes, "The Kherson steppes were always open to the predation of all nomadic tribes of Asia, serving as a natural route for them to Europe."

He further observes that "any cause which impacted the movement of peoples in any of these regions necessarily affected the inhabitants of the Kherson steppes; in short, this factor made the Kherson steppes a station through which peoples migrated and in which they settled only temporarily, until they were displaced by other newcomers." Schmidt employs a series of predicate attributes to construct for the reader an image of the Kherson steppes that corresponds to their historical function for the peoples who traversed and temporarily occupied these territories. He characterizes the region as *"the natural path to Europe for all nomadic tribes of Asia; a temporary station for settlement before displacement by other migrants; and a hub connecting many diverse and vast spaces."*

Elena A. Eltanskaya defines spatial relations, in their most general form, as the juxtaposition in space of an object, action (event), or feature against a landmark, or locum [23]. In Schmidt's *Materials on Kherson Province*, the constructed model of the region's historical existence can be considered such a locum. Schmidt observes that the history of these lands, until a recent period, is not the history of a single people achieving historical existence and development (as in the histories of Western or mountain-dwelling peoples). Rather, it is "the history of a great route – a road along which many peoples passed, and if they halted in their movement, it was only temporarily, to rest, until the invasion of new barbarians" [22]. In the 18th century, the territory that would become Kherson Province was little more than a theater for predatory raids and "mutual devastation of the neighboring peoples, and was known as the 'wild field' " [22]. Regarding its "historical heritage," the landscape is scattered with countless burial mounds – silent graves of historical actors whose names have been lost. Schmidt effectively offers his own interpretation of the steppe's "wildness": it is the silence of history, which has absorbed countless human lives and, in doing so, devalued the essence of human existence, rendering it meaningless. This meaninglessness is physically imprinted on the land, with the steppe littered "at almost every step" with nameless graves of history's "makers," who have vanished without a trace. Beyond the faint ruins of a few settlements, there are practically no traces of the former inhabitants. These historical monuments make the Kherson steppes, in Schmidt's view, an "extensive cemetery of numerous and once-terrible peoples." This paints a rather gloomy and ominous image of the region's past: a cemetery of formidable peoples. From this perspective, the steppes themselves become a

place resembling the underworld – a realm into which not merely sinful souls, but entire sinful peoples descend for purification. Schmidt concludes that the history of Kherson Province as a whole, at least until the middle of the previous century, amounts to "nothing but a chronological reckoning of periodic invasions of peoples" [23].

In the "Historical Introduction," Schmidt reconstructs the "unimaginable reality" of everyday life in the 19th-century Kherson Province. The historically accurate designation for this territory is the 'Kherson Steppes,' which, in semiotic terms, should be interpreted as "a node of many diverse and vast spaces." Schmidt selects the units 'space' and 'country' as the optimal descriptors and measures for the territory. In Dahl's *Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language* (1863), the word *space* (*prostranstvo*) belongs to the derivational nest of *prostornyi* ('extending, outstretched; vast, spacious, voluminous, large in size'). The term 'space' itself is defined as the state or property of that which extends or occupies a place, as well as the place itself – the expanse, distance, breadth, and depth considered in three dimensions. Within this derivational field, the unit denoting a large-scale sovereign entity is particularly noteworthy. Natalya E. Yastrebova observes that the parameter of width is more axiologically significant in the Russian perception of space than that of length. This "tendency" toward expansion appears to be a defining characteristic of the Kherson steppes, "The Kherson steppes, extending eastward beyond the Dnieper, are constantly expanding, merging with the vast steppes adjacent to the Caspian Sea, and extend far into Central Asia" [24]. This natural ontology of the steppes – their inherent properties of "expanding" and "stretching" – is consonant with a Russian perception of space that privileges lateral movement, which can be done without defining a clear vector of movement, direction, "where." An orientation toward width (latitude) does not imply a purely utilitarian relationship to space, that is, viewing it merely as a means of subsistence [25]. "The space that Russians engage with is alive. The very act of movement is a reward for a Russian person for traveling somewhere, for being in space, or for simply contemplating it" [20].

The second differentiating term for the lands of Kherson Province is "country" (*strana*), used here in the sense of "locality." This usage aligns with its definition in Dahl's *Explanatory Dictionary*, where the lexical unit "country" is explained as a "region," "expanse of land," "locality," "district," "area," "land," "state," or "part of the world." In the *Materials*, the lexeme "country" functions within specific contexts. For instance, Schmidt

writes, "What the country (emphasis added) that constitutes the present coastal strip of Kherson Province was like in reality, and in the most remote historical times, we find evidence in the legends of Herodotus of Halicarnassus, the father of history and the first geographer, who himself visited this country and described it 445 years before the Christian Era" [22]. He further notes, "But the geographical location of this country hindered the development of civil society" [24]. Finally, he argues that the region's features supported various livelihoods, "These features of the steppes fully contributed to the development of cattle breeding, fishing, and animal husbandry, and the rich land rewarded the labors of the farmer a hundredfold... thus, within the country itself lay all the conditions for the Nomads' transition to a settled way of life" [21].

The Kherson steppes, or the "wild field," exhibit a unique characteristic in their functional history – Schmidt defines as the "history of the great way." They existed predominantly in a "here-and-now" phase, a realm of everyday life and immediate space, lacking a durable, non-permanent dimension that would allow the past and future to converge in the present. This convergence is essential for leaving a lasting mental trace that guarantees the continuity between past and future.

By combining the categories of 'space' and 'country' within a historical focus, Schmidt delineates the mechanism by which the everyday space of the Kherson steppes – the wild field – transitioned into a non-hostile space, a movement toward "civil order" (citizenship). In this framework, the everyday space of the future "civic structure" becomes the signified non-everyday space. In the culture of the Russian Middle Ages, such non-linear spaces guaranteed the very existence of everyday life by providing the material for its construction, meaning, and interpretation; they reflected, preserved, and symbolically represented daily existence in special ways [16]. In the second introductory fragment of the *Materials*, "A Brief Historical Look at the Kherson Province," Schmidt enumerates the events that transpired in the steppes. The objective of this calculus is to simulate the "uninhabited space" of the wild steppe, or the great nomadic route. Here, everyday life should be understood as a "fusing rationality," in Waldenfels' terminology, "Along with the feverish (up-and-down) processes of melting and remelting, which are threatened by extreme forms of complete solidification and liquefaction, there is also a horizontal movement of the compound, 'fusion'" [4]. Schmidt's event calculus represents this "fusion" of the

life activities of various peoples, thereby constructing a living, extensive history of the Kherson steppes. It recounts the historical existence of peoples who did not merely "sit" awaiting displacement, but who settled there to procreate and actively create the history of their lives.

Within his essay, Schmidt highlights several events as particularly significant for constructing the heterogeneous space of 'Southern Russia': the Central Asian revolution, the establishment of Greek settlements (colonies), the appearance of the Slavs, and the rise of the Zaporozhian Cossacks.

The northern shores of the Black Sea in the 12th century BC were inhabited by the Taurians and Cimmerians, the latter possessing a city described as "covered with clouds and fog." Schmidt notes, "In this misty distance, the imagination of the Greeks pictured the northern coast of the Black Sea, until the Ionian colonies that arose later took possession of its waters (c. 750 BC)" [22. P. 4]. The 5th-century BC writer Herodotus of Halicarnassus visited the region, providing valuable descriptions in his works. Drawing on Herodotus's accounts, Schmidt concludes that a revolution among Central Asian peoples in the 7th century BC displaced the warlike Scythians from the Caspian coast. They began to pressure the Cimmerians and, in pursuit of them, began to crowd the Cimmerian and in this persecution entered the borders of Media. The foundation of Greek settlements in the region dates to this same period. The earliest among them was Olbia, also known as "The Feast of the Borystheneates" (Meletopolis), which became a center for trade with the Scythians and the site of a palace for the Scythian king Scyles. Gradually, new Greek colonies arose, establishing trade networks that extended as far as Sicily.

Citing Becker's latest research from the 1860s, Schmidt identifies the locations of Greek colonies on the Kherson coast: Odessos on the left bank of the Tiligul estuary near present-day Troitskoye (Koblevo); Skopuli near the village of Dufinka; the Istrian harbor on the right bank of the Kuyalnik estuary; the Isiakov harbor at the site of modern Odessa; Fisk at the mouth of the Baraboy River; and Nikonium near the modern city of Ovidiopol on the Otarik tract. The names Odessos, Scopuli, Istrian, Isiakov, Fisk, and Nikonium thus constitute the Greek acoustic imprint on the Kherson steppes.

As Schmidt observes, it is difficult to determine precisely when the Slavs first appeared on the northern shores of the Black Sea. However, historical evidence suggests that the Kherson steppes were inhabited by Slavic peoples long before the historical beginning of Russian history. By the mid-

sixth century, information about these tribes and their locations becomes more definitive. According to Jornand, the numerous Venedi tribe was divided into two distinct groups: the Slavs and the Antes. The Slavs inhabited the territories from the upper Vistula River eastward to the Dnieper, while the Antes settled the Pontic steppes from the Dnieper to the Dniester River.

The Zaporozhian Cossacks represent a distinct entity within this series of historical developments. Schmidt describes it as a "remarkable institution," while also noting the conflicting historical opinions surrounding it. Its origins are linked to the Slavic-Byzantine narrative. The desire of Slavic populations to establish relations with the Byzantine Empire via the rivers flowing into the Black Sea was consistently thwarted by nomadic tribes invading the coastal steppes. In response to these predatory raids, southern Russia was compelled to maintain permanent military detachments for defense. Over time, these borderland populations evolved into a distinct military society, known by various names throughout different periods. The Mongol invasion of southern Russia caused significant disruption and realignment among its inhabitants. Subsequently, the region came under the banner of Lithuania, which extended its military power to the Black Sea to combat Russia's enemies. The Lithuanian princes, in turn, sought to consolidate their authority in the Russian lands by imposing elements of their own political structure. Long before this period, the rivers flowing into the Black Sea – the Dnieper, Bug, and Dniester – were inhabited by militant bands of South Russian warriors who engaged in or protected fishing and other local industries. To secure his conquests, the Lithuanian Prince Witold decided to formally organize these disparate groups. These bands, based in the river rapids and other inaccessible parts of the river valleys, were perpetually engaged in conflict with their predatory southern neighbors. The central stronghold of the Zaporozhian Host, also known as the Grassroots Army (a name derived from their location downstream from the Dnieper rapids), was the Sich. Historically situated on the Dnieper, the Sich relocated several times.

Following the union of southern Russia with Moscow, the Zaporozhian Sich pledged its allegiance to the Tsar. Since then, the history of the Sich became inextricably linked with the history of Little Russia, while the steppes themselves remained politically marginal. Schmidt constructs a dynamic historical narrative of the Kherson steppes by creating a living, mobile image that, in his words, "breathes a soul" into past events. This is

achieved through a derivational chain of concepts: *Zaporozhye is a wonderful institution – squads are ready to repel predatory raids of nomadic tribes – border population, which has received a military character - militant bands of wandering South Russian warriors, who produced or those who patronized fishing and other local crafts – The Grassroots army – the Sich – the Zaporozhian Sich – the history of the Sich – the history of Little Russia – the Cossacks.*

Despite the Cossacks' claim over the Kherson steppes, both the lands and their inhabitants remained in a state of obscurity, receiving little significant attention. It was only during the reign of Empress Elizabeth Petrovna that these steppes attained a formal political existence, which in turn defined their historical trajectory.

As previously noted, the level of imagery – defined as the capacity to verbally reconstruct an event in a manner consistent with the "worldview of the modern era" – is determined by the "language of a thinking personality" [11]. In this study, the image of Kherson Province is presented through descriptions that constitute an inversion of the Old Russian genre of *khodzhenie* (a walking/pilgrimage narrative). This inverted form is manifested in the fictional work *Dead Souls* (1842) by Gogol and the historical essay *Materials for the Geography and Statistics of Russia: Kherson Province* (1863) by Schmidt. The linguistic mentality of these writers can be understood through Svetlana R. Omelchenko's basic model of "the thinking subject – the process of thought – the object of thought," which delineates the subject's mental activity [25]. For both Gogol and Schmidt, the object of thought is Kherson Province. The process of comprehension, which reveals the logical and semantic connections between the subject and the object of thought, contributes to the formation of immanent, implicit predicate structures. The configuration of these structures, in turn, generates the image of the object itself.

In Gogol's narrative, Kherson Province emerges as a travestied 'paradise' space, represented through a series of referents including the 'Kherson landowner,' 'civil regulations and further types of Russia,' 'dead souls,' 'happy resettlement,' 'real Kherson landowner,' 'three-field farm,' 'happiness and bliss of two souls,' 'Kherson villages,' 'lands in the Taurida and Kherson guberniya,' 'Chichikova Slobodka,' 'in their Kherson!,' 'village of Pavlovskoye,' and the notion that 'soon there may not be a corner left in all

of Russia, not pledged to the treasury.' This conceptual space is ultimately framed as 'the dream [that] took Chichikov into its arms.'

In Schmidt's essay, the focus lies on constructing an image of the Kher-son steppe's historical existence. This is achieved by transforming the concept of its history as a "great way" – a concept articulated through linguistic constructs such as "*the natural path to Europe for all nomadic tribes of Asia*," "*a temporary station before displacement by other migrants*," and "*a node of many diverse and vast spaces*" – into a living history of the peoples inhabiting Novorossiia. Within this framework, historical events are fused into a coherent rationality that contributed to the development of civil society and the production of goods for exchange with other nations.

The use by both Gogol and Schmidt of individually adapted versions of the Old Russian genre *khozhenie* enabled them not merely to describe, but to reconstruct the image of Southern Russia. They portrayed its genesis as a constituent part of "Holy Russia" – conceptualized as the inner form of the language of a thinking personality, a citizen of the Russian Empire. It was in accordance with the meanings embedded in this linguistic consciousness that human actions, whether ordinary daily acts or extraordinary deeds, were interpreted within everyday spaces.

References

1. Gogol, N.V. (1940a) *Polnoe sobranie sochineniy v 14-ti tt.* [Complete Works in 14 volumes]. Vol. 10. Moscow; Leningrad: USSR AS. p. 375.
2. Gogol, N.V. (1940b) *Polnoe sobranie sochineniy v 14-ti tt.* [Complete Works in 14 volumes]. Vol. 10. Moscow; Leningrad: USSR AS. pp. 369–370.
3. Sevkrimrus.narod.ru. (n.d.) "*O prinyatii Krymskogo poluostrova, ostrova Tamana i vseya Kubanskoy storony pod derzhavu Rossiyskuyu*" [On the Acceptance of the Crimean Peninsula, Taman Island and the Entire Kuban Side under the Russian State]. [Online] Available from: <https://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/manifest.htm>.
4. Waldenfels, B. (1991) *Povsednevnost' kak plavil'nyy tigl' ratsional'nosti* [Everyday life as a melting pot of rationality]. Moscow: Progress. pp. 39–50.
5. Montandon, C.H. (1834) *Guide du voyageur en Crimée orné de cartes, de plans, de vues et de vignettes, et précédé d'une introduction sur les différentes manières de se rendre d'Odessa en Crimée*. Odessa: [s.n.].
6. The Prince Vorontsov Archive. (1882) *Zapiska o Maloy Rossii. O neporyadkakh, kotorye proiskhodyat ot chinovnikov Maloy Rossii* [A note about Little Russia. About irregularities which originate from the officials of Little Russia]. Vol. 25. Moscow. pp. 350–381.
7. Zorin, A. (2001) *Kormya dvuglavogo orla...: literaturnaya i gosudarstvennaya ideologiya v Rossii v posledney treti XVIII – pervoy treti XIX v.* [Feeding the Double-

Headed Eagle...: Literature and State Ideology in Russia in the Last Third of the 18th - First Third of the 19th Century]. Moscow: Novoe lit. obozrenie.

8. Krivonos, V. (2014) 'Khersonskiy' syuzhet v Mertyvykh dushakh Gogolya [The 'Kherson' plot in Gogol's Dead Souls]. *Slavic Almanac. The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies*. 20 (1). pp. 73–82.

9. Kosik, K. (1967) *Die Dialektik des Konkreten*. Frankfurt am Main: [s.n.].

10. Averintsev, S.S. (2006) *Sofiya – Logos* [Sophia – Logos]. Kiev: Dukh i Litera.

11. Lopushanskaya, S.P. (1996) Semanticheskaya modulyatsiya kak rechemyslitel'nyy protsess [Semantic modulation as a speech-thinking process]. *Bulletin of the Volga State University. Ser. 2, Philology*. 1. pp. 6–13.

12. Lopushanskaya, S.P. (1975) *Osnovnye tendentsii evolyutsii prostykh preteritov v drevnerusskom knizhnom yazyke* [The main trends in the evolution of simple preterites in the Old Russian book language]. Kazan: The Ministry of Education of the RSFSR. Kazan State Pedagogical Institute.

13. Lopushanskaya, S.P. (1990) *Razvitie i funktsionirovanie drevnerusskogo glagola* [Development and functioning of the Old Russian verb]. Volgograd: VPI.

14. Lopushanskaya, S.P. (2003) Kontseptual'noe yadro russkogo slova, funktsioniruyushchego v sovremennom tekste [The conceptual core of the Russian word functioning in a modern text]. In: *Problems of Speech Communication*. Saratov: [s.n.]. pp. 259–269.

15. Lopushanskaya, S.P. (ed.) (2000) *The Russian Verb: History and Current State*. Volgograd: Volgograd State University.

16. Bazhenova, O.A. (2008) *Kul'turnaya semantika nepovsednevnykh prostranstv russkogo Srednevekov'ya* [Cultural semantics of non-traditional spaces of the Russian Middle Ages]. Abstract of Culturology Cand. Diss. St. Petersburg.

17. Krivonos, V. (2016) "Khersonskiy pomeschchik": drugoe prostranstvo v Mertyvykh dushakh Gogolya ["The Kherson Landowner": Another space in Gogol's Dead Souls]. *Literatura*. 57 (5). pp. 285–294.

18. Sinitskaya, S. (n.d.) Gogol' v detalyakh: Chichikov, Faust i strashnyy tsiryul'nik [Gogol in detail: Chichikov, Faust and the terrible barber]. [Online] Available from: <https://moscow-piter.mirtesen.ru/blog/43214031545/Gogol-v-detalyah-CHichikov-Faust-i-strashnyi-tsiryulnik>

19. Gogol, N.V. (1937–1952) *Polnoe sobranie sochineniy: v 14 tomakh* [Complete Works: In 14 vols]. Vol. 9. Moscow.

20. Goldenberg, A.Kh. (2007) *Arkhetipy v poetike N.V. Gogolya* [Archetypes in N.V. Gogol's poetics]. Volgograd: VSPU.

21. Bakhtin, M.M. (1990) *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura srednevekov'ya i Renessansa* [The work of Francois Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and Renaissance]. 2nd ed. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

22. Schmidt, A. (1863) *Materialy dlya geografii i statistiki Rossii, sobrannyye ofitserami General'nogo shtaba. Khersonskaya* [Materials for the Geography and Statistics of Russia: Kherson Province]. St. Petersburg: Voennoe izd.

23. Eltanskaya, E.A. (2012) Vliyanie diskursivnoy sredy na smyslovye izmeneniya v semanticheskoy strukture znacheniya prostranstvenno-dinamicheskikh predlogov [The influence of the discursive environment on semantic changes in the semantic structure of the meaning of spatial-dynamic prepositions]. *The World of Science, Culture, and Education*. 4 (35). pp. 67–71.

24. Yastrebova, N.E. (2011) Natsional'nye osobennosti ponyatiy "prostranstvo" i "vremya" [National peculiarities of the concepts of "space" and "time"]. *Historical, Philosophical, Political and Legal Sciences, Cultural Studies and Art Criticism. Questions of Theory and Practice*. 8 (14). pp. 218–221.

25. Omelchenko, S.R. (2005) Glagol'naya reprezentatsiya yazykovoy mental'nosti [Verbal representation of linguistic mentality]. *Bulletin of the VSU: The Humanities*. 1. pp. 192–203.

Информация об авторах:

Ильных А.В. – аспирант кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия). E-mail: rouze18@mail.ru

Халина Н.В. – д-р филол. наук, профессор кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия). E-mail: nkhalina@yandex.ru

Чуканова Т.В. – канд. социол. наук, доцент кафедры социальной и молодежной политики Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия). E-mail: chukanova.64@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

A.V. Ilinykh, postgraduate student, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: rouze18@mail.ru

N.V. Khalina, Dr. Sci. (Philology), professor, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: nkhalina@yandex.ru

T.V. Chukanova, Cand. Sci. (Sociology), associate professor, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: chukanova.64@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 23.04.2025.

The article was accepted for publication 23.04.2025.

Научная статья
УДК 821.161.1+519.6
doi: 10.17223/24099554/24/9

Машинная атрибуция почерка в решении источниковедческих проблем (на материале переписки Г.Н. Потанина)

Виталий Сергеевич Киселев¹
Наталия Михайловна Пронина²

¹ Томский государственный университет, Томск, Россия, kv-uliss@mail.ru

² Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия, natalka-pronina@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена возможностям применения в исследовательско-поисковой и архивной практике инструментов машинной атрибуции почерка. Предлагается оригинальная методика сопоставления почерков, подразумевающая использование сиамской нейронной сети. Описываются результаты ее применения в атрибуции писем неустановленных адресатов к Г.Н. Потанину (на материале писем, хранящихся в Красноярском краевом краеведческом музее).

Ключевые слова: русская литература, Г.Н. Потанин, рукопись, архивное описание, цифровая копия, сиамские нейронные сети, идентификация и верификация почерка автора

Источник финансирования: исследование проведено в Томском государственном университете в рамках проекта Российского научного фонда № 22-68-00066 «Культурное наследие России: интеллектуальный анализ и тематическое моделирование корпуса рукописных текстов».

Для цитирования: Киселев В.С., Пронина Н.М. Машинная атрибуция почерка в решении источниковедческих проблем (на материале переписки Г.Н. Потанина) // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 186–208. doi: 10.17223/24099554/24/9

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/9

Machine attribution of handwriting in solving source studies problems (based on Grigory Potanin's correspondence)

Vitaly S. Kiselev¹

Natalia M. Pronina²

¹ Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, kv-uliss@mail.ru

² Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, natalka-pronina@mail.ru

Abstract. This article examines the potential applications of automated handwriting detection tools for research, archival retrieval, and archival practice. It proposes an original methodology for handwriting comparison based on a Siamese neural network. The article describes the results of applying this method to attribute letters from unidentified correspondents to Grigory N. Potanin, using correspondence held in the Krasnoyarsk Regional Museum of Local Lore.

Keywords: Russian literature, Grigory N. Potanin, manuscript, archival description, digital copy, Siamese neural networks, identification and verification of the author's handwriting

Financial support: The research was conducted at Tomsk State University and supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-68-00066: Cultural Heritage of Russia: Intellectual Analysis and Thematic Modeling of the Corpus of Handwritten Texts.

For citation: Kiselev, V.S. & Pronina, N.M. (2025) Machine attribution of handwriting in solving source studies problems (based on Grigory Potanin's correspondence). *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 186–208. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/9

Введение

Рукописное наследие, хранящееся в архивах различных стран мира, огромно и разноаспектно. Совокупный его объем исчисляется многими миллиардами листов – и даже в тех случаях, когда перед нами источники, важные для того или иного национального канона, в

научный и культурный оборот введена малая их часть. Возможности ученых здесь ограничены с ресурсной стороны: при самой широкой эрудиции и знании архивных источников «ручная» их обработка требует много времени и сил без гарантии того, что самые значимые документы не окажутся пропущенными, затерявшись в массе других рукописей. Это сказывается и на деятельности архивистов: фонды многих лиц и институций (кружков, объединений, организаций и т.п.) долгое время остаются не разобранными и не описанными по причине большой трудоемкости подобной работы.

Машинный анализ данных предоставляет в данной сфере новые инструменты, способные радикально изменить подходы к обработке рукописных источников. Архивные фонды и хранящиеся в них рукописи все более массивованно переводятся в цифровой формат (сканируются) и предстают перед исследователем как изображения, а это открывает возможности графической, синтаксической и семантической классификации последних с целью разработки алгоритмов, настроенных на тип документа и позволяющих автоматически его анализировать.

Одной из важнейших задач в этой сфере выступает машинная атрибуция почерка. Ее решение открывает новые перспективы в поиске и классификации рукописных документов. С одной стороны, программа машинной атрибуции значительно расширяет возможности исследователей, в частности, литературоведов или историков, в плане выявления в архивных собраниях текстов того или иного лица. С другой стороны, она дает архивным работникам удобный инструмент для автоматической классификации: выявленный программой реестр соответствий почерка может служить основой для описания рукописи (или ее состава) и внесения соответствующей информации в каталог. При использовании программы автоматизированной атрибуции поиск нужной информации в растровом массиве нераспознанного текста будет занимать не месяцы и годы, а несколько минут. Более полное описание контекста данной проблемы дано в нашей статье [1].

Материал

Репрезентативный материал здесь предлагает творческое наследие Г.Н. Потанина, литератора, журналиста, ученого, путешественника и

общественного деятеля второй половины XIX – начала XX в., инициатора областнического движения в Сибири. Выявленные на сегодняшний день творческие рукописи и эгодокументы самого поэта и лиц, с ним связанных через переписку или по другим каналам коммуникации, оказались разбросаны по всей России (поиск подобных документов в зарубежных архивах только начинается, среди перспективных направлений – Казахстан, Украина, Китай, Монголия, Франция, Англия, Германия и Польша). Если говорить только о российских архивах, то среди них фактически все центральные (ГАРФ, АВПРИ, РГАЛИ, НИОР РГБ, ОРФ ГЛМ, АРАН, СПбФ АРАН, ОР РНБ, РО ИРЛИ, РГИА, СПБИН РАН, АВ ИВР РАН, НА РГО, обследование продолжается) и многие региональные (Отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки (а также Музей археологии и этнографии Сибири) Томского государственного университета, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Государственные архивы Иркутской и Новосибирской областей, Государственный архив Красноярского края, Исторический архив Омской области, Иркутский областной художественный музей, Красноярский краевой краеведческий музей, Омский государственный историко-краеведческий музей, Томский областной краеведческий музей, Минусинский краеведческий музей имени Н.М. Мартыанова, Хабаровский краевой музей, Центр восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Научный архив Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН, Отдел рукописей и редких книг научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета; обследование продолжается).

Как и в случае с многими другими российскими историческими персонажами, степень введения в научный и культурный оборот рукописного наследия Потанина – при всей его значимости и безусловной актуальности – остается невысокой. Из крупных публикаций здесь можно назвать, пожалуй, только два тома «Литературного наследия Сибири» [2, 3], в которых была собрана часть биографических материалов родоначальника областничества, и пятитомник его «Писем» [4]. К сожалению, эти книги были подготовлены на низком источниковедческом и текстологическом уровне.

Помимо обширного научного, публицистического и литературно-критического наследия, Потанин оставил богатейший эпистолярный. В ходе архивных и источниковедческих разысканий было установлено, что его объем составляет около 1 400 писем самого ученого и около 7 000 писем, адресованных ему. Из писем Потанина на сегодняшний день опубликовано около 1 000, из писем его корреспондентов – менее 400 [5].

Совокупный список адресатов и корреспондентов Потанина велик (1 559 позиций) и включает в себя большинство представителей культурной элиты Сибири и значительную часть ученого сообщества Европейской России второй половины XIX – начала XX веков. Его разработка, составление справок об адресатах / корреспондентах, иногда малоизвестных, уточнение биографических деталей, установление датировок составляют отдельную исследовательскую задачу, решение которой позволит реконструировать персоносферу эпохи, включая итinerary разных лиц, весьма важный для активно передвигавшихся по России и Сибири ученых, купцов, инженеров, учителей и врачей, земских деятелей, чиновников и администраторов, революционеров, священников, да и просто грамотных крестьян или мещан.

В решении источниковедческих проблем, связанных с потанинским эпистолярием, важную роль могут сыграть машинные методы. В хорошо разобранным и атрибутированном архивистами материале его переписки содержится тем не менее небольшой комплекс писем сомнительного авторства. Среди писем Потанина таких посланий неустановленным адресатам совсем мало (6 документов). Однако писем с неустановленным авторством среди адресованных Потанину несравненно больше (всего 89), и они составляют серьезную проблему в связи с большим кругом возможных претендентов. Вручную сопоставить почерк этих писем с образцами почерка почти 1 500 точно установленных корреспондентов ученого – почти неразрешимая задача. Найти подходы к ней, однако, представляется крайне важным.

Постановка задачи

С этой целью было решено использовать методику, разработанную для машинной атрибуции рукописей В.А. Жуковского в подбор-

ках графических файлов (сканов) с помощью сиамских нейронных сетей. Ее особенности мы уже описывали в отдельной статье [6]. Для адаптации и проверки методики был сформирован большой массив графических изображений, содержащий сканы автографов писем с образцами почерка корреспондентов Потанина. На этих образцах должно было произойти научение нейронной сети. Основой выступил корпус отсканированных документов, хранящихся в Красноярском краевом краеведческом музее (далее – КККМ). Этот блок потанинского архива в начале 1920-х гг. достался историку и этнографу Н.Н. Козьмину и впоследствии был передан в музей его семьей. В состав подборки вошло 2 604 документа, принадлежащих перу 811 корреспондентов.

Второй массив был сформирован из сканов автографов неустановленных лиц. Таких неатрибутированных писем в собрании КККМ оказалось 40. Обученная на основе 811 достоверно установленных образцов почерка нейронная сеть должна была определить, с какими из них имеет максимальный процент близости каждый из сканов второй подборки.

Основные понятия и подходы, определяющие постановку математического аспекта задачи (сиамские нейронные сети, contrastive loss function и triplet loss function), были определены нами в уже упомянутой статье [6. С. 160–163].

Предарительная обработка

Для эффективного обучения сетей изображения, на которых оно происходило, подверглись предварительной обработке.

Чтобы предотвратить переобучение модели, т.е. плохую обобщающую способность модели по причине того, что в данных присутствует дополнительная информация – фон, от которой не должен зависеть результат, мы бинаризировали изображения с помощью предобученной нейронной сети DocEnTr [7], состоящей из трансформерного энкодера и декодера. Входное изображение разбивается на фрагменты, которые преобразуются в эмбеддинги, к ним добавляется информация о местоположении фрагмента. Результирующая последовательность векторов подается в энкодер для получения скрытых пред-

ставлений, далее полученные скрытые представления подаются в декодер для получения вектора, который линейно проецируется на векторы пикселей, представляющих участки выходного изображения. Для предотвращения попадания «пустых» изображений в обучающую выборку аугментация производилась таким образом, чтобы доля белых пикселей была не более 95%.

Для обучения строчной модели необходимо нарезать на строки каждую страницу. Выделение строк производилось с помощью python-библиотеки *kraken* [8].

Обучение сиамской сети происходило по двум моделям – картиночной и строчной.

Картиночная модель

Применим идею обучения сиамской сети на бинарных изображениях, фрагментах размера 300×300 пикселей. Возьмём предобученный ResNet18. Последний слой имеет размерность 1 000 на выходе, поэтому сиамская сеть будет выучивать 1 000-размерный эмбединг изображения. Будем обучать последние два слоя, 513 000 обучаемых параметров (рис. 1).

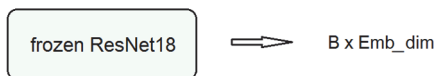


Рис. 1. Архитектура картиночной модели

При обучении в сеть будут подаваться тройки изображений, триплеты: *anchor*, *positive*, *negative*. В качестве *anchor* подаётся очередная строка, в качестве *positive* – случайная строка того же автора, в качестве *negative* – случайная строка другого автора. При оценке качества сиамской сети точность считается как доля триплетов, для которых евклидово расстояние между эмбедингами *anchor* и *positive* меньше, чем между *anchor* и *negative*. На полученных эмбедингах обучим классификатор – двухслойную полносвязную нейронную сеть с 513 538 параметрами.

Итоговое предсказание для письма производилось с помощью агрегации выходов сети для нескольких случайных фрагментов данного письма. В качестве функции агрегации было выбрано усреднение.

Строчная модель

В качестве строчной была выбрана гибридная модель, сочетающая свёрточные и рекуррентный слои, для обработки последовательностей данных (строк) она будет учиться со случайной инициализацией (рис. 2).

Свёрточный блок состоит из трёх слоёв по типу: свёртка, нормализация по батчу, активация, max-пуллинг с асимметричным шагом, для того чтобы по высоте строки сжимать меньше, чем по ширине. В качестве рекуррентного слоя выбрана однонаправленная LSTM (205 507 обучаемых параметров).

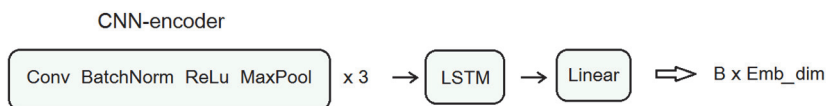


Рис. 2. Архитектура строчной модели

Классификатор тот же самый – 513 538 параметров.

Итоговое предсказание для письма производилось с помощью усреднения выходов сети для всех строк данного письма.

Эксперименты

Были проведены эксперименты на разном числе классов и с разным способом обучения. Всюду далее определение *balanced* (сбалансированный) указывает на то, что при обучении модели объекты подавались равновероятно для разных классов. По умолчанию же используется обычный способ – каждый объект подаётся равновероятно, поэтому классы с большим числом примеров при обучении встречаются чаще остальных. В таком смысле обучение является несбалансированным.

Картиночная модель

Картиночная модель учится классифицировать фрагменты рукописных документов размера 300×300 пикселей, но итоговое предсказание для изображения производится на основе нескольких случайных фрагментов. Исследуем, какое количество изображений оптимально для качественного определения автора данного письма.

В табл. 1 представлена зависимость качества картиночной модели от числа фрагментов в задачах классификации на 3, 10, 20, 100 классов. Можно заметить, что увеличение количества фрагментов при агрегации практически всегда приводит к увеличению и ассюрасу, и F1-меры. Поэтому всюду далее будем брать максимальное число фрагментов для классификации одного документа – 20 штук.

Таблица 1

Assurasy и F1-мера для картиночной модели

Metric / Windows num	1	5	10	20
3 classes, Hits@	0.9209	0.9379	0.9322	0.9492
3 classes, Macro-F1@1	0.9203	0.9385	0.9338	0.9510
10 classes, Hits@1	0.7073	0.7878	0.7854	0.8171
10 classes, Macro-F1@1	0.6856	0.7766	0.7768	0.8091
20 classes, Hits@1	0.6416	0.7621	0.7731	0.7731
20 classes, Macro-F1@1	0.6198	0.7363	0.7598	0.7566
100 classes, Hits@1	0.4415	0.5549	0.5650	0.5882
100 classes, Macro-F1@1	0.3208	0.4239	0.4286	0.4624

Таблица 2

Assurasy и F1-мера для картиночной модели
при сбалансированном обучении

Metric / Windows num	1	5	10	20
3 classes, Hits@	0.9209	0.9209	0.9435	0.9209
3 classes, Macro-F1@1	0.9217	0.9217	0.9469	0.9220
10 classes, Hits@1	0.6854	0.7488	0.7732	0.7634
10 classes, Macro-F1@1	0.6856	0.7408	0.7656	0.7567
20 classes, Hits@1	0.5696	0.6682	0.6854	0.6964
20 classes, Macro-F1@1	0.5496	0.6331	0.6584	0.6705
100 classes, Hits@1	0.3642	0.4783	0.4993	0.5094
100 classes, Macro-F1@1	0.3146	0.4251	0.4457	0.4609

Проведём такой же эксперимент со сбалансированным обучением сети, исследуем, какой эффект это окажет на F1-меру. Сравнение табл. 1 и 2 показывает, что balanced-обучение даёт незначительное улучшение в редких случаях (такие случаи выделены жирным шрифтом), в основном результат становится немного хуже. Вероятно, это объясняется тем, что малые классы и так легко детектируются, поэтому увеличение частоты их встречаемости при обучении не даёт большого прироста качества.

Строчная модель

Проведём эксперименты для строчной модели и сравним с картиночной. В табл. 3 для картиночной модели приведены лучшие результаты с 20 окнами при несбалансированном обучении. Для строчной модели уже виден прирост в качестве при переходе к сбалансированному обучению (выделено жирным шрифтом), особенно заметен прирост в F1-мере в многоклассовой классификации. В большинстве случаев строчная модель справляется лучше, но по качеству классификации на 100 классов всё же уступает.

Таблица 3
Сравнение метрик для картиночной и строчной модели

Metric / Model	10 classes			20 classes			100 classes		
	win	str	bal	win	str	bal	win	str	bal
Hits@1	0.817	0.657	0.694	0.773	0.552	0.515	0.588	0.526	0.582
Hits@2	0.915	0.813	0.851	0.889	0.761	0.727	0.692	0.657	0.712
Hits@3	0.946	0.888	0.908	0.930	0.832	0.815	0.758	0.741	0.771
Hits@4	0.968	0.935	0.943	0.955	0.880	0.859	0.808	0.796	0.812
Hits@5	0.980	0.965	0.960	0.969	0.919	0.905	0.852	0.835	0.847
Macro-F1@1	0.809	0.585	0.676	0.757	0.484	0.497	0.462	0.395	0.579
Macro-F1@2	0.913	0.786	0.843	0.884	0.724	0.722	0.594	0.564	0.708
Macro-F1@3	0.948	0.884	0.908	0.927	0.801	0.812	0.681	0.674	0.765
Macro-F1@4	0.969	0.938	0.946	0.954	0.861	0.861	0.745	0.743	0.804
Macro-F1@5	0.981	0.968	0.962	0.968	0.904	0.904	0.796	0.793	0.840

Для картиночной модели используется предобученная сеть с большим числом параметров (205 507 против 513 000), попробуем улучшить строчную модель. Проведём эксперименты ещё с двумя архитектурами строчной модели: предобученный ResNet18 и изменённая архитектура (10) с 4 слоями в энкодере вместо 3, с двунаправленным LSTM-блоком (770 936 обучаемых параметров).

Таблица 4

Сравнение метрик для разных архитектур строчных моделей

Metric / Model	10 classes			20 classes			100 classes		
	win	str	bal	win	str	bal	win	str	bal
Hits@1	0.694	0.968	0.973	0.515	0.862	0.910	0.582	0.715	0.782
Hits@2	0.851	0.990	0.990	0.727	0.943	0.957	0.712	0.818	0.876
Hits@3	0.908	0.990	0.990	0.815	0.965	0.971	0.771	0.855	0.921
Hits@4	0.943	0.998	0.998	0.859	0.975	0.981	0.812	0.879	0.943
Hits@5	0.960	0.998	0.998	0.905	0.983	0.987	0.847	0.901	0.965
Macro-F1@1	0.676	0.967	0.972	0.497	0.860	0.894	0.579	0.739	0.727
Macro-F1@2	0.843	0.991	0.990	0.722	0.945	0.950	0.708	0.836	0.849
Macro-F1@3	0.908	0.991	0.990	0.812	0.968	0.968	0.765	0.871	0.902
Macro-F1@4	0.946	0.997	0.997	0.861	0.976	0.980	0.804	0.893	0.935
Macro-F1@5	0.962	0.997	0.997	0.904	0.983	0.988	0.840	0.911	0.961

В табл. 4 представлены лучшие результаты строчной модели при сбалансированном обучении и лучшие результаты двух новых строчных моделей. Для ResNet качество лучше при сбалансированном обучении, для большой LSTM-модели – при несбалансированном, но в обоих случаях качество заметно выше, чем у картиночной.

Определение неизвестного класса

После обучения модели на задачу классификации с функцией потерь перекрёстной энтропии модель не в состоянии «отказаться от классификации», если встречает объект класса, который не был представлен в обучающих данных, но в текущей постановке задачи обяза-

тельно нужно иметь такую возможность. Такая классификация называется классификацией в открытом мире (open-world classification) или открытой классификацией (open classification).

Идея перехода к открытой классификации заключается в том, чтобы заменить стандартный softmax-слой, так как функция softmax по умолчанию распределяет 100% вероятности между известными классами, не оставляя места для неизвестных. Заменяем softmax на функцию сигмоиды, по одной на каждый класс, функцию потерь заменим на бинарную перекрёстную энтропию [9]. Таким образом, задача мультиклассовой классификации, где softmax даёт взаимоисключающие вероятности, переходит в задачу множественной бинарной классификации, где сигмоиды позволяют объекту принадлежать к нескольким классам или ни к одному.

Итоговое предсказание модели строится следующим образом: если сигмоиды всех классов меньше наперёд заданного порога (использовался порог, равный 0.5), то объект классифицируется как неизвестный, иначе выдаётся класс с наибольшим значением сигмоиды.

Эксперименты показали, что подобная замена последнего softmax-слоя и функции потерь практически никак не влияет на метрики качества, полученные на обучающей и валидационных выборках.

Решение

Был предложен подход к задаче атрибуции рукописных писем, основанный на использовании сиамской нейронной сети для сравнения и анализа уникальных характеристик почерка. Предложенное решение позволяет не только сравнить рукописи и определить принадлежность их известным авторам, но и выделить документы, чьи создатели отсутствуют в архиве.

Основным результатом является алгоритм, входом которого является сканированный неатрибутированный документ, а на выходе выдаётся ранжированный по убыванию вероятности список возможных его авторов, а также вероятность того, что автор документа неизвестен, т.е. не упоминался в архиве. Полученное решение задачи атрибуции включает предобработку сканированных документов и качественное обучение сиамских нейронных сетей.

Исследованы два варианта анализа сканированного текста: анализ фрагментов изображения и анализ каждой строки рукописного текста от-

дельно. В первом случае (для картиночной модели) в качестве архитектуры сиаемской сети использовался ResNet18; во втором случае (для строчной модели) для обработки последовательностей (строк) использовалась гибридная модель, сочетающая свёрточные и рекуррентный слой.

Эксперименты показали, что модели устойчивы к дисбалансу данных, способны работать даже с малым числом образцов почерка, показывая высокое значение F1-меры, подтвердили практическую применимость метода для задач атрибуции.

Результаты машинной атрибуции

В источниковедческом плане применение разработанного алгоритма позволило получить следующие результаты. Для каждого из 40 неатрибутированных писем нейронная сеть подбирала соответствия из 811 образцов почерка и определяла в процентах степень близости. Для удобства последующей «ручной» проверки были отобраны лишь наиболее схожие почерки (пять образцов с максимальными показателями сходства). Эти прогнозы представлены в табл. 5.

Таблица 5

Результаты машинного определения почерка

Музейный шифр письма	Прогноз авторства (%)
КККМ ОФ 7928/957	23.09 Ржавская Надежда Федоровна
	17.18 Проскурякова Е. Павловна
	16.49 Фарафонтова Таисия Михайловна
	15.86 Свентицкая Мария Хрисанфовна
	5.66 Крутовский Владимир Михайлович
КККМ ОФ 7928/1391	42.17 Ошурков Василий Александрович
	10.84 Ивановский Алексей Осипович
	8.48 Адрианов Александр Васильевич
	6.68 Зобнин Филипп Козмич
	6.57 Багашев Иван Васильевич
КККМ ОФ 7928/1392	24.22 Вагнер (Дзвонкевич) Екатерина Николаевна
	22.13 Талько-Гринцевич Юлиан Доминикович
	5.90 Штильке Василий Константинович
	5.53 Сапожников Василий Васильевич
	5.14 Лаврский Константин Викторович
КККМ ОФ 7928/1395	16.30 Гуркин Григорий Иванович
	15.45 Анучин Дмитрий Николаевич
	14.05 Ошурков Василий Александрович

Музейный шифр письма	Прогноз авторства (%)
	9.96 Лаврский Валериан Викторович 8.06 Серошевский Вацлав Леопольдович
КККМ ОФ 7928/1513	32.02 Фарафонтова Таисия Михайловна 18.73 Крутовская Лидия Симоновна 10.63 Попов Иван Иванович 7.05 Вагнер (Дзвонкевич) Екатерина Николаевна 6.18 Карпова Наталия Петровна
КККМ ОФ 7928/1894	31.88 Мендельсон Николай Михайлович 8.91 Головачев Петр Михайлович 5.20 Руднев Андрей Дмитриевич 5.12 Васильева Агния Евгеньевна 5.04 Сибиряков Иннокентий Михайлович
КККМ ОФ 7928/2335	38.07 Семидалов Вениамин Иванович 12.59 Никифоров Николай Яковлевич 11.82 Лаврская Екатерина Васильевна 7.76 Адрианов Александр Васильевич 4.63 Потанина Александра Викторовна
КККМ ОФ 7928/2336	39.29 Свентицкая Мария Хрисанфовна 36.66 Белоголовая Надежда Александровна 3.89 Ивановский Алексей Осипович 3.21 Ядринцева (Злобина) Лидия Николаевна 2.80 Фарафонтова Таисия Михайловна
КККМ ОФ 7928/2340	23.30 Серошевский Вацлав Леопольдович 9.17 Фарафонтова Таисия Михайловна 9.11 Баландина Вера Арсеньевна 9.07 Педашенко-Третьякова Мария Ивановна 7.43 Семидалов Вениамин Иванович
КККМ ОФ 7928/2480	86.99 Вагнер (Дзвонкевич) Екатерина Николаевна 5.31 Карпова Наталия Петровна 2.52 Белоголовая Надежда Александровна 1.03 Муромов И.Г. 0.41 Леонович (Ангарский) Василий Викторович
КККМ ОФ 7928/2486	23.45 Муромов И.Г. 11.95 Пантелеев Лонгин Федорович 6.66 Антонова Валентина Константиновна 6.00 Лаврский Константин Викторович 4.92 Костюрина Мария Николаевна
КККМ ОФ 7928/2651	12.20 Сорокин Павел 8.36 Проскурякова Е. Павловна 8.29 Зобнин Филипп Козмич 7.69 Костюрина Мария Николаевна

Музейный шифр письма	Прогноз авторства (%)
	7.40 Фарафонтова Таисия Михайловна
КККМ ОФ 7928/2701	9.52 Третьякова Анна Иосифовна (Осиповна) 8.02 Солдатов Владимир Константинович 7.81 Штильке Василий Константинович 5.94 Антонова Валентина Константиновна 5.40 Вагнер (Дзвонкевич) Екатерина Николаевна
КККМ ОФ 7928/2702	27.18 Никифоров Николай Яковлевич 13.96 Ивановский Алексей Осипович 9.36 Проскурякова Е. Павловна 4.99 Обручев Владимир Афанасьевич 4.07 Зобнин Филипп Козмич
КККМ ОФ 7928/2704	21.99 Антонова Валентина Константиновна 9.79 Проскурякова Е. Павловна 7.99 Серошевский Вацлав Леопольдович 7.42 Свентицкая Мария Хрисанфовна 7.18 Крутовский Владимир Михайлович
КККМ ОФ 7928/2705	19.07 Леонович (Ангарский) Василий Викторович 9.57 Козлова Елизавета Митрофановна 6.19 Григорьев Александр Васильевич 6.08 Круковский Михаил Антонович 5.73 Курский Михаил Онисифорович
КККМ ОФ 7928/2706	12.49 Серошевский Вацлав Леопольдович 10.57 Мендельсон Николай Михайлович 8.53 Фарафонтова Таисия Михайловна 7.54 Антонова Валентина Константиновна 6.70 Раппопорт (Ан-ский) Семен Акимович
КККМ ОФ 7928/2707	34.36 Проскурякова Е. Павловна 14.30 Потанина Александра Викторовна 13.33 Ржавская Надежда Федоровна 5.34 Веселовский Александр Николаевич 3.25 Лонгиновский Карп Дмитриевич
КККМ ОФ 7928/2708	22.95 Миклашевская (Лаврская) Софья Львовна 15.86 Потанина Александра Викторовна 13.70 Попов Иван Иванович 12.34 Козлова Елизавета Митрофановна 10.09 Козьмин Николай Николаевич
КККМ ОФ 7928/2711	22.99 Миклашевская (Лаврская) Софья Львовна 10.91 Базанова Лидия Павловна 8.66 Леонович (Ангарский) Василий Викторович 8.52 Крутовский Владимир Михайлович 6.78 Козлова Елизавета Митрофановна

Музейный шифр письма	Прогноз авторства (%)
КККМ ОФ 7928/2712	24.47 Сибирякова Анна Михайловна 16.41 Крутовский Владимир Михайлович 8.73 Свентицкая Мария Хрисанфовна 7.50 Ватсон Л. 7.33 Фарафонтова Таисия Михайловна
КККМ ОФ 7928/2713	26.83 Свентицкая Мария Хрисанфовна 11.28 Семидалов Вениамин Иванович 8.77 Сибирякова Анна Михайловна 7.18 Проскурякова Е. Павловна 6.86 Ватсон Л.
КККМ ОФ 7928/2714	18.26 Миклашевская (Лаврская) Софья Львовна 13.24 Белоголовая Надежда Александровна 8.86 Потанина Александра Викторовна 8.66 Проскурякова Е. Павловна 8.28 Сибирякова Анна Михайловна
КККМ ОФ 7928/2715	6.84 Сорошевский Вацлав Леопольдович 5.85 Лаврский Константин Викторович 5.17 Фарафонтова Таисия Михайловна 4.86 Ошурков Василий Александрович 4.85 Антонова Валентина Константиновна
КККМ ОФ 7928/2716	27.55 Мендельсон Николай Михайлович 14.41 Потанина Александра Викторовна 9.41 Наумов Николай Николаевич 6.22 Анучин Дмитрий Николаевич 6.06 Базанова Лидия Павловна
КККМ ОФ 7928/2717	23.25 Фарафонтова Таисия Михайловна 19.23 Карпова Наталия Петровна 15.74 Тиблен Ольга Николаевна 5.31 Попов Иван Иванович 3.12 Красноженова Мария Васильевна
КККМ ОФ 7928/2719	88.71 Фарафонтова Таисия Михайловна 4.93 Свентицкая Мария Хрисанфовна 3.35 Крутовская Лидия Симоновна 1.08 Ватсон Л. 0.45 Сибирякова Анна Михайловна
КККМ ОФ 7928/2720	29.83 Григорьев Александр Васильевич 21.13 Киселева Ольга 12.37 Сукачев Владимир Платонович 12.03 Попов Иван Иванович 4.26 Сибирякова Анна Михайловна
КККМ ОФ 7928/2721	20.07 Григорьев Александр Васильевич

Музейный шифр письма	Прогноз авторства (%)
	12.29 Круковский Михаил Антонович 11.59 Козлова Елизавета Митрофановна 6.73 Костюрина Мария Николаевна 5.83 Попов Иван Иванович
КККМ ОФ 7928/2722	24.28 Мендельсон Николай Михайлович 9.50 Попов Иван Иванович 8.30 Солдатов Владимир Константинович 5.37 Гуркин Григорий Иванович 4.84 Скалозубов Николай Лукич
КККМ ОФ 7928/2723	31.68 Мендельсон Николай Михайлович 8.65 Адрианов Александр Васильевич 7.78 Солдатов Владимир Константинович 5.65 Попов Иван Иванович 5.59 Головачев Петр Михайлович
КККМ ОФ 7928/2724	16.60 Антонова Валентина Константиновна 10.26 Руднев Андрей Дмитриевич 10.21 Базанова Лидия Павловна 7.49 Круковский Михаил Антонович 6.41 Костюрина Мария Николаевна
КККМ ОФ 7928/2725	15.72 Антонова Валентина Константиновна 12.26 Козлова Елизавета Митрофановна 7.63 Попов Иван Иванович 7.61 Миклашевская (Лаврская) Софья Львовна 7.44 Балакшин Александр Николаевич
КККМ ОФ 7928/2726	18.94 Фарафонтова Таисия Михайловна 9.70 Крутовская Лидия Симоновна 7.91 Руднев Андрей Дмитриевич 7.13 Семидалов Вениамин Иванович 6.72 Серошевский Вацлав Леопольдович
КККМ ОФ 7928/2727	17.14 Гуркин Григорий Иванович 9.56 Педашенко-Третьякова Мария Ивановна 7.33 Серошевский Вацлав Леопольдович 7.27 Тихонравова Раиса 5.74 Анучин Дмитрий Николаевич
КККМ ОФ 7928/2728	20.84 Ивановский Алексей Осипович 11.46 Адрианов Александр Васильевич 8.99 Серошевский Вацлав Леопольдович 6.91 Гуркин Григорий Иванович 4.97 Макеров Яков Антонович
КККМ ОФ 7928/2830	12.39 Муромов И.Г. 10.52 Головачев Петр Михайлович

Музейный шифр письма	Прогноз авторства (%)
	10.09 Мендельсон Николай Михайлович 7.80 Руднев Андрей Дмитриевич 7.02 Досекина Зинаида
КККМ ОФ 7928/2831	21.04 Антонова Валентина Константиновна 15.46 Потанина Александра Викторовна 14.51 Наумов Николай Николаевич 3.98 Костюрин Виктор Федорович 3.88 Мендельсон Николай Михайлович
КККМ ОФ 7928/2832	22.59 Ржавская Надежда Федоровна 19.90 Проскурякова Е. Павловна 18.53 Лонгиновский Карп Дмитриевич 7.47 Свентицкая Мария Хрисанфовна 5.96 Фарафонтова Таисия Михайловна
КККМ ОФ 7928/2833	16.97 Серошевский Вацлав Леопольдович 12.34 Семевский Василий Иванович 10.90 Фарафонтова Таисия Михайловна 7.36 Гуркин Григорий Иванович 5.43 Бейлин Соломон Хаймович

Верификация полученных результатов

Полученные прогнозы авторства подверглись «ручной» проверке.

Во-первых, грамматические показатели (окончания глаголов) рукописи позволили определить гендерную принадлежность автора и, соответственно, убрать из прогноза несоответствующие ей варианты. Для дальнейшей доработки алгоритма было предложено ввести дополнительный аспект в виде инструментов машинного определения гендера (по грамматическим признакам), что позволит ограничить проводимые сопоставления только одним классом (авторы-мужчины / авторы-женщины).

Во-вторых, для тех из 40 писем, где присутствовали обозначения времени (число, месяц, год) и места написания, было проведено сопоставление с тем, чтобы установить, мог ли этот человек в данный момент находиться в указанном месте.

Например, в письме с музейным шифром КККМ ОФ 7928/1392 по грамматическим признакам автор был мужчиной, а само оно было написано 13 июня 1891 г. во Владивостоке. Тем самым из числа возможных авторов сразу выпадала Е.Н. Вагнер (Дзвонкевич), а остальные 4 персоны (польский антрополог Ю.Д. Талько-Гринцевич, обще-

ственный деятель В.К. Штильке, биолог и одно время ректор Томского университета В.В. Сапожников и шурин Потанина журналист К.В. Лаврский) не могли быть в данное время во Владивостоке. Тем самым для указанного письма выяснилось, что в собрании КККМ не присутствовали другие письма с идентичным почерком и его автора нужно искать за пределами списка из 811 корреспондентов.

Третья процедура верификации результатов включала сопоставление реалий, упоминаемых в неатрибутированном письме, с биографическими обстоятельствами лиц, фигурирующих в машинном прогнозе. Здесь важны были любые указания на статус, профессию, семейное положение автора, характер его связи с Потаниным (коллега, родственник, знакомый и т.п.) и другие приметы. Иногда они достаточно очевидны: например, в коротенькой записке с музейным шифром КККМ ОФ 7928/2486 автор подписался как «ректор». Музейные работники не смогли прочесть неразборчивый почерк дальнейшей подписи и отнесли записку к неустановленному лицу. Машинная атрибуция в качестве возможных авторов предложила И.Г. Муромова, Л.Ф. Пантелеева, В.К. Антонова, К.В. Лаврского и М.И. Костюрину. Однако никто из них ректором не являлся. Кроме того, в записке речь шла о поздравлении Потанина с юбилеем и упоминалась жизнь автора в Самаре. Анализ текста позволил вначале определить, что ректорство относилось к Томской духовной семинарии и приходилось на какой-то из двух широко отмечавшихся юбилеев Потанина (1905 или 1915 г.). Кроме того, в Самаре родился, учился и преподавал до 1903 г. только один ректор семинарии этого периода – Иоанн Александрович Панормов. Ректорствовал в Томске он с 1903 по 1907 г., что позволило записку датировать 21 сентября (день рождения Потанина) 1905 г. Приводим полный текст записки с учетом всех реалий: «Достопочтенный Григорий Николаевич! Присоединяю и свое поздравление к Вашим почитателям. Я знал Вас и уважал Вас, не видя Вас, живя в г<ороде> Самаре. Лично я не дошел до Вас за недосугами... Будьте здоровы! Ректор Т<омской> Д<уховной> С<еминарии> прот<оиерей> И. Панор<мов>. 21-ого». Заметим, что в известном на сегодняшний день архиве Потанина других писем, принадлежащих руке И.А. Панормова, не было выявлено, это не позволило машинным способом правильно определить авторство.

Наконец, в-четвертых, как самая проблематичная процедура проводилось визуальное сличение почерка неатрибутированного письма

Выводы

Проведенный машинный анализ обнаружил свою эффективность. Он позволил значительно оптимизировать поиск возможных соответствий почерка, т.е. не перебирать вручную все возможные варианты (811 образцов, учитывая, что в разных письмах почерк даже одного автора может варьировать в зависимости от условий написания, возраста, скорости письма и т.п.), а быстро провести ранжирование и выделить несколько наиболее близких – с последующей оценкой по грамматическим категориям (гендеру), биографическим реалиям и визуальному сходству. Малый процент подтверждающихся прогнозов (2 письма из 40) объясняется ограниченностью базы образцов. Скорее всего, в нее не попали реальные авторы из установленных на сегодняшний день полутора тысяч корреспондентов Потанина. Это подводит к необходимости расширить материал эксперимента за счет образцов почерка еще 700 авторов. Составление этой базы сканированных изображений и проведение нового обследования, в том числе с попыткой установления авторства еще 49 неатрибутированных писем из фондов ОР НБ ТГУ, РО ИРЛИ, РГАЛИ, определяет ближайшую перспективу проводимого исследования.

Список источников

1. Киселев В.С., Лебедева О.Б., Третьяков Е.О. Проблема машинного выявления текстов с почерком определенного автора в составе больших баз данных растровых изображений рукописных документов (на основе опыта выявления писем В.А. Жуковского в делопроизводственных конволютах РГИА) // Имагология и компаративистика. 2023. № 20. С. 247–262.
2. Литературное наследство Сибири. Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. Т. 6. 338 с.
3. Литературное наследство Сибири. Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1986. Т. 7. 344 с.
4. Письма Г.Н. Потанина : в 5 т. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1987–1992.
5. Киселев В.С. Переписка Г.Н. Потанина: проблемы источниковедческого описания и машинной атрибуции // Вестник Томского государственного университета. 2025 (в печати).
6. Киселев В.С., Кропотов Д.А., Пронина Н.М. Сиамская сеть, машинная атрибуция почерка и неизвестный Жуковский // Имагология и компаративистика. 2024. № 22. С. 156–179.

7. Souibgui M.A., Biswas S., Jemni S.K., Kessentini Y., Forn'es A., Llad'os J., Pal U. Docentr: An end-to-end document image enhancement transformer // 2022 26th International Conference on Pattern Recognition (ICPR). Montreal: IEEE, 2022. P. 1699–1705.

8. Wood D.E., Salzberg S.L. Kraken: ultrafast metagenomic sequence classification using exact alignments // *Genome biology*. 2014. № 15. P. 1–12.

9. Lei Shu, Hu Xu, Bing Liu. Doc: Deep open classification of text documents // Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Copenhagen: Association for Computational Linguistics, 2017. P. 2911–2916.

References

1. Kiselev, V.S., Lebedeva, O.B. & Tretyakov, E.O. (2023) The problem of machine identification of texts with the handwriting of a specific author as part of large databases of raster images of handwritten documents (based on the experience of identifying letters from Vasily Zhukovsky in office convolutes of the Russian State Historical Archive). *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 20. pp. 247–262. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/20/13

2. Yanovsky, N.N. (1983) *Literaturnoe nasledstvo Sibiri* [The Literary Heritage of Siberia]. Vol. 6. Novosibirsk: Zap.-Sib. kn. izd-vo.

3. Yanovsky, N.N. (1983) *Literaturnoe nasledstvo Sibiri* [The Literary Heritage of Siberia]. Vol. 7. Novosibirsk: Zap.-Sib. kn. izd-vo.

4. Potanin, G.N. (1987–1992) *Pis'ma G.N. Potanina: v 5 t.* [Letters of G.N. Potanin: in 5 vols]. Irkutsk: Irkutsk University.

5. Kiselev, V.S. (2025) Perepiska G.N. Potanina: problemy istochnikovedcheskogo opisaniya i mashinnoy atributsii [The correspondence of G.N. Potanin: Problems of source study description and machine attribution]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. (In print).

6. Kiselev, V.S., Kropotov, D.A. & Pronina, N.M. (2024) Siamese network, machine attribution of the handwriting, and unknown Zhukovsky. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 22. pp. 156–179. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/22/10

7. Souibgui, M.A., Biswas, S., Jemni, S.K., Kessentini, Y., Forn'es, A., Llad'os, J. & Pal, U. (2022) Docentr: An end-to-end document image enhancement transformer. *26th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*. Montreal: IEEE. pp. 1699–1705.

8. Wood, D.E. & Salzberg, S.L. (2014) Kraken: ultrafast metagenomic sequence classification using exact alignments. *Genome Biology*. 15. pp. 1–12.

9. Lei Shu, Hu Xu & Bing Liu. (2017) Doc: Deep open classification of text documents. *Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Copenhagen: Association for Computational Linguistics. pp. 2911–2916.

Информация об авторах:

Киселев В.С. – д-р филол. наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: kv-uliss@mail.ru

Пронина Н.М. – магистр кафедры математических методов прогнозирования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: natalka-pronina@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

V.S. Kiselev, Dr. Sci. (Philology), head of the Department of Russian and Foreign Literature, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: kv-uliss@mail.ru

N.M. Pronina, student, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: natalka-pronina@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 16.09.2025.

The article was accepted for publication 16.09.2025.

Научная статья
УДК 821.161.1
doi: 10.17223/24099554/24/10

«Пришельцы» и «туземцы»: колониальные контрасты в крымском травелоге Г.Н. Потанина

Павел Викторович Алексеев^{1, 2}

¹ Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск, Россия

² Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия

^{1, 2} *pavel.alekseev.gasu@gmail.com*

Аннотация. В статье анализируется травелог Г.Н. Потанина «Крымские письма сибиряка» (1876), написанный по итогам его поездки в Ялту летом 1875 г. Исследование основано на эпистолярных, публицистических и мемуарных источниках, которые позволяют выявить ключевые мотивы текста: противопоставление Крыма и Сибири как различных имперских окраин, критика культурной и экономической стагнации Крыма, а также концептуализация Сибири как динамичного региона. Также рассматриваются несоответствия в хронологии описанных событий, репрезентация «пришельцев» и «туземцев» в рамках ориенталистских дискурсов и идеологические импликации крымского травелога Потанина как формы «антитравелога».

Ключевые слова: Г.Н. Потанин, травелог, Крым, Сибирь, областничество, Цонтай Мерген, ориентализм

Источник финансирования: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-28-01431 «Репрезентация пространства Украины в русской культуре конца XVIII – XIX веков (на материале отечественных травелогов): дискурсы, нарративы, топосы», <https://rscf.ru/project/24-28-01431/>).

Для цитирования: Алексеев П.В. «Пришельцы» и «туземцы»: колониальные контрасты в крымском травелоге Г.Н. Потанина // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 209–228. doi: 10.17223/24099554/24/10

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/10

"Aliens" and "natives": Colonial contrasts in Grigory Potanin's Crimean travelogue

Pavel V. Alekseev^{1, 2}

¹ Gorno-Altai State University, Gorno-Altai, Russian Federation

² Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation

^{1, 2} pavel.alekseev.gasu@gmail.com

Abstract. The article examines Grigory Potanin's travelogue "Crimean Letters of a Siberian" (1876), based on his trip to Yalta in the summer of 1875, within the context of other travelogues Potanin prepared for publications associated with the ideologists of regionalism. In 1876, Potanin published three texts under different titles that are closely interrelated: "Crimean Letters of a Siberian," "From a Siberian's Notebook" (both in the newspaper *Sibir'*), and "Travel Notes from Novocherkassk to Kazan" (in the Kazan collection *The First Step*). The research is based on epistolary, journalistic, and memoir materials, revealing the significance of Potanin's sketches as an example of the hybrid travelogue genre. By actively employing techniques of literary and journalistic writing, Potanin constructs a symbolic space in which Siberia represents a model of a dynamic and promising region, while the Crimea is depicted as a static and culturally degraded periphery. The analysis separately addresses the problems of the unreliable narrator and conscious mystification concerning the structure of the travelogue, as well as the timing and itinerary of the 1875–1876 journey to the Crimea and China (via Siberia). The author emphasizes the fact that "Crimean Letters of a Siberian" and "Travel Notes from Novocherkassk to Kazan," published in different venues, actually reflect the same journey undertaken by Potanin in the summer of 1875 along the route St. Petersburg – Crimea – St. Petersburg. Meanwhile, the text "From a Siberian's Notebook" describes the route taken a year later on the way to a scientific expedition. The travelogue text is analyzed through the prism of regionalist ideology, orientalism, and the key cultural and social challenges of the 1870s. Central focus is placed on the problems of representing the imperial peripheries—the Crimea and Siberia—and their juxtaposition as "alien" and "native" spaces. The article demonstrates that Potanin uses the Crimean travelogue as a means to critique imperial policy and shape a regional identity (for instance, through the metaphorical representation of Siberia as a woman, including material from the Barabinsk Tatars' folklore

plot about Tsonai Mergen and Pi-Kyz). The author discusses comparative aspects of local patriotism using the examples of P.P. Yershov and T.G. Shevchenko, illustrating them through a comparison of Ukrainian and Siberian regionalism, as well as through the interplay of motifs of Eastern and Western identity. The work emphasizes Potanin's unique role as an ideologist, scholar, and publicist who synthesizes scientific, literary, and journalistic styles of writing. The key conclusions of the article pertain to the analysis of the genre specificity of Potanin's Crimean travelogue, his contribution to the formation of Siberian imagology, and his role in the development of regionalist ideas in the 19th century. The presented text is viewed as part of a broader discourse of microhistory, contributing to a deeper understanding of the social and cultural dynamics of the Russian Empire.

Keywords: Grigory N. Potanin, travelogue, Crimea, Siberia, regionalism, Tsonai Mergen, Orientalism

Financial support: The study was supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-01431, <https://rscf.ru/project/24-28-01431/>

For citation: Alekseev, P.V. (2025) "Aliens" and "natives": Colonial contrasts in Grigory Potanin's Crimean travelogue. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 209–228. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/10

Период с 1873 по 1876 г. стал поворотным в жизни и деятельности Г.Н. Потанина. В 1873 г. завершилась его «бессрочная» ссылка в Вологодской губернии: он получил помилование по делу о сибирском сепаратизме, вступил в брак с А.В. Лаврской, переехал в Санкт-Петербург и уже вскоре, в 1876 г., возглавил экспедицию в Северный Китай, профинансированную Императорским Российским Географическим обществом. Материалы, подготовленные по итогам этой экспедиции, утвердили его репутацию как авторитетного ученого [1. С. 67], но сложившаяся в Сибири (и в областническом движении) ситуация требовала более широкой активности: нужно было не только изучать имперские фронтиры в Сибири, но и системно ставить «сибирские вопросы» в повестку дня максимально широкой аудитории. Данный период так или иначе рассмотрен в трудах М.В. Шиловского [2], Н.В. Жиликовой [3], К.В. Анисимова [4], А.В. Головинова, В.А. Должикова [5], А.П. Казаркина [6], А.С. Янушкевича [7], Н. Перейры [8], С. Ватруса [9] и др. в рамках исследований личности Потанина и истории сибирского областничества с идеологической и художественной точки зрения.

В этот период складывались основные направления творческой активности Г.Н. Потанина – ученого, публициста, идеолога. Он вел насыщенную переписку с Н.М. Ядринцевым, который до конца 1873 г. продолжал отбывать ссылку в Архангельской губернии, писал статьи для «Камско-Волжской газеты», издававшейся К.В. Лаврским в Казани с 1872 г. Публикации о Сибири не только обогатили содержание газеты, но и фактически превратили ее в первый печатный орган областничества, который пользовался спросом далеко за пределами Казани. После закрытия казанского издания областники сосредоточили свои усилия на иркутской прессе: в 1876 г. газета «Сибирь» под редакцией В.И. Вагина стала первым областническим изданием, выпускавшимся непосредственно в Сибири. Потанин подробно описал этот этап в своих воспоминаниях, опубликованных в газете «Сибирская жизнь», особо отметив роль Н.М. Ядринцева: «С первых дней издания мы стали неутомимыми сотрудниками “Сибири”, издававшейся в Иркутске. Ядринцев посылал статьи из Петербурга, я из Крыма» [10. С. 298].

Потанин развивал мастерство в различных жанрах и стилях: совместно с П.П. Семеновым он выпустил дополнения к труду Карла Риттера «Землеведение Азии», параллельно писал аналитические статьи и путевые заметки. Нельзя сказать, что такой синкретизм был специфическим явлением, поскольку основная часть описаний Сибири до Потанина уже сочетала в себе стремление к научному освоению имперских пространств и их романтическую экзотизацию [4. С. 10] – это вполне соответствовало логике эволюции жанра травелога. Однако в случае Потанина и травелога, и статьи о Сибири, и книги по материалам экспедиций являются разножанровыми и разностилевыми вариациями одного и того же типа письма, восходящего к европейским дискурсам «научного путешествия» и нарративной позиции путешествующего ученого.

Такой взгляд на потанинское наследие значительно повышает значимость текстов, формально сближающихся с жанром травелога, поскольку здесь возможно более гармоничное сочетание объективного (рационального) и субъективного (идеологического). Но если публицистическое наследие Потанина в целом изучено, то травелоги в жанровом отношении остаются «белым пятном». Вероятных причин

этому две: во-первых, ни сам Потанин, ни его современники, писавшие его биографию (например, по случаю его 80-летия), не выделяли жанр травелога в отдельный блок, а крымскую поездку как значимый эпизод: он логично воспринимался конъюнктурной чередой публикаций, имеющих очерковую природу, о мало значимой поездке накануне важной экспедиции; во-вторых, не занимаясь специально дискурсом травелога, исследователям до сих пор не было смысла отделять материалы крымского путешествия от других газетных публикаций областного направления. С современной точки зрения, когда изучение травелогов представляется важной задачей не только истории региональной словесности, но и такого направления, как микроистория, рассмотрение эгодокументальной прозы одного из ключевых акторов сибирской общественной жизни второй половины XIX в. может быть крайне полезно. Так, пристальное изучение этого прежде малозначимого произведения вполне может уточнить вклад Потанина в сибирскую имагологию Украины, а также внести ясность в генезис и эволюцию областнических идей, особенно в плане антиколониальной тематики (подробнее см.: [11]).

В частности, может быть более подробно раскрыта тема уральской казачьей общины, важной и для его «крымских писем», и для его научного наследия (особенно в плане противопоставления сибирских туземцев и колонистов), и для его мемуаров: законсервированный во времени дух коллективизма уральского казачества чрезвычайно импонирует Потанину и естественным образом склонял его к сравнению украинского казачества, романтизированного Н.В. Гоголем [10. С. 43], уральского казачества, отчасти идеализированного самим Потаниным, и родного ему сибирского казачества, представлявшего собой и в социальном, и в культурном плане специфическое явление:

Уральская община, – писал Потанин в «Крымских письмах», – это обломок старого русского быта, древность из музея. Она имеет несколько привилегий, и члены ее, боясь потерять их, твердо держатся за старые формы. Все извне приносимое встречается недружелюбно: в науке, искусстве, в европейских идеях подозреваются разрушительные для общины элементы. Пришельца резко отличают от туземца и смотрят на него, как на чужого. Другие отношения замечаются в Сибири. Это страна молодая, восприимчивая, податливая к нововведениям, здесь нет какого-нибудь «учуга», который составлял бы в одно и то же время краеугольный камень

народного быта и юридически-социальный архаизм. Здесь нет «липовых аллей» и «дворянских гнезд», здесь нечего ни сжигать, ни разрушать; этой стране, входя в новый мир идей, не приходится отвергать своих старых богов, подобно Руфи, или прятать их в саквах, подобно Рахили [12. С. 193].

Образ повествователя-сибиряка, имеющего двойную («западно-восточную») идентичность и осознающего свой статус субалтерна в отношении имперского центра, в травелоге Потанина может быть понят только через призму двойственной природы его профессиональной идентичности, основанной на пересечении научных, публицистических и идеологических практик. С одной стороны, Потанин стремился институционально утвердить себя в роли авторитетного исследователя, что требовало значительных затрат времени на полевые работы и написание научных трудов. С другой стороны, активное участие в публицистических (позднее – и в художественных) проектах областного характера выдвигало на первый план особую роль идеолога, формирующего влиятельные региональные смыслы и репрезентации. Такое сочетание ролей ретроспективно осмысливалось поздним Потаниным как выбор между жизненными стратегиями, который он впервые осознал еще в студенческие годы:

В течение университетской жизни, – вспоминал Г.Н. Потанин, предвзято повествование о каторжных злочлечениях 1860-х гг., – я колебался между натуралистом и публицистом, но поехал из Петербурга в Сибирь путешественником-натуралистом. Я прочитал «L'Asia centrale» Гумбольдта; воспламененное воображение рисовало находящееся в глубине Азии озеро Хуху-Нор и окружающие его снежные пики, которым туземцы дают имя патриархов; на берегах этого озера не бывала нога европейца [10. С. 182].

Дискурс путешествия помогает автору перестать сомневаться и осмыслить себя в синкретической роли ученого-путешественника, который одновременно и классифицирует, и оценивает, и использует приемы художественного письма, исполненного обобщений и иносказаний. Сам Потанин отчетливо видел истоки своей исследовательской тяги к путешествиям в просветительской и колониальной словесности, где наличествовали персонажи типа Робинзона Крузо [10. С. 41] и где при помощи образов дикарей противопоставлялись метрополии и колонии, миры цивилизованные и неизведанные. Идентичность сибирского казака при этом определяла такую стратегию

письма, при которой цивилизационная дистанция между Европой и Азией часто не была четко обозначена, а иногда, в дискурсах самоориентализации, полюсы этой дихотомии менялись местами – и тогда не только дикари, но и казаки, включая повествователя, наделялись «нецивилизованными» чертами (см., например, повествование о стычках с казаками на берегах р. Алматы [10. С. 57–62]).

Литературные и идеологические ориентиры, восходящие к европейским колониальным сюжетам и историко-философским дискурсам европейского и американского регионализма, формировали взгляды Потанина на окружающий мир и задавали рамки его автобиографического мифа. Однако воплощение в путевых текстах ученого круга социально-политических проблем стремительно эволюционирующего областничества неизбежно обуславливалось конкретным историческим контекстом эпохи. Путевые заметки 1876 г. писались в сложное и насыщенное событиями время, которое Н.Н. Яновский охарактеризовал следующим образом: это было время «в канун второй революционной ситуации в стране, когда даже в легальной печати так или иначе росла и усугублялась дискуссия о путях развития пореформенной России, когда только отшумела трагическая эпопея “хождение в народ” революционно настроенной молодежи» [12. С. 15]. Часть вопросов назрела особенно остро. Среди них – вопросы колониального статуса Сибири, острый дефицит интеллектуальных ресурсов (и связанная с этим надежда на создание сибирского университета), а также проблема вымирания коренных народов. Эти темы, важные для формирования сибирской идентичности и областнической идеологии, нашли отражение и в крымском травелоге Потанина, который стал своеобразным зеркалом его интеллектуальных и общественных поисков в 1870-е гг., разумеется, с учетом цензурных ограничений. Темы, напрямую касающиеся социальной и политической ситуации в Сибири, неизбежно приобретали не только практический, но символическо-метафорический характер, вписываясь в традицию просветительских текстов, одновременно и критических, и осторожных. Таким образом, важная проблема исследования травелога Потанина – это проблема изучения его синкретического языка, в котором причудливо совместились научные, публицистические и художественные приемы и средства.

Обратимся непосредственно к описанию и анализу крымского травелога, начав с текстологической проблемы. В 1876 г. Потанин опубликовал 3 текста, имеющих разные названия, но тесно связанных друг с другом: «Крымские письма сибиряка», «Из записной книжки сибиряка» и «Путевые заметки от Новочеркасска до Казани». Первые два опубликованы друг за другом в иркутской газете «Сибирь» под псевдонимом «Авесов»¹, а «Путевые заметки от Новочеркасска до Казани» – за подписью «Григорий Потанин» появились в «провинциальном литературном» сборнике «Первый шаг», изданном в Казани бывшей редакцией «Камско-Волжской газеты». В советский период тексты этих травелогов были напечатаны в 7-м томе «Литературного наследства Сибири», правда, не целиком и без указания, что публикуются в сокращении: пропущено начало «Крымских писем» из № 12 «Сибири» от 4 апреля 1876 г. Рассмотренные в целостности, эти публикации позволяют увидеть кольцевую композицию, объединенную темами деградации «скучного» юга, античными кодами и преобладанием сибирского начала, не знавшего рабства, но знающего колониальную эксплуатацию. Отсюда важный для Потанина прием явного и скрытого противопоставления «пришельцев» и «туземцев», в роли которых попеременно оказываются то инородцы, то более прогрессивные жители империи: «Хайдаков не туземец, человек пришлый; это можно было угадать из его повествования, если он бы сам не открылся в этом. Он явился в Сибирь в качестве конвикта. Как человек из культурной страны, очутившись между нами, дикарями, он живо схватил нашу внешность, но в душу нашу он не проник» [12. С. 199].

В плане метафорического (имплицитного) противопоставления «пришельцев» и «туземцев» можно воспринимать переложение Потаниным сюжета сказки барабинских татар, почерпнутой им из IV тома «Образцов народной литературы тюркских племен...» В.В. Радлова (в главе «7 июля. Ялта»), опубликованного в 1872 г.:

Молодой человек приезжает во владения красавицы, но сначала прячется от нее, потому что красавица обладает богатырской силой. Когда Пи-кыз ложится спать, юноша подкрадывается к ней, ворует у нее золотой гробень, но не довольствуется этим. Он обзарился на ее соболью шапку, снимает ее и надевает на красавицу свой изношенный картуз; увлекаясь еще

¹ Вероятнее всего, этот псевдоним происходит от крымско-татарского слова «авес», т.е. «страсть», «увлечение», «интерес».

более, он снимает с нее золотой пояс и опоясывает ее своим худеньким пояском; он снимает с нее также соболью шубу и надевает на нее свою одежду, вероятно, какую-нибудь изношенную рубашонку, сшитую, может быть, из смывного ситца фабрики Зубкова в селе Иванове. Обобрав с красавицы соболи и золото, нахальный юноша ложится подле нее. Пи-кыз вскрикивает, поднимается страшный шум; пробудившиеся подруги бросаются на красавицу Пи-кыз, принимая ее по ее странному костюму за чужеземца, и вяжут; в это время ловкий юноша успел выскочить в окно и убежать. Когда недоразумение разъяснилось, юноша, насмеявшийся над дикой красавицей, был уже далеко. Но вместо презрения к дерзкому и беспутному юноше красавица Пи-кыз чувствует влечение к нему – она чувствует, что у ней будет ребенок. И она собирается в дальний путь искать чужеземца [12. С. 198].

Потанин не указывает название сказки, но описываемый сюжет позволяет легко определить, что имеется в виду эпическое сказание (дастан – см. об этом: [13. С. 51–52]) «Цонтай Мерген», открывающая указанную книгу В.В. Радлова [14. С. 1–5]. Этот том не содержал русских переводов и вряд ли был хорошо известен широкой публике, поэтому сибирские читатели могли объяснить столь внезапное отступление от ялтинского пейзажа стремлением ученого автора поделиться редким фольклорным материалом, лишь в общих чертах связанным с сибирской темой «крымских писем» (в травелоге некоторые темы вводятся как бы внезапно – случайная встреча, найденная газета и др.). Однако сопоставление потанинского рассказа о Пи-кыз с текстом татарского оригинала не оставляет сомнений в том, что в этой части травелога Потанин использует литературные приемы для контекстуального противопоставления колонии (в образе Пи-кыз) и метрополии (в образе обворовавшего и обесчестившего ее юноши-«чужеземца»). На это указывают следующие детали:

1. Из большого количества эпизодов, составляющих насыщенный событийный уровень дастана «Цонтай Мерген», Потанин взял только один, где ханский сын, выполняя задание некоего случайного человека, пробирается к Пи-кыз («царь-девице»), чтобы украсть золотой гребень. Пересказанный сюжет больше соответствует основной теме травелога (имплицитном и эксплицитном сравнении пространств Сибири и российского Юга), чем оригинал, построенный на типично фольклорных коллизиях.

2. В целом, будучи довольно точным в деталях, Потанин в изложении татарского сюжета в двух случаях допускает вольность, которая привносит в текст совершенно другой смысл: рубашка, сшитая, «может быть, из смывного ситца фабрики Зубкова в селе Иванове», позволяет предположить русское происхождение юноши, а эпизод, когда «пробудившиеся подруги бросаются на красавицу Пи-кыз, принимая ее по ее странному костюму за чужеземца», наводит на мысль о взаимодействии русского «пришельца» и туземной царевны – это неминуемо привносит в текст колониальную тематику. В оригинальном тексте дастана нет никаких указаний на иноземное происхождение Цон-тай Мергена, а в эпизоде «неузнавания» Пи-кыз принята подругами не за чужеземца, а просто за мужчину, поскольку на ней были мужские одежды: «Қырқ қызақлары тұрды, жігітні қысның тонын кін алғанда қыс тап пілді, қысны жігітнің тонында жігіт тап пілді» (в переводе Ф.С. Сайфулиной и Ф.Ю. Юсупова: «Проснулись (и) сорок подруг, парня в шубе девушки приняли за девушку, девушку в шубе парня, подумали, что парень» [13. С. 64]).

Такой способ организации материала свидетельствует о намерении автора художественными средствами сформировать специфическую текстовую структуру, которая только формально отражает фактическую сторону реального путешествия в Крым – содержательно она подчинена художественно-идеологическим задачам суггестивного характера. Этот подход соответствует представлениям о травелоге как гибридном жанре, где границы между воображением и документальностью стираются для достижения определённого идеологического эффекта [15. Р. 12].

Кроме эпизода со эпическим сказанием барабинских татар, главный аргумент такого утверждения – стремление ввести читателей в заблуждение относительно нескольких важных аспектов: цели, хронологии и маршрута путешествия в Крым. Цель поездки в травелоге специально не оговаривается, но легко реконструируется по письмам и мемуарам Потанина: в период подготовки к монгольской экспедиции Потанин проходил стажировку под руководством профессора Петербургского университета А.А. Иностранцева и в течение лета по собственной инициативе составил ему и его коллеге, профессору Горного института Н.П. Барбот-де-Марни, компанию в изучении водоснабжения императорских дворцов в Ливадии и Ореанде [10. С. 292;

17. С. 170]. При этом Потанин формирует у читателя представление о том, что его поездка в Крым – это поездка вынужденная, семиотически близкая понятию «ссылка». Этот приём позволяет автору укрепить образ Сибири как более важного и значимого пространства даже на фоне предполагаемой элитарности южных территорий.

Мистификация с маршрутом и хронологией путешествия нуждается в более подробном рассмотрении. «Крымские письма сибиряка» и «Путевые заметки от Новочеркасска до Казани», опубликованные, как уже было указано выше, в разных местах, – это на самом деле отражение одного и того же путешествия, предпринятого Потаниным летом 1875 г. по маршруту Петербург – Крым – Петербург, в то время, как текст «Из записной книжки сибиряка» представляет собой описание маршрута по пути в научную экспедицию спустя год: в мае 1876 г. он выехал из Петербурга в сторону Китая и в апреле 1877 г. вернулся обратно. Таким образом, публикуя без перерыва и без специфического указания на разницу маршрутов свои путевые впечатления в иркутской газете, Потанин объединил в читательском восприятии два разных путешествия в одно и сформировал, таким образом, воображаемый маршрут по окраинам империи: из Петербурга в Крым и далее (через Поволжье) в Сибирь, и только внимательный читатель мог обнаружить разницу в датах и разграничить маршруты (путешествие в Крым – это июнь–июль, а поездка в Сибирь начинается 23 мая). Однако даже в таком случае прием монтажа двух разных летних поездок семиотически объединял тексты в единое целое, представляя их как один текст.

Иллюзорность маршрута усложняется неточным указанием хронологии путешествия: июньские даты реальных перемещений Потанина по южному побережью Крыма, обнаруживаемые в его письмах Н.М. Ядринцеву, не совпадают с датами, указанными в заголовках публикаций в отдельных номерах «Сибири». Если бы это была небольшая погрешность, ее можно было бы списать на ошибки памяти. Однако существенная разница в датах и содержательная специфика травелогов склоняют к мысли о сознательной обработке, предпринятой автором в целях, не сводимых только к документальным задачам путевого дневника, а позиция ненадежного рассказчика, вольно или невольно возникшая в результате публикации в «Сибири», контрастирует с обычной повествовательной стратегией Потанина и тем самым ставит крымский травелог особняком во всем его публицистическом и мемуарном наследии.

Такая пространственно-временная организация предоставляет повествователю возможность сравнивать природные, культурные, этнографические и экономические особенности двух разных типов имперских окраин: южной, соседствующей с Европой и Турцией, и сибирской, обращенной к Центральной Азии и Китаю. С другой стороны, это снижает документальное начало травелога и усиливает художественно-идеологическое, направленное не на отражение реальности, а на ее конструирование. Что касается «Путевых заметок от Новочеркасска до Казани», опубликованных в казанском сборнике, то они вместе с очерком А.С. Гациского «Из путевых заметок по нижегородскому Поволжью» и стихотворением «Родная глушь (На Меше)», подписанным псевдонимом «П. Поволжский», составляют внушительный блок художественно-публицистической информации о пространстве Поволжья [16. С. 227–334]. Намерение сделать специальный материал в сборник К.В. Лаврского Потанин высказал еще до начала крымского путешествия в письме А.С. Гацискому от 26 мая 1875 г. [17. С. 164]. Потанин также знал, что статей у Лаврского еще мало [17. С. 165], поэтому мог раздробить единый травелог, пожертвовав часть путевых записей в казанский сборник. Кроме того, очевидно, что у этих травелогов должен быть читатель, привыкший к дискурсам «Камско-Волжской газеты», т.е. явно отличный от читателя иркутской газеты.

Специфическая пространственно-временная организация трех путевых нарративов, опубликованных в 1876 г., формирует проблемы жанра и композиции. Травелог можно назвать «крымским» только в силу направления движения повествователя в пространстве. С композиционной, идеологической и повествовательной точек зрения ключевым пространственным концептом этого текста выступает Сибирь, и это отчасти сближает «Крымские письма» с жанром «антитравелога»: он лишь формально соответствует традициям путевой литературы, а содержательно является способом публицистических рассуждений о пространстве, которое не является прямым объектом наблюдений. Крым – это «чужое», «неправильное» пространство, прямо противопоставленное положительно маркированной Сибири – именно об этом повествуют все 17 эпизодов, или «глав»¹, опубликованных в № 12, 14–18 и 21–23 газеты «Сибирь».

¹ Интересно, что в крымском травелоге Г.Н. Потанина отсутствует единообразие наименований этих «глав»: одна часть обозначена только датой («9 июня»),

Проблема композиции проявляется в том, что не вполне ясно, следует ли эти тексты рассматривать как отдельные травелоги или как один большой травелог, состоящий из материалов двух путешествий? В любом случае тексты, опубликованные в «Сибири» и в сборнике «Первый шаг», очевидно, воспринимались автором как концептуальное целое, объединенное повествовательной инстанцией «ученого сибиряка», совершившего ориентальный вояж в Крым с целью лучшего познания Сибири и возвращающегося в Сибирь как типологический внутренний восток Российской империи. В то же время объединенный травелог Потанина может быть описан как два или три разных текста в отношении пространственной тематики – как это, например, сделано в аннотированном указателе «Русский травелог XVIII – начала XIX веков» [18. С. 234, 343].

Таким образом, ведущими принципами организации материала в крымском травелоге Потанина становятся мистификация и противопоставление, главная задача которых – отделить концепты «своего» и «чужого», вовлекая иркутского читателя в социально-политическую дискуссию. Упоминая Севастополь, Ялту, Керчь и другие, более мелкие поселения, Потанин повсеместно фиксирует «чуждость» всего наблюдаемого. Повествователю одиноко и некомфортно – эти мотивы постоянно повторяются как в письмах Ядринцеву, так и во всем крымском травелоге. Подобная нарративная стратегия помогает продемонстрировать моральное и культурное превосходство «своего» пространства над «чужим», становясь основой для размышлений о колониальных отношениях и будущей судьбе Сибири.

Потанин не описывает, каким путем прибыл в Крым, читатель только догадывается, что поездка началась в метрополии, на Севере. Во вводном письме он лишь указывает, что прибыл на поезде, оказавшись в стране чудес, где его сразу окружила смесь Азии с Европой. В сознании путешественника, однако, смешиваются прежде всего Юг и Восток, Крым и Сибирь, две окраины Российской империи, находя-

«10 июня», «13 июня», «14 июня» и др.), другая часть имеет указание на локус («4 июля. Бахчисарай», «7 июля. Ялта», «19 июля. Ялта», «21 июля. Ялта», «23 июля. Ялта»), и один эпизод от 24 июля имеет подзаголовок «Сибирские чиновники и крестьянская община».

щиеся не в лучшем культурном и экономическом положении. Природные различия не важны путешественнику, ему важны различия другого рода, для чего он и вводит в свое повествование негативный образ поэта П.П. Ершова (через много лет этот образ все еще будет удобным приемом сравнения типов истинной и ложной «сибирскости»). Ершов искренне пытался быть сибирским поэтом, воспевать свою красавицу-Сибирь, но «какая поучительная судьба! Человек горячо, до сумасбродства, любил свою родину, и она погубила его, эта “северная красавица”, которая, однако же, была холодная, грязная и грубая красавица, колотившая своего любовника кулаком. Иначе и не могло случиться. Тут надо было другой характер или более богатые дарования. Теперь смешно читать эту историю, как человек с такими небогатыми силами, с ленивым характером и без всяких знаний задумал доставить славу своей красавице. Это была сделана большая глупость – красавица была-таки довольно величественна, и не с силами Ершова было становиться в такую позу в отношении ее» [12. С. 185]. Образ Сибири как женщины эксплицитно связан с татарской сказкой о Пи-кыз и в постколониальном ключе вполне может быть интерпретирован как вариант темы захвата, подчинения и объективации колонии (как женщины) в дискурсах ориентализма.

Рассуждения Потанина о двух типах локального патриотизма – украинского (в лице Т.Г. Шевченко) и псевдосибирского (в лице П.П. Ершова) приводят к выводу не в пользу последнего: «Будучи робким в частной своей жизни, Ершов был вместе с тем и литературный трус; он бы никогда не осмелился сказать, как Шевченко: “Пови-тайте мои думы до Украины”!» [12. С. 186]. Украинское пространство, скрытое в травелоге под рассуждением о Ершове и его непоследовательном (неглубоком) сибирском патриотизме, отражает важность украинофильской тематики в генезисе областнической идеи: Потанин с интересом наблюдает за развитием украинского областничества, но в травелоге предпочитает упоминать его только в культурном контексте, избегая политических и экономических вопросов. В литературном отношении Украина противопоставлена также Центральной России не в пользу последней: «В Малороссии существовала большая народная литература эпических дум, изображавших народную жизнь и подвиги народных героев; великорусская земля по-

добной литературы не имела; вместо того здесь появляется литература интеллигенции, создаваемая по западным образцам; сначала она касается только жизни высших интеллигентных классов общества и только впоследствии начинает демократизироваться и описывать быт податных классов» [12. С. 187].

В эпизоде, описывающем дискомфортное путешествие в Ялту, стоит заголовок «10 июня», между тем из письма Потанина от 18 июня 1875 г. известно, что он в этот момент находился еще в Харькове, положительно маркированным как «малорусское» пространство «с мазанками, окрашенными белым мелом и с соломенными крышами; в городе с пирамидальными тополями и белыми акациями в садах, с виноградом по водосточным трубам и проч.» [17. С. 168]. Положительная маркировка украинского топоса в письме корреспондирует с положительной оценкой фигуры Т.Г. Шевченко в травелог.

В Ялту Потанин прибыл только 24 июня – это следует из письма Ядринцеву от 27 июня 1875 г. [17. С. 170]. В этом письме Потанин описывает свой маршрут: Харьков – Севастополь по земле и Севастополь – Ялта на пароходе. Дорога от Харькова до Севастополя обозначается как движение по Новороссии, «которая представляет [собой] степь, занятую до самого горизонта пашнями, и только около деревень появляется древесная растительность и сады» [17. С. 170]. Граница между малороссийским пространством и типологическим «югом» обнаруживается автором только на южном берегу Крыма, по пути к Севастополю, где автор наблюдает «места с большим разнообразием»: гору Чатыр-Даг, древний монастырь, «вделанный в скалу», а также «красные фески, пассажиры IV класса, пропитывающиеся маслинами, дамы в легких дачных платьях, каменные заборы, виноградники» [17. С. 170]. Примечательно, что в этот положительный южный колорит Севастополь не вписывается, будучи маркированным как город скучный, пыльный, душный, состоящий из полуразвалившихся домов. Несмотря на то, что в Севастополе большинство населения русское, Потанин маркирует этот город как «иностранный», населению которого «чужды интересы русского Севера» [17. С. 171]. Ялта же, наоборот, в этом письме обретает коды «северного» (т.е. русского, европейского) пространства: «это почти небольшой кусочек Невского, но окруженный высокими, покрытыми лесом, горами. С па-

рохода городок кажется прелестной картиной. <...> За городом стеной идут уже настоящие бесчисленные дачи с вычурной архитектурой, точь-в-точь как на островах в Петербурге <...> Гостиниц также множество, и притом есть две великолепные: «Россия» и «Hotel d'Edinbourg» [17. С. 171].

В травелогe сохраняется негативный тон в отношении «скучных твердынь» Севастополя [12. С. 188]. Основанием для противопоставления является различие в отношениях человека и природы: если в Ялте человеку сопутствует растительный мир, то в Сибири – животный. Таким образом, Сибирь объявляется более живой (и «настоящей»), чем Крым, и это подтверждают компаративные рассуждения о типах населения в Сибири, на Урале и в Крыму: в отличие от пространств, где колонизация производит специфический вариант русского народа, возникший под влиянием инородческого окружения и особых климатических условий (позднее, в 1882 г., Н.М. Ядринцев в своей фундаментальной работе «Сибирь как колония» вполне четко укажет на этот особый культурно-антропологический тип «сибиряка» [19. С. 50–85]), население Ялты в глазах Потанина сплошь состоит из дачников и «ремесленников, лавочников, конюхов, парикмахеров и тому подобных людей, работающих на дачников» [12. С. 190].

У такого пространства нет никакой надежды на возникновение местного патриотизма:

Кажется, уברי дачников, и как метлой сметет не только калужанина-парикмахера, но и туземца-фруктовщика. Тут не видно того солидного туземца, как во всех остальных краях, который составляет главный фон жизни и резко выделяется от представляющего эфемерное явление пришельца. Я хотел бы усмотреть, где тут лежит тот коренной пласт, которому принадлежит будущее края, который можно бы назвать общественным телом Крыма, из которого должна выйти местная интеллигенция, – но такие допытывания теперь кажутся даже смешными. Все в высшей степени индивидуально; в глазах рябит от разнообразных костюмов, языков и экономических стремлений; это собрание конюхов, огородников, парикмахеров, прачек, но не плотная оседлая масса, в которой можно было бы, несмотря на ее невежество, уже и теперь изучать намеки далекого будущего [12. С. 196].

В письме Н.М. Ядринцеву от 11 июля 1875 г. Потанин высказывает сходную мысль, помещая в компаративный контекст Крым, Польшу и Сибирь:

Я думаю, что когда-нибудь и для Крыма настанет время пробуждения. Но тут самый решительный контраст с Сибирью. Крым – страна богачей, аристократов, от Польши он отличается тем, что его аристократия чужда ему по своей религии и народности. И притом татарину выгодно это нашествие дачников и землевладельцев: цены на продукты сельскохозяйственные и заработок стоят здесь высоко. Мне кажется, что в Крыму долго не образуется и того самого слабого местного патриотизма, какой можно замечать, например, где-нибудь в Калужской или Рязанской губернии [17. С. 177].

Гораздо более резкое суждение относительно «пестрого населения» Крыма содержится в главе, датированной 27 июля, когда Потанин отправляется в обратный путь:

Разнообразие на таком маленьком пространстве теряет свое назначение успокаивать нервы, утомленные впечатлением однообразия. Правда, пассажирская публика везде более или менее пестра, пестрота ее случайна, но в других случаях знаешь, что стоит сойти с трапа – и простишься с этой пестротой. Здесь нет. Та же пестрота преследует вас и на материке; чувствуешь, что все эти различные языки, костюмы и пр. служат только разгородками между людьми, указывают на существование других мнений, враждебных между собой, непримиренных. Хотелось бы в этом калейдоскопе примкнуть куда-нибудь с своими симпатиями, но напрасно; кто симпатичнее, кто гнуснее, еще не выяснилось, все еще в хаотическом состоянии... [12. С. 204].

Таким образом, вход в крымское пространство Потанин описывает как проникновение в «чужеродный» мир, который имеет очень слабые надежды на развитие культурного начала и еще менее слабые – на возникновение местного («туземного») патриотизма. Потанин дает самый минимальный исторический контекст: в его травелоге нет веков крымской истории, очень мало поэзии и восторженности. Главное для него – современное состояние и будущее развитие имперских окраин, очевидно, противопоставленных метрополии, как I и III классы парохода в Ялту (или как рота и эскадрон и места их проживания в Омском кадетском корпусе: «Бельэтаж – это была Европа, нижний этаж – Азия» [10. С. 42]). Эпизоды крымского травелога идеологически направлены на сибирского читателя, которому нужно объяснить, что «северная красавица» Сибирь гораздо более величественна и притягательна в своей туземности, чем южные курортные города, куда так стремятся толпы обывателей из метрополии.

Список источников

1. Сагалаев А.М., Крюков В.М. Потанин, последний энциклопедист Сибири: Опыт осмысления личности. Томск : Изд-во НТЛ, 2004. 208 с.
2. Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй половине XIX – первой четверти XX в. Новосибирск : Сова, 2008. 270 с.
3. Жиликова Н.В. Журналистика дореволюционной Томской губернии: идея областничества. Томск : Издательство Томского университета, 2014. 288 с.
4. Анисимов К.В. Восточный травелог русской литературы XIX в.: «воображение» имперских окраин и поэтика повествования (предварительные замечания) // Имагология и компаративистика. 2014. № 1 (1). С. 5–21.
5. Головинов А.В., Должиков В.А. «Камско-Волжская газета» и сибирское областничество: ключевое идеологическое и практическое значение (на эпистолярных источниках 1873–1874 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2024. № 500. С. 22–29.
6. Казаркин А.П., Серебrenников Н.В., Доманский В.А. Сибирь в контексте мировой литературы: опыт самоописания. Томск : Сибирика, 2003. 216 с.
7. Янушкевич А.С. Дихотомия сибирского текста // Евразийский межкультурный диалог: «свое» и «чужое» в национальном самосознании культуры. Томск : Изд-во Томского ун-та, 2007. С. 334–345.
8. Pereira N.G.O. The Idea of Siberian Regionalism in Late Imperial and Revolutionary Russia // Russian History. 1993. Т. 20, № 1/4. P. 163–178.
9. Watrous S. The regionalist conception of Siberia, 1860 to 1920 // Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture. New York : Palgrave Macmillan US, 1993. P. 113–132.
10. Литературное наследство Сибири. Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1983. Т. 6. 336 с.
11. Малинов А.В., Пешперова И.Ю. Две версии областничества: Г.Н. Потанин и М.И. Драгоманов // Studia culturae. 2016. № 27. С. 136–149.
12. Литературное наследство Сибири. Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1986. Т. 7. 344 с.
13. Юсупов Ф.Ю., Сайфулина Ф.С., Хисамов О.Р., Гумеров И.Г. Барабинские татары. Страницы духовной культуры. Казань : Казан. ун-т, 2013. 668 с.
14. Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи [на языках подлинников] : в 10 ч. СПб. : Типография Императорской Академии наук, 1872. Ч. IV. 411 с.
15. Thompson C. Travel Writing (1st ed.). New York : Routledge, 2011. 240 p.
16. Первый шаг. Провинциальный литературный сборник. Казань : Типо- и литография К.А. Тилли на Грузинской улице, 1876. 594 с.
17. Письма Г.Н. Потанина : в 5 т. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1988. Т. 2. 344 с.

18. Русский травелог XVIII – начала XX веков: аннотированный указатель. Новосибирск : Немо Пресс, 2018. 832 с.

19. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония: к юбилею трехсотлетия: современное положение Сибири, ее нужды и потребности, ее прошлое и будущее. СПб. : Типография М.М. Стасюлевича, 1882. 471 с.

References

1. Sagalaev, A.M. & Kryukov, V.M. (2004) *Potanin, poslednii entsiklopedist Sibiri: Opyt osmysleniya lichnosti* [Potanin, the Last Encyclopedist of Siberia: An Attempt to Understand a Personality]. Tomsk: Izd-vo NTL.

2. Shilovsky, M.V. (2008) *Sibirskoe oblastничество v obshchestvenno-politicheskoi zhizni regiona vo vtoroy polovine XIX – pervoi chetverti XX v.* [Siberian Regionalism in the Socio-Political Life of the Region in the Second Half of the 19th – First Quarter of the 20th Century]. Novosibirsk: Sova.

3. Zhilyakova, N.V. (2014) *Zhurnalistika dorevolutsionnoi Tomskoi gubernii: ideya oblastничества* [Journalism of the Pre-Revolutionary Tomsk Province: The Idea of Regionalism]. Tomsk: Tomsk State University.

4. Anisimov, K.V. (2014) Eastern travelogue of Russian literature of the 19th century: the "imagination" of the imperial outskirts and the poetics of narration (preliminary remarks). *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 1. pp. 5–21. (In Russian).

5. Golovinov, A.V. & Dolzhikov, V.A. (2024) Kamsko-Volzhskaya gazeta and Siberian regionalism: Key ideological and practical significance (based on epistolary sources of 1873–1874). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*. 500. pp. 22–29. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/500/3

6. Kazarkin, A.P., Serebrennikov, N.V. & Domansky, V.A. (2003) *Sibir' v kontekste mirovoi literatury: opyt samoopisaniya* [Siberia in the Context of World Literature: An Attempt at Self-Description]. Tomsk: Sibirika.

7. Yanushevich, A.S. (2007) Dikhotomiya sibirskogo teksta [The Dichotomy of the Siberian Text]. In: *Evrasiiskii mezhkul'turnyi dialog: "svoe" i "chuzhoe" v natsional'nom samosoznanii kul'tury* [Eurasian Intercultural Dialogue: "Own" and "Alien" in the National Self-Consciousness of Culture]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 334–345.

8. Pereira, N.G.O. (1993) The Idea of Siberian Regionalism in Late Imperial and Revolutionary Russia. *Russian History*. 20 (1/4). pp. 163–178.

9. Watrous, S. (1993) The regionalist conception of Siberia, 1860 to 1920. In: *Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture*. New York: Palgrave Macmillan US. pp. 113–132.

10. Yanovskiy, N.N. (ed.) (1983) *Literaturnoe nasledstvo Sibiri* [The Literary Heritage of Siberia] Vol. 6. Novosibirsk: Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo.

11. Malinov, A.V. & Peshperova, I.Yu. (2016) Dve versii oblastничества: G.N. Potanin i M.I. Dragomanov [Two Versions of Regionalism: G.N. Potanin and M.I. Dragomanov]. *Studia culturae*. 27. pp. 136–149.

12. Yanovskiy, N.N. (ed.) (1986) *Literaturnoe nasledstvo Sibiri* [The Literary Heritage of Siberia] Vol. 7. Novosibirsk: Novosibirskoe knizhnoe izdatel'stvo.
13. Yusupov, F.Yu., Saifulina, F.S., Khisamov, O.R. & Gumerov, I.G. (2013) *Barabinskije tatary. Stranitsy dukhovnoy kul'tury* [Barabinsk Tatars. Pages of Spiritual Culture]. Kazan: Kazan University.
14. Radlov, V.V. (1872) *Obraztsy narodnoy literatury tyurkskikh plemen, zhivushchikh v Yuzhnoy Sibiri i Dzhungarskoi stepi [na yazykakh podlinnikov]: v 10 ch.* [Specimens of the Folk Literature of the Turkic Tribes Living in Southern Siberia and the Dzungarian Steppe [in the original languages]: in 10 parts]. Part IV. Saint Petersburg: Imperial Academy of Sciences.
15. Thompson, C. (2011) *Travel Writing* (1st ed.). New York: Routledge.
16. Anon. (1876) *Pervyy shag. Provintsial'nyy literaturnyy sbornik* [The First Step. A Provincial Literary Collection]. Kazan: Tipo- i litografiya K.A. Tilli na Gruzinskoi ulitse.
17. Potanin, G.N. (1988) *Pis'ma G.N. Potanina: v 5 t.* [Letters of G.N. Potanin: in 5 vols]. Vol. 5. Irkutsk: Irkutsk University.
18. Anon. (2018) *Russkiy travelog XVIII – nachala XX vekov: annotirovannyi ukazatel'* [The Russian Travelogue from the 18th – Early 20th Centuries: An Annotated Index]. Novosibirsk: Nemo Press.
19. Yadrintsev, N.M. (1882) *Sibir' kak koloniya: k yubileyu trekhsotletiya: sovremennoe polozhenie Sibiri, ee nuzhdy i potrebnosti, ee proshloe i budushchee* [Siberia as a Colony: Towards the Tercentenary Jubilee: The Contemporary Situation of Siberia, Its Needs and Requirements, Its Past and Future]. Saint Petersburg: Tipografiya M.M. Stasyulevicha.

Информация об авторе:

Алексеев П.В. – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка и литературы Горно-Алтайского государственного университета (Горно-Алтайск, Россия); старший научный сотрудник Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск, Россия). E-mail: pavel.alekseev.gasu@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

P.V. Alekseev, Dr. Sci. (Philology), professor, Gorno-Altai State University (Gorno-Altai, Russian Federation), senior research fellow, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: pavel.alekseev.gasu@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 15.06.2025.

The article was accepted for publication 15.06.2025.

Научная статья
УДК 821.161.1
doi: 10.17223/24099554/24/11

«Потерянный рай»: пространственная образность в травелоге «Под ясным небом Малороссии» С.С. Евсеенко

*Сергей Сергеевич Жданов^{1, 2}
Ирина Владимировна Гаузер^{3, 4}*

^{1, 3} *Новосибирский государственный технический университет,
Новосибирск, Россия*

^{2, 4} *Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
Новосибирск, Россия*

^{1, 2} *fstud2008@yandex.ru*

^{3, 4} *fstud2008@yandex.ru*

Аннотация. Рассмотрены пространственные образы Черниговской, Полтавской и Харьковской губерний в травелоге «Под ясным небом Малороссии» С.С. Евсеенко. Установлено сочетание фактографического нарратива и «пиитической» традиции изображения Малороссии в ее идиллической и легендарно-исторической ипостасях. Последняя наиболее ярко выражена в репрезентациях харьковских топосов. Также выявлено влияние литературных образов, созданных в том числе Т.Г. Шевченко, на авторское восприятие малороссийского пространства.

Ключевые слова: имагология, пространство, Украина, Малороссия, Черниговская губерния, Полтавская губерния, Харьковская губерния, травелог, С.С. Евсеенко, идиллия

Источник финансирования: исследование выполнено в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 24-28-01431 «Репрезентация пространства Украины в русской культуре конца XVIII – XIX веков (на материале отечественных травелогов): дискурсы, нарративы, топосы», <https://rscf.ru/project/24-28-01431/>.

Для цитирования: Жданов С.С., Гаузер И.В. «Потерянный рай»: пространственная образность в травелоге «Под ясным небом Малороссии» С.С. Евсеенко // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 229–254. doi: 10.17223/24099554/24/11

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/11

"Paradise Lost": Spatial imagery in the travelogue *Under the Clear Sky of Little Russia* by Sergei Evseenko

Sergey S. Zhdanov^{1, 2}

Irina V. Gauzer^{3, 4}

¹ Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation

² Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russian Federation

^{1, 2} fstud2008@yandex.ru

^{3, 4} fstud2008@yandex.ru

Abstract. The article examines the spatial images of the Chernihiv, Poltava, and Kharkiv governorates in Sergei Evseenko's travelogue *Under the Clear Sky of Little Russia*. The representation of space can be presented through a series of oppositions, for instance, a factographic, neutrally described "Little Russia" versus a positively described "poetic" Little Russia. The importance of the "poetic" element is determined by its actualization in the text's "strong" points – the title and the final scene. This "poetic" quality has two facets. One is the idyllic, associated with the image of an achronal, midday Russia that formed in sentimentalist texts. Its markers are motifs of attractiveness and demi-naturalness, manifesting the mythologeme of naturalness. The idyllic element is expressed to varying degrees in the three local variants of the Little Russian space and is contrasted with an anti-idyllic element – a negatively depicted Little Russia. The anti-idyll is most pronounced in the representation of Chernihiv Governorate, where it is actualized in descriptions of urban provincial topoi, marked either by motifs of a technicist civilization as the opposite of naturalness, or by motifs of provinciality (apathy, irrationality, dullness, boredom, etc.). In the text, the Chernihiv region is a variant of a lost (desecrated) paradise. The only idyllic aspect in its depiction is the representation of the forest space, marked by motifs of healing, purity, and respite. It is also worth noting that Chernihiv Governorate is characterized by the least degree of not only "poeticism," but also "Little Russianness" (in relation to the human sphere). Next in terms of idyllic degree is the representation of Kharkiv Governorate. Here we find, on the one hand, the moderately idyllic topos of Slavyansk and its "civilian" resort, as well as the extremely expressively described sacred demi-natural locus of the Svyatogorsk Monastery. On the other hand, there are loci with negative connotations, such as the military water therapy establishment and the

Horlivka mines. The latter share anti-idyllic features similar to those in Chernihiv (motifs of poisoned air/impaired breathing, human exploitation). The human sphere is characterized by a combination of Little Russian and Great Russian traits. The idyll is most fully actualized in the depiction of Poltava Governorate, whose nature is of a steppe character. Furthermore, the anthropic "Little Russianness" is most strongly expressed in this spatial variant. The second, legendary-historical facet of the "poetic" is also actualized unevenly across the local variants. The space of historical memory in Chernihiv Governorate is manifested in descriptions of loci related to industrial and Old Believer spheres. Within the depiction of Poltava Governorate, we encounter only weakly expressive images associated with the Battle of Poltava. Historicity is most vividly represented within Kharkiv Governorate, whose representation emphasizes the Russian-Tatar liminality of the territory within the timeframe of the 17th–18th centuries and the Cossack element.

Keywords: imagology, space, Ukraine, Little Russia, Chernihiv Governorate, Poltava Governorate, Kharkiv Governorate, travelogue, S.S. Evseenko, idyll

Financial support: The research is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-01431, <https://rscf.ru/project/24-28-01431/>; Novosibirsk State Technical University.

For citation: Zhdanov, S.S. & Gauzer, I.V. (2025) "Paradise Lost": Spatial imagery in the travelogue *Under the Clear Sky of Little Russia* by Sergei Evseenko. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 229–254. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/11

Маркированные украинскостью / малороссийскостью образы, в том числе пространственные, в русской словесности XIX в. не раз выступали предметом исследования в монографиях [1–3], статьях [4–14] и диссертациях [15–17], опубликованных в первой четверти XXI столетия. В качестве текстовых источников в них привлекались среди прочего отечественные травелоги. В то же время обширность этого материала, нуждающегося также в имагологическом осмыслении, обусловило неравномерность исследованности русских травелогов XIX в. В частности, насколько нам известно, в отечественном литературоведении никогда не анализировался травелог «Под ясным небом Малороссии» С.С. Евсеенко, который, будучи опубликован в 1901 г., повествует о путешествии автора по Черниговской, Полтавской и

Харьковской губернии конца XIX в. («в девяностых годах»)¹ [18. С. 3]) и, следовательно, содержит репрезентацию малороссийского пространства, тесно связанную с традицией изображения Малороссии в данном столетии.

Соответственно, прежде чем установить специфику текста Евсеевского, вкратце охарактеризуем те нарративы, в рамках которых зарождалось описание этого пространства. О.С. Крюкова, сконцентрировавшись в своем исследовании на романтическом нарративе и подчеркивая «преимущественно литературный образ» Украины в русской словесности, выделяет в его формировании два ключевых периода: во-первых, «предромантический», когда «регион мыслился под знаком патриархальной идилличности, безыскусности и цельности», а во-вторых, собственно романтический со свойственным ему «романтическим двоемирием», создающим «образ идеального топоса, на который проецировались реальные впечатления от ближних и дальних путешествий или просто обобщенные представления... о райском уголке земли» [3. С. 11]. В целом подчеркнута двусоставность смыслового ядра малороссийского пространства, куда наряду с идилличностью входит также живущая в преданиях и песнях «память о героическом прошлом» [3. С. 14]. При этом данное «легендарное» пространство исторической памяти, включающее, как указывает С.О. Курьянов, мифологему Запорожской Сечи, тесно связано с мотивом «тоски по утраченной свободе» [8. С. 768]. Несколько иной генезис украинской пространственной образности зафиксирован в работе Е.Е. Левкиевской, выделяющей три этапа: первый, сформированный «сентиментальной литературой путешествий (В. Измайлов, П. Шаликов)», концентрируется на мотивах идиллии («Аркадии»-Украины) и «человека естественного»; «второй этап освоения русской литературой образа Украины и украинца связан с историко-героической темой, посвященной, главным образом, казачьему прошлому Украины» [19. С. 157]; третий же, основанный на «принципах романтической эстетики и «вальтерскотовского» осмыслении Украины как «русской Шотландии»», обращается к «этнографическому колориту Украины» как «фону», «на котором действуют романтические герои» [19. С. 158].

¹ Здесь и далее орфография и пунктуация цитируемого текста приближены к современным. – *Авт.*

Следовательно, начальный этап ассоциируется с сентименталистским нарративом, а второй (имплицитно) и третий (эксплицитно) – с нарративом романтическим. Задаваемая Левкиевской схема генезиса украинской темы в русской литературе, однако, имеет ряд недостатков. Во-первых, она содержит некоторую нечеткость периодизации, поскольку в качестве примера произведений второго этапа приводится гоголевский «Тарас Бульба» [19. С. 157], а третьего – «Вечера на хуторе близ Диканьки» [19. С. 158], так что может сложиться впечатление, будто бы последний текст создан после первого. Во-вторых, сентименталистским травелогам противопоставлены нетравелогические произведения Гоголя.

Насколько нам позволяет судить наш опыт анализа текстов русских травелогов конца XVIII – первой половины XIX в., картина выглядит несколько сложнее, по крайней мере для травелогов. Действительно, с одной стороны, мотив идилличности Малороссии активно формируется в рамках сентименталистского нарратива. С другой – параллельно (хотя порой и в связи с сентименталистским) продолжает развитие фактографический и травестийный взгляды на малороссийское пространство, обусловленные досентименталистской традицией, примерами чему служат тексты П.И. Сумарокова [20], И.М. Долгорукого [21] (в последнем случае сентименталистские локусы скорее формируют «анклавы», окруженные неидиллическим травестийным пространством [14. С. 243]). Далее мотив мифологизируемой казацкости начинает формироваться еще в рамках сентименталистских / предромантических текстов. Так, в «Письмах русского офицера» Ф.Н. Глинки возникает мотив казаков Хмельницкого как борцов за свободу, которым «противопоставлена анархическая, маргинальная казацкость Запорожской Сечи»¹ [22. С. 79]. В сентименталистских же «Письмах из Малороссии» А.И. Левшина [23] наряду с идиллической репрезентацией складывается целый хронотоп «казацкой Малороссии» со своими героями и антигероями, а также наблюдаются элементы «рационально-объективной, фактографической манеры изоб-

¹ Ср. с противопоставлением в сумароковском тексте казаков Слобожанщины как «преграды татарским набегам» [20. С. 47] «вредоносному гнезду Запорожской Сечи» [20. С. 163].

ражения пространства» [12. С. 39]. Таким образом, идиллическое, героическое (легендарно-историческое) и фактографическое начала оказываются тесно переплетены в отдельных травелогах, которые часто не укладываются в рамки одного, строго отделяемого от другого нарратива. При этом литературность малороссийского пространства постоянно усиливается за счет интертекстуальности, в которой ко второй половине XIX в. выделяются два персональных текста – гоголевский и – позднее – шевченковский. Не случайно именно фигуры Гоголя и Шевченко выбраны М.И. Назаренко в рассуждениях о путях развития украинского текста в его русском (великоросском) и украинском вариантах. Хотя исследователь и противопоставляет гоголевский текст левшинскому, он подмечает в них некое сродство – сочетание идилличности (в настоящем, причем в случае более позднего Гоголя – «сокращенного эдема», потерянного рая, вышедшего из «внеисторической неподвижности и начальной невинности», пропитанного скукой существования миргородских обывателей) и героичности в прошлое: левшинская «мирная воинственная Малороссия – такой же незамечаемый оксюморон, как страшный дружественный Тарас Бульба» [4]. Эта постгоголевская Малороссия зафиксирована, например, в погодинском тексте, где гоголевский текст интерферирует с авторским описанием пространства («В Миргороде те же широкие улицы, низменные домики, грязь по дороге и лужа на перекрестке, как во время ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» [24. С. 160]) и при этом акцентированы мотив потерянного рая и утраченной невинности («роскошь уже закралась и производит опустошения, рождает недостаток, притеснение и насилие» [24. С. 162]). Показателен также малороссийский фрагмент гречевского текста, как и погодинский, относящийся к 1840-м гг. [25]. Здесь Малороссия названа «пиитической», тем самым противопоставленной «прозаическому» пространству. В свою очередь, гречевский «пиитический ониризм» [13. С. 188] связан как с идиллической, природосообразной и ахронной локальностью, так и с пространством исторической памяти в легендарно-песенном варианте: «Заунывные малоросские песни ублаживали меня в первые дни моего существования. Киев со всеми своими красотами, преданиями, поверьями был тою волшебною страной, куда летало детское мое воображение» [25. С. 191].

Вышеизложенные соображения следует учитывать при анализе малороссийского пространства у Евсеенко. На первый взгляд содержание текста резко противопоставлено его пиитическому названию. Вместо идиллического «ясного неба» как маркера «полуденной России» читатель зачастую встречает многостраничные фактографические описания, касающиеся экономических, геологических, гидрологических, ботанических и т.п. характеристик губерний, устройства местных аптек или горловских угольных шахт. В этом путевые заметки Евсеенко-врача напоминают травелоги М.П. Жданова, «главнейшею целью» путешествия которого, по его собственному утверждению, являлось «наблюдение за состоянием в нашем отечестве сельского хозяйства и в особенности садоводства», на что в записках обращено «наибольшее внимание» [26. С. II–III], и екатеринославские фрагменты текста ботаника В.М. Сидорова [27], превосходя, однако, по скрупулезности и безыскусности изображения последние два произведения.

Причем за исключением Полтавы текст Евсеенко не содержит репрезентаций губернских городов, сосредоточиваясь на описании природных или малых урбанистических локусов. Принцип выборки объектов изображения основан на административном членении Российской империи, в результате чего мы встречаем в травелоге образы Черниговской губернии, которые лишь формально относятся к Малороссии, не будучи содержательно маркированы малороссийскостью. Такова, например, репрезентация посада Клинцы. Как и у Левшина [12. С. 38], часть Черниговщины у Евсеенко отмечена мотивом раскольниковства: «Основание Клинцов относится к началу XVIII столетия и приписывается раскольникам, бежавшим из России... в местные, когда-то непроходимые, дремучие леса. Как свидетельство былых времен недалеко от Клинцов... в лесной чаще ютятся два старообрядческих монастыря» [18. С. 11].

Для топосов Черниговщины характерен также мотив обезлесения, который встречаем еще у Жданова («Леса в губернии год от году приходят в худшее состояние: винокурни чрезвычайно много потребляют лесного материала» [26. С. 169]) и связан у Евсеенко с мотивом потерянного рая. Но если в ждановском тексте этот мотив эпизодичен, то в евсеенковском становится лейтмотивом: «это-то богатство, этот

естественный дар природы – лес, клинцовские заправицы решили срубить!?!» [18. С. 7]; «варварское обращение» «с природными богатствами этой местности» и «его ужасные последствия»; «безрассудная, беспощадная и недальновидная система истребления всего леса, изменявшая климат, почву и цветную растительную культуру; благодаря этому, реки превращались в ручьи, озера в топкие болота или в высохшие овраги, поля – в бесплодные песчаные равнины и т.п.» [18. С. 12–13]; «Лесоистребление здесь достигло таких размеров, что я... не узнавал совершенно многие местности... Иссекали реки, явились овраги и летучие пески, обещающие обратить культуру полей в пустыню; в Глуховском у. ...в д. Вязенке песком истреблена часть огородов и сенокосов, в с. Уздипе занесен сенокос и часть поля» [18. С. 16]. Вообще локусы песков и оврагов есть места актуализации энтропийности, разрушающей демиприродные локусы полей (и дорог) в Черниговщине и Харьковщине: «во многих местах... господствуют пески, убивающие... всякую растительность» [18. С. 15]; «местами пески, местами овраги и высохшие речки» [18. С. 16]; «За последние 30 лет площадь песков здесь (в Черниговской губернии. – *Авт.*) возросла на 37000 десятин... Овраги также наносят громадный ущерб местному сельскому хозяйству; они уничтожают в несколько часов громадные пространства культурных земель, иссушая поля и удлиняя дорогу часто на многие версты... страшный враг надвигается на эту местность – призрак бесплодной пустыни!» [18. С. 16–17]; «В Харьковской губернии эта площадь песков обнимает 80000 десятин, не считая оврагов» [18. С. 16]. Через мотив песчаности актуализирована контаминация пространств Малороссии и Центральной Азии: «площадь сыпучих песков, ...рост оврагов в Черниговской губернии сильно увеличиваются, ...повторяются... пыльные смерчи и бураны, переносящие пески и почву с полей и местами заносающие даже железные дороги, так что кое в чем местность эта стала... походить на сухие нагорья Центральной Азии» [18. С. 16].

Мотив загрязнения, связанный с мотивом потерянного рая и маркирующий пространство как антиидиллию, свойствен также локусам клинцовских «чулочных, суконных и парусиновых фабрик», «кожевенных и других заводов», из-за чего топос приобретает негативный статус «русского Манчестера». Этот мотив предстает в вариантах

дыма и копоти как противоположности идиллическому мотиву «ясного неба Малороссии»: «посад совершенно невидим и только густые облака дыма, поднимающиеся над лесом... копоть и загрязнение воздуха от вечного дыма» [18. С. 4]. По сути, Клинцы изображены антиантропным пространством: «фабричный дым, загрязняющий окружающий воздух и в зимнее время делающий пребывание здесь для непривычного человека почти невыносимым» [18. С. 7]. Другие варианты мотива загрязнения воплощены в описаниях локусов грязных улиц, отравленной и зараженной микроорганизмами реки: город «не удовлетворяет самым слабым требованиям современной гигиены», «невылазная грязь и уличный мусор» [18. С. 4]; «фоном... служит... речонка (Туросна), которая до такой степени загрязнена разного рода фабричными отбросами и нечистотами, что в летнее время нет возможности пройти по ее мосту без тошноты и головокружения... вода имеет отвратительный вкус и запах... рыба в ней гибнет целыми массами, а скот... болеет разного рода желудочно-кишечными расстройствами и часто падает» [18. С. 4–5]. Также Клинцы маркированы мотивом непривлекательности («неприглядная внешность» [18. С. 4]). Наконец, репрезентация города выстроена на гротескных антитезах света («электричество») и тьмы («непроглядная темнота неосвещенных улиц»), грязи и роскоши («роскошные экипажи», «тысячные рысаки»), технического прогресса («новейшие машинные усовершенствования») и непросвещенности («массовая безграмотность фабричных рабочих и их заправил») [18. С. 4].

Вообще, столкновение начал прогресса и неразумия¹ – один из ведущих мотивов в тексте Евсеенко. Так, в Клинцах автор отмечает как «общительность» и «пробуждение от стародавней летаргии»² «под влиянием образования» (мотив открытости пространства), так и «замкнутость и обособленность местного общества» (мотив закрытости)

¹ Ср. также противопоставление локуса «прекрасно устроенной местной аптеки» преобладающим среди «местного простого люда» «знахарству», «грубому эмпиризму и коновальству» [18. С. 12].

² Например, П.А. Бибииков, изображая Екатеринослав 1860-х гг., прибегает к сходным мотивам покоя, апатии и кошмара: «Все погружено в глубокий невозмутимый покой, в удушливую для постороннего организма апатию. ...Словно одуряющий кошмар распростер над нею (провинциальной жизнью. – *Авт.*) свои крылья...» [28. С. 108].

[18. С. 12]. Здесь также реализуется оппозиция «новое (прогрессивное) – старое (косное)». Характеристика последнего принимает в том числе литературные формы: «бессмертные типы Островского и даже Гоголя здесь еще встречаются во всей своей неприкосновенности» [18. С. 12]. В данном фрагменте гоголевский текст предстает не как патриархальная идиллия, а в негативно-провинциальной ипостаси. Аналогичным образом хищническая вырубка леса противопоставлена новейшим знаниям («все это совершается в то время, когда к печати, в земских собраниях и в... ученых обществах идут оживленные разговоры о насаждении лесов, сохранении и сбережении их!...» [18. С. 13]).

В целом города Черниговщины маркированы типажными для пространства провинции мотивами непривлекательности, маломасштабности, скуки / грусти / серости: Сураж, «считающийся, по какой-то иронии судьбы, уездным городом», но напоминающий «скорее большое село или плохую пригородную слободку» [18. С. 13]; «Местная общественная жизнь бедна, сонлива и чужда каких бы то ни было духовных стремлений; на ней лежит какой-то отпечаток беспросветных, серых сумерек и полное отсутствие высших общественных интересов» [18. С. 14]; «При... знакомстве с этими городами почти не над чем было остановить свое внимание: ...будничная серенькая жизнь, отсутствие общественных интересов» [18. С. 16]; «грустные условия существования в местной провинциальной глуши» [18. С. 17].

Мотив потерянного рая актуализирован и через связь с мотивом (экономического) упадка и запустения. Так, «местечко Мезиричи» представлено в двух темпоральных планах: в прошлом («былые времена (лет 30 тому назад)») здесь «процветала обширная суконная мануфактура», локус которой маркирован масштабностью, многолюдностью («обширная фабрика», «огромное число немцев», выписанных из Германии) [18. С. 13]. В настоящем эти мотивы заменены на противоположные («С прекращением фабричного дела немцы ушли и Мезиричи опустели») [18. С. 13]. Энтропийность топоса актуализирована в локусе «развалин с колоссальными фабричными трубами» и «обширного немецкого кладбища», напоминающего «о былой кипучей жизни в этом месте всеобщего запустения» [18. С. 13]. Мотивы упадка и запустения выражены и в репрезентации помещичьих усадеб: «местное коневодство, с обеднением и запустением помещичьих хо-

зайств, стало сильно падать, мельчать и вырождаться; известные в былое время конные заводы... совершенно прекратили свое существование или влачат еще жалкие следы своего прежнего величия»¹ [18. С. 18]; «много встречалось имений с дворцами, театрами, парками и прудами, ...но все они находятся в грустном состоянии разрушения» [18. С. 19].

Таким образом, антропоное пространство Черниговщины в целом маркировано негативно. Ему противопоставлены положительно описываемые природные локусы, прежде всего лесные². Лес отмечен мотивами привлекательности (визуальной и ольфакторной), густоты, здоровья, чистоты, тишины, богатства, свободы (дыхания): Клиницы окружены, «прекрасным строевым сосновым лесом» [18. С. 4]; «Неисчерпаемое богатство и прелесть Клинцов – это его дремучий, стройный сосновый лес, ...имеющий огромное оздоравливающее значение; без него Клиницы были бы невыносимою зловонной клоакой; ...он умеряет своим смолистым ароматом посадские зловония, очищает воздух и доставляет здоровое отдохновение в тени несколькими тысячам фабричных тружеников. ...лес, с его тишиной, тенью и ласкающим ароматом» [18. С. 6]. Описывая пространство идиллии, в то время как город есть пространство антиидиллии, нарратор смещает повествование в «лирический» регистр³, прибегая, в частности, к олицетворению и метафорам, восклицательным предложениям: «Статные сосны где-то высоко шепчутся над вами; длинные, колючие ветки едва шевелятся; дятел неустанно совершает свою работу, резко отчеканивая каждый удар своего крепкого клюва. Неизъяснимое спо-

¹ Сходную картину упадка помещичьих локусов к концу XIX века изображает А.Н. Молчанов в пространстве Екатеринославской губернии: «Екатеринослав – помещичье гнездо. ...искусственным путем еще кое-как поддерживается оживление города. ...на постоянных дворах коляски, остатки помещичьей роскоши» [29. С. 360].

² Другой вариант естественных, положительно маркированных локусов – речные пространства. Так, «украшением» Суража служат «хорошая многоводная река Ипуть и уцелевшие еще остатки соснового леса» [18. С. 13–14].

³ Впрочем, не всякий природный локус описывается в тексте идиллически. Встречаются также обобщенные фактографические (ботанические) репрезентации природного пространства.

койствие западает в душу, проникая во все части человеческого существа, а кругом так дремотно, тихо и веет ароматом! Но вот набежал ветерок, зашумели верхушки стройных сосен, словно морские волны; сквозь стройно идущие прогалины между дерев виднеются кусты вечнозеленого папоротника; тут же ютится земляника и отдельно стоят грибы (мухоморы) под своими красивыми, но зловредными шляпками» [18. С. 6]. Если город изображен во многом как пространство упадка, неестественной цивилизации, то лес, наоборот, наполнен природной жизнью. В этом локусе мотив покоя приобретает коннотации, противоположные городским, антиидиллическим – не апатии, а сна-отдохновения, смещающего границы реального и фантастического и актуализирующего ониризм нарратора: «сердце то вдруг задрожит и забьется, то замрет в воспоминаниях. Вся прошлая жизнь развертывается в думах легко и быстро, как давно прочитанная книга» [18. С. 7]. Закономерно, что черниговские леса получают идиллическую огласовку, актуализируют мотивы сохранившегося рая и оздоровления, тогда как в городском пространстве доминируют мотивы потерянного рая и болезни: «В летнее время почти все окрестные деревни... наполняются проезжими грудными больными, чающими найти исцеление в этом чудном лесном раю, и многие из них, действительно, получают значительное облегчение и даже исцеление от своего недуга» [18. С. 7].

Следует отметить особую важность оппозиции «болезнь – здоровье» для изображаемого хронотопа. Понятие болезни, во-первых, трактуется в тексте исходя из позиции нарратора, который одновременно выступает и врачом, и пациентом (как мы узнаем, он едет в том числе лечиться на «славянские минеральные воды» [18. С. 27]). Отсюда особая роль репрезентаций курортов в травелогге. Во-вторых, болезнь понимается шире – как примета конца века, общественное нездоровье, атмосфера напряжения и неестественности. Это выражается, в частности, в противопоставлении двух типов богомольцев, наблюдаемых нарратором в Святогорском монастыре: с одной стороны, богомольцы-крестьяне, в образе которых актуализированы мифологемы естественного человека и народа-страдальца («приходят сюда тысячами, чтобы помолиться и отдохнуть нравственно от своих многолетних непосильных трудов» (мотив оздоровления)); с другой – «не имеющие» с первыми «ничего общего» «астеники», «чудаки»,

«люди со странностями», вносящие в социум «разложение и деморализацию» (мотив заражения) [18. С. 40]. При характеристике отрицательного антропного начала Евсеенко обращается к литературе, видя сходство реальных людей с персонажами Достоевского, Чехова и Толстого. Данный мотив общественной болезни (и энтропии) актуализирован также в финале произведения, когда нарратор покидает Малороссию, чтобы «отправляться снова туда, где все переполнено мелкими заботами, служебными дрызгами и той болезненной нервностью, сливающей под именем психоза» [18. С. 49]. В этом смысле пространство Малороссии выступает топосом-убежищем, идиллией и «раем», пусть, как было показано выше, и частично потерянным.

Повторим, собственно идиллическим в рамках изображения Черниговской губернии выступает природное пространство. В антропно-«этнографическом» же плане Черниговщина¹ в тексте Малороссией не является, если вспомнить характеристику Клинцов, население которых «состоит из русских, евреев и немцев-колонистов, выписанных некоторыми фабрикантами около 80 лет тому назад из Германии специально для фабричного дела» [18. С. 11]. Та малороссийскость, известная нам еще в сентименталистских текстах, проявляется прежде всего в репрезентации Полтавской губернии, в описании городов Пирятина, «типичного представителя Малороссии» [18. С. 20], и Прилук, чье окружение маркируется не как лесное, а как степное пространство («чисто степной характер» [18. С. 20, 21]; «роскошная степная равнина с цветущими полями, сочными лугами и привлекательными малорусскими деревнями» [18. С. 21]). Это уже в большей степени демиприродный пейзаж с мотивами привлекательности (визуальной и ольфакторной), упорядоченности, изобилия и ясного неба, т.е. идиллический, свойственный мифологеме «полуденной России»: «Там и сям желтеет высокая рожь и правильными рядами лежит скошенная трава; воздух... напоен благоуханием скошенной травы, поспевающей ржи и отцветающей гречихи. ...небо чисто и поразительно ясно» [18. С. 24]. Здесь же встречаем и типажный двойной животно-антропный образ хохла и его вола [30. С. 83]: «что-то протяжно заскрипело, послышалось флегматичное гэ-гэ-гэ! и из глубины высокой

¹ Дихотомию «настоящей» Малороссии и Черниговщины встречаем еще у Левшина [12. С. 45].

ржи медленно выдвинулась телега, запряженная парюю... быков с типичным хохлом и всеми атрибутами Малороссии» [18. С. 23]. Кроме того, в отличие от Клинецов, подчеркнут «преимущественно» малороссийский состав населения Прилук [18. С. 23]. Также городское пространство описано положительно посредством мотивов привлекательности («Мужская гимназия, городской общественный банк, больница и две аптеки составляют украшение города»), оживленности («Жизнь в городе, благодаря... ярмарке, отличалась необычным оживлением и суетой торгового люда»), подчеркнутой демиприродности («весь утопающий в зелени и садах») [18. С. 23]. В качестве негативных свойств пространства отмечены лишь мотивы жары и пыли («Зной густеет, становится томительно жарко, пыльно, душно» [18. С. 23]) и «невыносимой» ярмарочной музыки [18. С. 24]. Те же положительные мотивы (антропная малороссийскость, демиприродность, привлекательность) характеризуют современную нарратору Полтаву: «Из всех городов Малороссии едва ли найдется другой город более симпатичный, более привлекательный по своей общественной жизни и простоте нравов, чем Полтава – с ее зеленью, садами, рощами и серебристыми, по окраинам города, домиками; в ней нашли... отражение все национальные черты малорусской народности: добродушие, общительность и какая-то особенная задушевность, окрашенная безобидным юмором и отпечатком легкой грусти» [18. С. 25]; «Население города... состоит преимущественно из малороссов, небольшого количества евреев и немцев» [18. С. 26]. Сюда же относится и «сравнительная» «дешевизна» жизни [18. С. 25], делающая город уютным тихим местом, прибежищем «отставных чиновников, офицеров и других лиц, получающих определенную ренту» [18. С. 26], т.е. патриархальным идиллическим топосом с «простотой нравов».

При этом пространство исторической памяти Полтавы выражено гораздо слабее по сравнению с многими текстами начала века. У Евсеенко нет присущего последним батального ониризма, связанного с местом Полтавской битвы. Историческая память, как и в травелогЕ Долгорукого, актуализирована в достаточно нейтральном описании городских памятников «в честь полтавской победы над шведами»: «один, представляющий колонну на гранитном пьедестале, увенчанную бронзовым орлом с лавровым венком во рту и перунами в когтях; сооружен... в 1809 году на том самом месте, где городской комендант

Коллин ...встретил Петра I при торжественном въезде его в Полтаву. Другой, сооруженный в 1849 году, находится на месте бывшей квартиры Коллина, где Петр отдыхал после кровопролитного сражения; памятник представляет прямоугольную призму с мечом, щитом и шлемом наверху» [18. С. 26].

Наконец, репрезентация Харьковской губернии представлена описаниями Славянска и его окрестностей (Святогорского монастыря и шахты в Горловке). Изображение Славянска сходно мотивами малороссийскости и привлекательности с образами полтавских городов, хотя менее экспрессивно и более фактографично, чем образ «приветливой Полтавы»: «население города... состоит почти исключительно из одних малороссов. Украшением города служит: три православных храма, женская прогимназия, два городских училища, три церковно-приходских и до десяти частных школ» [18. С. 27]. Основной упор сделан на изображение соленых озер и водолечебниц. Малороссийскость фиксируется в гидрономике: объяснение названия Репного озера от малороссийского глагола «репнуть» (треснуть), упоминание впадин-«топил» «на местном наречии» [18. С. 30]. В целом демиприродный локус гражданского курорта маркирован умеренной привлекательностью («вполне благообразный и даже привлекательный вид»; «прекрасный парк» с «тенистыми аллеями», «прелестный цветник с душистыми розами, резедой, левкоями, незабудками, георгинами»), комфортом и даже роскошью («кабинеты щедро обставлены всеми нужными принадлежностями»; «просторный зал, обставленный всеми современными удобствами») [18. С. 35]. «Полную противоположность» ему составляет образ военной лечебницы на другом берегу Репного озера: «здесь все уныло, неприятно, казарменно, хотя и с парком – пародией на таковой; ...палаты с голыми стенами, убогой мебелью и отсутствием самых необходимых предметов» [18. С. 35].

Репрезентация Святогорского монастыря отмечена мотивами (визуальной и аудиальной) привлекательности и демиприродности локуса: он относится к местностям, «могущим доставить удовольствие и эстетическое наслаждение», «отличающимся своей чарующей живописностью» [18. С. 36]; по дороге к монастырю «глаза путешественника не могут... оторваться от роскошных видов берегов Донца, покрытых лесами равнин и обнаженных холмов; особенно привлекательны виды с вершины холмов» [18. С. 37]; здесь перед посетителем

предстают «чарующая и не поддающаяся никакому описанию картина», «пропасть, задрапированная сосной, дубом и орешником», «во всей своей красе Святогорский монастырь и берег Донца, утопающий в большой зелени нарядного густого леса» [18. С. 37–38], «восхитительный вид» [18. С. 38], «дивная картина», «чудный вид» [18. С. 39], «чудный живописный уголок», «мелодичные переливы часовых колокольчиков», «чарующие лесные звуки» [18. С. 40]. Мотивы чуда и очарования актуализируют переход нарратора-созерцателя в онирическое сакральное пространство: «В такие минуты... мысли направляются к тому высшему порядку идей, где все так необъятно, таинственно и, вместе с тем, притягательно» [18. С. 39]. Демиприродность локуса также подчеркнута сравнением сублокуса церкви Св. Николая с «ласточкиным гнездом» [18. С. 38]. Кроме того, место, где можно встретить «десятки тысяч богомольцев» со всей Руси [18. С. 40], характеризует относительно большая степень открытости.

Противоположностью ему выступает локус монашеского скита, маркируемого закрытостью («в самой глухой чаще леса»; «вход... посторонним лицам воспрещен за исключением одного дня в году»; «монахи-сподвижники, совершенно отрекшиеся от всякой мирской суеты» [18. С. 39]. Данное место, отмеченное мотивами мортальности, связанное с «умерщвлением» «плоти и житейских страстей», противопоставлено локусу леса как пространству жизни и визуальности: «Среди этой восхитительной зелени глухого леса с едва пробивающимися ласкающими лучами летнего солнца и дышащей дикой прелестью всей окружающей обстановки чем-то замогильным веет от скита, где невидимо витает сознательная смерть, ни следа движения и какая-то тоскливая пустынность» [18. С. 39].

Описание горловских шахт мало примечательно, представляя собой смесь фактографии со слабо выраженной мифопоэтикой «подземного царства» [18. С. 47]: мотивы темноты, отравленного / испорченного воздуха («окружающий воздух представляется тяжелым, удушливым» [18. С. 44], опасности и страха («опасности» «тяжелого подземного труда»; «смутное чувство какого-то неопределенного страха и боязни» [18. С. 43]). Как и в Клинках, производственная сфера пространства шахт связана с мотивом эксплуатации – «неограниченной власти капитала» [18. С. 43]. По сути, это изображение служит кон-

трастом к описанию сцены прощания с Малороссией, которая выступает в пиитической ипостаси, имеющей, в свою очередь, идиллическую и легендарно-историческую стороны. Можно говорить о реализации принципа романтического двоемирия, где целереационально-производственное и в то же время иррационально-темное (вызывающее страх) пространство шахт противопоставлено пиитической Малороссии в ее идиллической ипостаси, маркированной мотивами «ясного неба», (визуальной и ольфакторной) привлекательности, света, тепла, т.е. знаков жизни: «я возвратился на поверхность земли, испытывая чувство высокого наслаждения от яркого солнечного света, чистого воздуха и вида самой земной поверхности, которых был лишен» [18. С. 47]; «Был чудный южный вечер, с ясным небом и мириадами блестящих звезд. Земля... ускоренно дышала теплом и... в воздухе веяло... ароматом степей. Зажженные фонари... утопали в серебристых лучах мерно выплывающей луны» [18. С. 48]. Попадание нарратора в идиллическое пространство¹ вновь актуализирует ониризм: «Воспоминания и разного рода мысли роились одна за другой, сменяясь как в калейдоскопе» [18. С. 48]. Отсюда возникает известное нам по романтическому нарративу раздвоение хронотопа на мир «действительной жизни» [18. С. 48] (большой мир, куда должен уехать нарратор) и малороссийский топос, где смешаны реальность и визионерство. При этом ониризм сцены прощания с Малороссией связан не только с идиллической ипостасью пиитического топоса, но и с легендарно-исторической, т.е. совершается переход также в пространство исторической памяти.

Вообще в репрезентации Харьковщины историческое начало выражено наиболее ярко. Так, оно актуализировано в описании Славянска, где Харьковская губерния предстает как спорное лиминальное пространство XVII–XVIII вв. между «Московским государством» и

¹ Время в идиллическом пространстве характеризуется темпоральным «ускорением» в противоположность ретардации при посещении антиидиллической шахты, когда три часа показались нарратору «целой вечностью»: «Бывают минуты, когда человек переживает сознанием гораздо более, чем в целые годы; такими минутами для меня были дни пребывания в оставляемой мною теперь Малороссии» [18. С. 48].

маркируемыми мотивом «опустошительных набегов» [18. С. 27] татарами, в противостоянии с которыми утверждается русскость территории. Евсеенко приводит в связи с этим четыре опорных даты и два основных образа русской персониферы: в 1600 г. Борис Годунов основывает на данной земле крепость Царьборисов, которая «вскоре была совершенно уничтожена татарами» [18. С. 28]. Затем в 1640 г. русскость выступает в варианте казацкости, когда «днепровские казаки» были переселены сюда из Черкас, в том числе на Торские озера, где окончательно закрепляются лишь в 1651 г., основывая город Тор, переименованный Екатериной II в 1798 г. в Славянск и включенный «в состав Слободско-Украинской губернии» [18. С. 28]. Далее пространство исторической памяти маркировано смешением (велико)русскости и казацкости / малороссийскости в экфразисе картин из дворца графа Рибопьера неподалеку от Святогорского монастыря: в графской картинной галерее «в лицах» «проходит почти вся история Малороссии и борьба казачества с татарами за обладание этими местами; вот горделивый князь Потемкин, первый владетель Святых Гор, с ним рядом Богдан Хмельницкий в своем живописном костюме, хитрый гетман Дорошенко, Полуботка, гетман Разумовский и другие» [18. С. 42]. Как видим, Евсеенко перечисляет образы малороссийской персониферы не в хронологическом порядке, придерживаясь, однако, рамок XVII–XVIII вв. Также к историческим фигурам добавлена легендарная, по сути, мифопоэтическая персона боярина Карачуна «с грозным взглядом» [18. С. 42]. В финальной сцене казацкое пространство исторического прошлого, вновь актуализированное посредством ониризма, противопоставляется «нынешней Малороссии» как потерянному раю, утратившему большую часть своей пиитичности, ушедшему от естественности в сторону цивилизации, маркированной локусами техносферы (железными дорогами и шахтами): «нынешняя Малороссия, прорезанная железными дорогами и изрытая всевозможными копиями, мало уже в чем напоминает былую ее историю, былое время гетманщины, татарских набегов и даже склад самой жизни, но все же она пробуждает еще и теперь теплые воспоминания о прошлом» [18. С. 48]. Легендарность данного прошлого подчеркнута интертекстуальностью – отсылкой к тексту Шевченко: «Було колысь – в України ревили гарматы, було колысь – Запорозці вмили пануваты»

[18. С. 48]. В настоящем же для нарратора темпоральном слое казац-
кость выступает анахронизмом, онирическим конструктом.

Таким образом, репрезентацию малороссийского пространства в
тексте Евсеенко можно представить посредством оппозиций в рамках
топосов Черниговской, Полтавской и Харьковской губерний. В част-
ности, мы имеем дело с образами Малороссии, «фактографической»,
нейтрально изображаемой и пиитической, описываемой положи-
тельно. При этом нейтральный нарратив хотя и составляет большую
часть повествования, носит, на наш взгляд, подчиненный характер по
отношению к пиитическому элементу. Важность последнего опреде-
лена его актуализацией в «сильных» местах текста – названии и фи-
нальной сцене, где пиитичность выражена в наибольшей степени.

Необходимо отметить, что эта пиитичность имеет две ипостаси,
одна из которых – идиллическая, связанная, по сути, с ахронным юж-
ным пространством полуденной России и маркируемая мотивами (ви-
зуальной, ольфакторной и аудиальной) привлекательности, тишины и
покоя, демиприродности как проявления мифологемы естественности.
Это начало в разной степени выражено в трех локальных малороссий-
ских вариантах и противопоставлено антиидиллическому элементу,
негативно изображаемой Малороссии.

В наибольшей степени антиидиллия выражена в репрезентации
Черниговщины, где она актуализирована при описании городских
провинциальных топосов, отмеченных мотивами либо техникстской
цивилизации как противоположности и порчи естественности (загряз-
нение / отравления «стихий» земли, воды и воздуха, эксплуатации
людей и природы, что, в частности, находит отражение в мотивах
обезлесения и опустынивания земель), либо провинциальности (сон-
апатия, неразумие, серость, скука и т.п.). За этими описаниями скрыта
аксиологическая триада «неразумие, воплощенное в апатии, суеве-
риях, – разумность (золотая середина как просвещенность, научность)
– целерациональность, ограниченная жаждой наживы», где крайние
варианты, по сути, соединяются в общей энтропийности антиидил-
лии, т.е. Черниговщина в тексте есть вариант потерянного (осквернен-
ного) рая. Идиллическим в ее изображении является лишь репрезен-
тация лесного пространства, обозначенного мотивами оздоровления,
чистоты, свободного дыхания, отдохновения. Стоит также отметить,
что Черниговская губерния в наименьшей степени отмечена не только

«пиитичностью», но и малороссийскостью (в отношении антропоного пространства), которая здесь носит формально-административный характер.

Далее по степени идилличности следует репрезентация Харьковской губернии, где мы встречаем, с одной стороны, умеренно идиллический топос Славянска и гражданского курорта при нем, а также крайне экспрессивно описываемый сакральный и одновременно демиприродный локус Святогорского монастыря, а с другой – имеющие негативные коннотации локусы военной водолечебницы, горловских шахт. Последние имеют черты антиидиллии, сходные с черниговской (мотивы отравленного воздуха / затрудненного дыхания, эксплуатации человека), правда, менее выраженные. Для антропоной сферы характерно сочетание малороссийскости и великорусскости.

В наибольшей степени идиллия актуализирована в изображении Полтавской губернии, демиприродность которой имеет степной характер. Центром этой идиллии выступает образ Полтавы, единственного губернского города, описанного в евсеенковском травелоге. Также антропоная малороссийскость выражена в данном пространственном варианте сильнее всего.

Кроме того, идиллический мотив ясного неба проявлен в репрезентациях более «пиитических» Полтавской и Харьковской губерний. В целом образ современной автору «пиитической» Малороссии хотя и показан как утративший часть идилличности, проявляет данное свойство в большей степени, чем иные территории России и проникнут ониризмом, актуализирующим окказиональное противопоставление Малороссии (места приюта-отдохновения) и большой России с ее «действительной жизнью» и «болезненной нервностью», к которым вынужден возвращаться нарратор.

Неравномерно относительно локальных вариантов актуализирована и вторая, легендарно-историческая, ипостась «пиитичности». Пространство исторической памяти Черниговщины проявлено в описаниях локусов, относящихся к производственной и старообрядческой сферам. При изображении Полтавщины мы имеем дело только со слабо экспрессивными образами, связанными с Полтавской битвой. Ярче всего историчность представлена в описании Харьковской губернии (исторической Слобожанщины), в репрезентации которой

сделан акцент на русско-татарской лиминальности территории во временных рамках XVII–XVIII вв. Мотив потерянного рая здесь актуализирован в противопоставлении современной частично техницистской Малороссии легендарно-исторической Малороссии прошлого, в пространстве которой ярко выражен казацкий элемент.

Список источников

1. *Марчуков А.В.* Образ Украины в русском сознании. Николай Гоголь и его время. М. : Регнум, 2011. 294 с.
2. *Беляков С.С.* Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя. М. : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. 752 с.
3. *Крюкова О.С.* Романтический образ Украины в русской литературе XIX века. М. : Наука, 2017. 125 с.
4. *Назаренко М.И.* Сокращенный рай. Украина между Гоголем и Шевченко // Новый мир. 2009. № 7. С. 160–172. URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2009/7/sokrashhennyj-raj.html
5. *Шаталов Д.В.* «Путевая литература» начала XIX века и формирование историографического образа украинского казачества // Мир историка: историографический сборник. Омск : Изд-во ОмГУ, 2014. Вып. 9. С. 224–240.
6. *Васильева Т.А.* «Любовь к стране своей родной и к притеснителям презренье...»: национализация древнерусского прошлого и конструирование образа Малороссии в ранней романтической словесности // Имагология и компаративистика. 2016. № 1 (5). С. 5–29.
7. *Овчинников Д.П.* Малороссия и малороссийский текст в творчестве Н.В. Гоголя (введение в тему) // Язык и культура. 2016. № 26. С. 194–199.
8. *Курьянов С.О.* Об украинском тексте в русской романтической литературе // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. 2018. № 6. С. 765–770.
9. *Курьянов С.О.* О русско-украинских литературных связях и об украинском тексте в русской литературе // Крымский гуманитарный вестник: сборник научных статей. Симферополь: ИП Минакир И.Л., 2018. С. 40–47.
10. *Сторожева А.А.* Образ степи в сентиментальных травелогах начала XIX века // Литература Древней Руси и Нового времени : материалы XI Всероссийской конференции. М.: МПГУ, 2021. С. 155–161.
11. *Жданов С.С.* «Нехай же москвичи к провинциям суровы...»: образ Кременчуга в травелоге И.М. Долгорукого // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы XIV Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 85-годдзю філал. фак. Беларус. дзярж. ун-та, Рэсп. Беларусь, Мінск, 26 верас. 2024 г. Мінск : БДУ, 2024. С. 31–37.
12. *Жданов С.С.* Образы малороссийского пространства в «Письмах из Малороссии» А.И. Левшина // Вестник Томского государственного университета. 2024. № 505. С. 34–47.

13. Жданов С.С. «Пиитическая Малороссия»: украинская пространственная образность в травелоге «Путевые письма из Англии, Германии и Франции» Н.И. Греча // Имагология и компаративистика. 2024. № 22. С. 180–201.

14. Жданов С.С. Травестийная городская Малороссия в травелоге «Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда 1810 года» И.М. Долгорукого // Научный диалог. 2024. Т. 13, № 9. С. 239–268.

15. Мацапура В.И. Украинская тема в русской литературе первой половины XIX века (проблемы эволюции, мифологизации, интертекстуальности) : дис. ... д-ра филол. наук. Харьков, 2002. 441 с.

16. Булкина И. Киев в русской литературе первой трети XIX в.: пространство историческое и литературное : дис. ... д-ра филос. по русской литературе. Тарту, 2010. 213 с.

17. Васильева Т.А. У истоков украинофильства: образ Украины в российской словесности конца XVIII – первой четверти XIX века : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2014. 232 с.

18. Евсеев С.С. Под ясным небом Малороссии: (Путевые заметки и наблюдения). М. : Типо-литография т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1901. 49 с.

19. Левкиевская Е.Е. Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы // Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии: сборник статей. М. : Институт славяноведения РАН, 2008. С. 154–176.

20. Сумароков П.И. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду Павла Сумарокова : в 2 ч. СПб. : Императорская типография, 1803. Ч. I. 276 с.

21. Долгорукий И.М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. М. : Университетская типография (Катков и К°), 1870. 355 с.

22. Жданов С.С. Пространственные образы Западной Украины в «Письмах русского офицера» Ф.Н. Глинки // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XX Международный научный конгресс, 15–17 мая 2024 г., Новосибирск : сборник материалов : в 8 т. Новосибирск : СГУГиТ, 2024. Т. 5: Международная конференция «Электронное геопространство: философскогуманитарное и социально-правовое измерение». С. 68–81.

23. Левишин А.И. Письма из Малороссии. Харьков : Университетская типография, 1816. 206 с.

24. Погодин М.П. Поездка пр<офессора> Погодина за границу в 1842 году // Москвитянин. 1844. № 1. С. 151–173.

25. Греч Н.И. Путевые письма из Англии, Германии и Франции : в 3 ч. СПб. : Типография Н. Греча, 1839. Ч. 3. 198 с.

26. Жданов М.П. Путевые записки по России, в двадцати губерниях. СПб. : Издание В. Полякова, 1843. 212 с.

27. Сидоров В.М. Окольной дорогой: (Путевые заметки и впечатления). СПб. : Тип. А. Катанского и К°, 1891. 338 с.

28. Бибииков П.А. От Петербурга до Екатеринославля (Часть III) // Время. 1863. № 4. С. 98–141.

29. Молчанов А.Н. По России. СПб.: Типография Министерства путей сообщения, 1884. 467 с.

30. Беляков С.С. Русский взгляд на украинца // Вопросы национализма. 2015. № 2 (22). С. 80–91.

References

1. Marchukov, A.V. (2011) *Obraz Ukrainy v russkom soznanii. Nikolai Gogol' i ego vremya* [The Image of Ukraine in the Russian Consciousness. Nikolai Gogol and His Time]. Moscow: Regnum.

2. Belyakov, S.S. (2016) *Ten' Mazepy. Ukrainskaya natsiya v epokhu Gogolya* [The Shadow of Mazepa. The Ukrainian Nation in the Age of Gogol]. Moscow: AST: Redaktsiya Eleny Shubinoi.

3. Kryukova, O.S. (2017) *Romanticheskii obraz Ukrainy v russkoy literature XIX veka* [The Romantic Image of Ukraine in 19th Century Russian Literature]. Moscow: Nauka.

4. Nazarenko, M.I. (2009) Sokrashchennyi ray. Ukraina mezhdru Gogolem i Shevchenko [Abbreviated Paradise. Ukraine Between Gogol and Shevchenko]. *Novyi mir*. 7. pp. 160–172. [Online] Available from: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2009/7/sokrashchennyj-raj.html (Accessed: 26.06.2024).

5. Shatalov, D.V. (2014) "Putevaya literatura" nachala XIX veka i formirovanie istoriograficheskogo obraza ukrainskogo kazachestva ["Travel Literature" of the Early 19th Century and the Formation of the Historiographical Image of the Ukrainian Cossacks]. In: *Mir istorika: istoriograficheskii sbornik* [The Historian's World: Historiographical Collection]. Is. 9. Omsk: OmSU. pp. 224–240.

6. Vasil'eva, T.A. (2016) The Love of His Native Country and the Contempt to Oppressors...": Nationalization of the Old Russian Past and the Construction of Ukraine's Image in the Early Romantic Literature. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 1 (5). pp. 5–29. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/5/1

7. Ovchinnikov, D.P. (2016) Malorossiya i malorossiiskii tekst v tvorchestve N.V. Gogolya (vvvedenie v temu) [Little Russia and the Little Russian Text in the Work of N.V. Gogol (Introduction to the Topic)]. *Yazyk i kul'tura*. 26. pp. 194–199.

8. Kur'yanov, S.O. (2018) Ob ukrainskom tekste v russkoy romanticheskoy literature [On the Ukrainian Text in Russian Romantic Literature]. *Dinamika yazykovykh i kul'turnykh protsessov v sovremennoy Rossii*. 6. pp. 765–770.

9. Kur'yanov, S.O. (2018) O russko-ukrainskikh literaturnykh svyazyakh i ob ukrainskom tekste v russkoy literature [On Russian-Ukrainian Literary Connections and the Ukrainian Text in Russian Literature]. In: *Krymskiy gumanitarnyy vestnik: sbornik nauchnykh statei* [Crimean Humanitarian Bulletin: Collection of Scientific Articles]. Simferopol: IP Minakir I.L. pp. 40–47.

10. Storozheva, A.A. (2021) [The Image of the Steppe in Sentimental Travelogues of the Early 19th Century]. In: *Literatura Drevney Rusi i Novogo vremeni* [Literature

of Ancient Rus and Modern Times]. Proceedings of the 11th All-Russian Conference. Moscow: MPSU. pp. 155–161. (In Russian).

11. Zhdanov, S.S. (2024) ["Let the Muscovites Be Harsh Towards the Provinces...": The Image of Kremenchug in the Travelogue of I.M. Dolgoruky]. *Slavyanskiya literatury i kontekstse susvetnai* [Slavic Literatures in the Context of World Literature]. Proceedings of the 14th International Conference Dedicated to the 85th Anniversary of the Philological Faculty of the Belarusian State University. Republic of Belarus, Minsk. September 26, 2024. Minsk: BDU. pp. 31–37.

12. Zhdanov, S.S. (2024) Images of Little Russian Space in Letters from Little Russia by Aleksey Levshin. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 505. pp. 34–47. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/505/4

13. Zhdanov, S.S. (2024) "Poetic Little Russia": Ukrainian spatial imagery in the travelogue Travel Letters from England, Germany and France by Nikolai Gretschn. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 22. pp. 180–201. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/22/11

14. Zhdanov, S.S. (2024) Travestiinaya gorodskaya Malorossiya v traveloge "Slavny bubny za gorami, ili puteshestvie moe koe-kuda 1810 goda" I.M. Dolgorukogo [Travestied Urban Little Russia in the Travelogue "Famous Drums Beyond the Mountains, or My Journey to Somewhere in 1810" by I.M. Dolgoruky]. *Nauchnyy dialog*. 13 (9). pp. 239–268.

15. Matsapura, V.I. (2002) *Ukrainskaya tema v russkoi literature pervoi poloviny KHIX veka (problemy evolyutsii, mifologizatsii, intertekstual'nosti)* [The Ukrainian Theme in Russian Literature of the First Half of the 19th Century (Problems of Evolution, Mythologization, Intertextuality)]. Philology Dr. Diss. Khar'kov.

16. Bulkina, I. (2010) *Kiev v russkoy literature pervoy treti XIX v.: prostranstvo istoricheskoe i literaturnoe* [Kiev in Russian Literature of the First Third of the 19th Century: Historical and Literary Space]. PhD Diss. (Russian Literature). Tartu.

17. Vasil'eva, T.A. (2014) *U istokov ukrainofil'stva: obraz Ukrainy v rossiiskoy slovesnosti kontsa XVIII – pervoi chetverti XIX veka* [At the Origins of Ukrainophilism: The Image of Ukraine in Russian Literature of the Late 18th – First Quarter of the 19th Century]. Philology Cand. Diss. Tomsk.

18. Evseenko, S.S. (1901) *Pod yasnym nebom Malorossii: (Putevye zametki i nablyudeniya)* [Under the Clear Sky of Little Russia: (Travel Notes and Observations)]. Moscow: Tipo-litografiya t-va I.N. Kushnerev i K^o.

19. Levkievskaya, E.E. (2008) Ukraina i ukraintsy: obrazy, predstavleniya, stereotipy [Ukraine and Ukrainians: Images, Perceptions, Stereotypes]. In: *Russkie i ukraintsy vo vzaimnom obshchenii i vospriyatii: sbornik statey* [Russians and Ukrainians in Mutual Communication and Perception: Collection of Articles]. Moscow: Institute of Slavic Studies, RAS. pp. 154–176.

20. Sumarokov, P.I. (1803) *Dosugi krymskogo sud'i ili vtoroe puteshestvie v Tavridu Pavla Sumarokova: v 2 ch.* [Leisure Hours of a Crimean Judge, or Pavel Sumarokov's Second Journey to Taurida: in 2 parts]. Part 1. Saint Petersburg: Imperatorskaya tipografiya.

21. Dolgorukiy, I.M. (1870) *Slavny bubny za gorami, ili puteshestvie moe koe-kuda 1810 goda* [Famous Drums Beyond the Mountains, or My Journey to Somewhere in 1810]. Moscow: Universitetskaya tipografiya (Katkov i Ko).
22. Zhdanov, S.S. (2024) [Spatial Images of Western Ukraine in "Letters of a Russian Officer" by F.N. Glinka]. *Interexpo GEO-Sibir'* [Interexpo GEO-Siberia]. 20th International Scientific Congress. May 15–17, 2024. Novosibirsk. Proceedings: in 8 vols]. Vol. 5. Novosibirsk: SGUGiT. pp. 68–81. (In Russian).
23. Levshin, A.I. (1816) *Pis'ma iz Malorossii* [Letters from Little Russia]. Kharkiv: Universitetskaya tipografiya.
24. Pogodin, M.P. (1844) Poezdka pr<ofessora> Pogodina zagranitsu v 1842 godu [Professor Pogodin's Trip Abroad in 1842]. *Moskvityanin*. 1. pp. 151–173.
25. Grech, N.I. (1839) *Putevye pis'ma iz Anglii, Germanii i Frantsii: v 3 ch.* [Travel Letters from England, Germany and France: in 3 parts]. Part 3. Saint Petersburg: Tipografiya N. Grecha.
26. Zhdanov, M.P. (1843) *Putevye zapiski po Rossii, v dvadtsati guberniyakh* [Travel Notes Across Russia, in Twenty Provinces]. Saint Petersburg: Izdanie V. Polyakova.
27. Sidorov, V.M. (1891) *Okol'noy dorogoy: (Putevye zametki i vpechatleniya)* [By a Roundabout Route: (Travel Notes and Impressions)]. Saint Petersburg: Tip. A. Katanskogo i K^o.
28. Bibikov, P.A. (1863) *Ot Peterburga do Ekaterinoslavlya (Chast' III)* [From St. Petersburg to Ekaterinoslav (Part III)]. *Vremya*. 4. pp. 98–141.
29. Molchanov, A.N. (1884) *Po Rossii* [Across Russia]. Saint Petersburg: Tipografiya ministerstva putei soobshcheniya.
30. Belyakov, S.S. (2015) *Russkiy vzglyad na ukrains'tsa* [The Russian View of the Ukrainian]. *Voprosy natsionalizma*. 2 (22). pp. 80–91.

Информация об авторах:

Жданов С.С. – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник языкового центра «Лингва» Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск, Россия); заведующий кафедрой языковой подготовки и межкультурных коммуникаций Сибирского государственного университета геосистем и технологий. E-mail: fstud2008@yandex.ru

Гаузер И.В. – канд. культурологии, доцент кафедры иностранных языков технических факультетов Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск, Россия); старший преподаватель кафедры правовых и социальных наук Сибирского государственного университета геосистем и технологий. E-mail: fstud2008@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

S.S. Zhdanov, Dr. Sci. (Philology), leading researcher, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation); head of the Department of Language Training and Intercultural Communications, Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: fstud2008@yandex.ru

I.V. Gauzer, Cand. Sci. (Cultural Studies), associate professor, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation); senior lecturer, Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: fstud2008@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 29.08.2025.

The article was accepted for publication 29.08.2025.

Научная статья
УДК 94(574/575)
doi: 10.17223/24099554/24/12

Конструирование образа русского Туркестана в травелогах имперских экспертов второй половины XIX – начала XX века

*Михаил Константинович Чуркин^{1, 2}
Садокат Максудовна Маткаримова³
Назокат Максудовна Маткаримова⁴*

¹ Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия

² Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения
Российской академии наук, Тобольск, Россия

^{3, 4} Университет Мамун, Хива, Республика Узбекистан

^{1, 2} proffchurkin@yandex.ru

³ sadokatmatkarimova@yandex.ru

⁴ ms.mmm.79@mail.ru

Аннотация. В статье на материалах травелогов путешественников в Туркестанский край второй половины XIX – начала XX в., выступавших в качестве имперских экспертов, выявляются компоненты образа русского Туркестана, репрезентируемые в представлениях членов сообщества в широкой хронологической перспективе. Установлено, что конструирование образа региона в текстах экспертов являлось продуктом инерционных, многослойных и противоречивых представлений о нём. Зафиксированная в травелогах неоднозначность в презентации Туркестана как «собственного Востока России», создавала новый формат образного восприятия края, внося коррективы в реализацию имперской политики на восточных окраинах страны.

Ключевые слова: внутренняя колонизация, образ, русский Туркестан, травелог, имперские эксперты, репрезентации

Для цитирования: Чуркин М.К., Маткаримова С.М., Маткаримова Н.М. Конструирование образа русского Туркестана в травелогах имперских экспертов второй половины XIX – начала XX века // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 255–271. doi: 10.17223/24099554/24/12

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/12

Construction of the image of Russian Turkestan in the travelogues of imperial experts of the second half of the 19th – early 20th century

Mikhail K. Churkin^{1, 2}

*Sadokat M. Matkarimova*³,

*Nazokat M. Matkarimova*⁴

¹ Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russian Federation

² Tobolsk Complex Research Station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk, Russian Federation

^{3, 4} Mamun University, Khiva, Republic of Uzbekistan

^{1, 2} proffchurkin@yandex.ru

³ sadokatmatkarimova@yandex.ru

⁴ ms.mmm.79@mail.ru

Abstract. The category "image of the region," widely spread in the spheres of humanitarian geography, cultural studies, philology, in the modern situation of polydisciplinarity in the first quarter of the 21st century, gradually covers the space of historical research. The situation of "turns" in humanitarian knowledge reorients historians today from the study of events to the comprehension of states: discourses of power and society, reflecting the intellectual, ideological, cultural perceptions of people in different phases of historical reality. In this regard, the experience of Russian colonisation was invariably associated with the construction of the "Other" in relation to which the empire implemented colonial practices, defining it as a subordinate, subaltern. As part of this process, the carriers of knowledge about the "Other" considered it sufficient justification for their own civilisational mission and cultural regeneration addressed to subalterns. The agents of the Russian Empire in the eastern peripheries, including the Turkestan region, were imperial experts – officials, writers, publicists, public figures, who, either by duty or personal motives, travelled to the peripheral regions that fully or fragmentarily participated in the system of Russian administration. During or as a result of their trips, the experts recorded their observations of territories and people in texts that reflected the perceptions of people whose consciousness had been shaped by the Enlightenment ideology. In their reception of the world of the "Other," they had a firm conviction that Russia was on the path of European civilisation and was not a multinational empire consisting of a metropolis and a dependent colonial periphery, but a nation-state

in the process of formation. In this respect, the literature of journeys to the Turkestan region represented the formula of "Russia's own East" and Turkestan as an organic part of the Russian Empire. The image of Russian Turkestan as an intellectual construct had a multicomponent and complex structure. In translating the perceptions of the region in travelogues, the expert community in its observations and conclusions sought to comply with the main principles of state policy in the Turkestan region: active Russification by means of education and the resettlement movement, cultural levelling by means of Christianisation and "pacification" of Islam supporters, and the iconic functional role of Russian administration. At the same time, in the process of penetration and familiarisation with the region, its stencil image changed, being filled with additional content, which set new contours for the region's image perception, making certain adjustments in the implementation of imperial policy in the eastern suburbs of the country.

Keywords: internal colonization, image, Russian Turkestan, travelogue, imperial experts, representations

For citation: Churkin, M.K., Matkarimova, S.M. & Matkarimova, N.M. (2025) Construction of the image of Russian Turkestan in the travelogues of imperial experts of the second half of the 19th – early 20th century. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 255–271. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/12

Вторая половина XIX – начало XX в. – важный период в отечественной истории как истории «внутренней» колонизации, определяемой А. Эткиндоном в формате самоколонизации: освоения территорий, позиционируемых как собственные земли и колонизации населения, включая самих русских [1. С. 4]. Важно то, что в исследуемый период Россия не только активизировала процесс территориальных приобретений и стягивания их в общеимперское пространство, но и ментальное «освоение» восточных окраин, их интеллектуальное осознание как органичной части Российской империи.

В методологическом плане основу статьи, посвящённой конструированию образа русского Туркестана в травелогах имперских экспертов второй половины XIX – начала XX в., составляют гипотезы и выводы разных поколений гуманитариев, отстаивавших предположение о продуктивности конструктивистского принципа описания исторической реальности. Фронтмену данного направления Б. Андерсену принадлежит тезис о нации как воображаемом сообществе, а в трудах

его последователей развивалась идея о том, что регионы являются такими же воображаемыми объектами, конструируемыми в индивидуальном и массовом сознании [2–6]. В отношении азиатской периферии Российской империи, в том числе Туркестанского края, обладавшего неопределённым, размытым статусом (колония / окраина), адекватным представляется подход видного теоретика ориентализма Э. Саида, который полагал, что знания и власть, которыми обладал Запад в эпоху колониальных захватов, являются достаточным основанием для последующего господства над Востоком и его перманентного переизобретения [7].

В данном плане обращение к литературе путешествий исследуемого периода предоставляет научному сообществу возможность выявления компонентов образа Туркестана, конструируемого на материале динамичных представлений о регионе в контексте реализации имперского проекта колонизации / освоения приобретённых в 1860-х гг. военным путём территорий.

Как утверждает С. Беккер, в сообществе российских интеллектуалов XIX в., чьё мировоззрение формировалось под влиянием идей Просвещения, сложилось твёрдое убеждение в том, что Россия идёт путём европейской цивилизации и является не многонациональной империей, состоящей из метрополии и зависимой колониальной периферии, а национальным государством в стадии формирования [8. С. 77]. В этой связи в конструировании образа Востока в целом и Туркестанского края, активно интегрируемого в имперское поле с 1860-х гг., имперские эксперты – чиновники, учёные, литераторы, публицисты, транслируя представления об азиатской периферии, отталкивались от универсального ориенталистского тезиса, сообразно с которым цивилизовать Восток можно исключительно посредством русской культурной ассимиляции.

Идея о «собственном Востоке России» и легитимности притязаний империи на земли, являвшиеся территориальным продолжением имперского пространства, подкреплялась историческим опытом коммуникации Руси, Московского государства, Российской империи с восточными народами и государствами, знанием о них и, как следствие, большими, чем у европейцев, основаниями для реализации цивилизаторской миссии. Более того, для имперских интеллектуалов и полити-

ческих элит сама возможность культуртрегерства в отношении азиатских народов «собственного Востока» преобразовалась в убеждение о своей принадлежности к европейскому миру и, как следствие, моральном оправдании цивилизаторства и экспансионистских практик.

Во многом поэтому образ Туркестана в репрезентациях травелогов путешественников, посетивших регион во второй половине XIX – начале XX в., характеризуется изначальной *инерционностью*, трафаретностью представлений российского общества о Востоке как другом, априори лишённом признаков цивилизованности. Так, для ранних травелогов, составленных путешественниками 1860-х гг., характерна органичная фиксация контраста должного и сущего в восприятии Туркестанского края, который выражался в величии государственного предприятия – покорении региона, населённого «дикарями». Учёный-ориенталист и писатель П.И. Пашино, побывавший в Туркестане в 1866 г., гордо констатировал в преамбуле к своему травелогу, что «русские знамёна уже развиваются на стенах Самарканда», однако, выезжая из Оренбурга, получил предупреждения об опасностях, которые могут исходить от местных жителей: «киргизятины, узкоглазых, степной шушеры...» [9. С. 1–3]. Спустя много лет, в 1916 г., тиражируя данную позицию, известный педагог, директор учительской семинарии в Ташкенте Н.П. Остроумов, в частной беседе отвечая на вопрос переселенческого чиновника А.А. Татищева о своих ощущениях от жизни в Туркестанском крае, парировал, что и дня не остался бы в крае, если бы из него вывели русские войска [10. С. 178].

Инерция в представлениях экспертов о нецивилизованных автохтонах рельефно проявлялась в оценочных суждениях путешественников в продолжение всего исследуемого периода и выражалась в шаблонной риторике «человека власти и культуры»: «...с этими джатаками ничего не поделаешь, выстроишь им избу, дашь лошадей, коров и другую скотину..., а он, злодей, продаст втихомолку хлеб на корню и купит себе юрту, расставит её на гумне и свистит целую зиму в кулак» [9. С. 4]; «киргиз беспечен и запасы сена произведены лишь в зимовьях, расположенных по почтовому тракту, а киргизский скот даже не понюхает заготовленного сена» [11. С. 28–29]; «Туркестан молод – ему только 50 лет..., но в нём преобладает туземная стихия» [12. С. 357].

Несмотря на то, что в течение второй половины XIX столетия в литературе путешествий конструкция образа русского Туркестана постепенно освобождалась от многих стереотипизированных представлений о регионе и его обитателях, можно с уверенностью констатировать сохранение, а в отдельных ситуациях – возобновление инерции восприятия края в переформатированном варианте. Внимательное вчитывание в тексты травелогов свидетельствует, что мотив культурной дискредитации и экзотизации коренного населения Туркестана постепенно уступал место риторике культурной ассимиляции аборигенов, их инкорпорации в российский социум. С точки зрения путешественников, такой интеграции способствовали процессы распространения российских административных институтов и культурно-образовательной деятельности в инородческой среде, маркируемых как «русское дело» в Туркестанском крае. Ещё в 1860-х гг. путешественники фрагментарно отмечали некоторое несходство в представлениях об инородцах имперского чиновничества: от откровенно нелицеприятных характеристик до признания ситуативных причин отсталости коренного населения: «...народ до геройства честный, самолюбивый, ребячески-наивный и забитый вследствие постоянных смут в степи...» [9. С. 4]. На рубеже XIX–XX вв. русское присутствие и культуртрегерство, по логике рассуждений авторов травелогов, переломило неблагоприятную ситуацию. Путешественники в своих репрезентациях демонстрировали коммуникативное согласие в том, что распространение аграрных практик и хлопководства способствовало частичному переходу кочевников к оседлому образу жизни, а развитие некоторых отраслей, например, сенокосения, позволило сохранить скотоводство и придать новый импульс его развитию. И. Гейер, посетивший Сыр-Дарьинскую область в 1893 г., с удовлетворением писал: «Хороший, кормлённый скот как нельзя лучше свидетельствует о зажиточности хозяев и только изредка картина довольства сменяется полной нищетой: то идёт переселенец, измотавший свою душу в бесконечном путешествии из России в Туркестан» [11. С. 30].

Туркестанский край как результат «русского дела» с 1890-х гг. становится основной сюжетной линией травелогов имперских экспертов, что, с одной стороны, свидетельствует о новом инерционном паттерне в конструировании образа региона, а с другой – указывает на

многослойность представлений о Туркестане как вообразимом объекте. Ментальная география русского Туркестана в путевых заметках имперских экспертов репрезентируется по нескольким линиям.

Во-первых, «освоение» и осознание региона как «собственного Востока» или русской земли в текстах путешественников осуществляется с акцентом на констатацию выдающейся организационной миссии российской администрации в Туркестанском крае. В литературе путешествий по Туркестану, авторы которой в ходе своих поездок выполняли различного рода государственные поручения, линия власти в отдалённом от центра Туркестане присутствует в качестве одного из центральных сюжетов. Общеизвестно, что в условиях продвижения России к окраинам важным элементом управленческой практики являлось передоверие права принятия решений региональной администрации, что выражалось в обширных полномочиях местной бюрократии и глубоко личностном характере власти в реализации колониальных задач. По свидетельству источников, назначение А.П. фон Кауфмана на должность Туркестанского генерал-губернатора сопровождалось указанием о праве высшего губернского чиновника не только решать самостоятельно организационные вопросы, но и вести войны, а также заключать мирные договоры [13. С. IX].

В травелогах имперских экспертов второй половины XIX – начала XX в. повсеместно воспроизводится образ регионального администратора, обладавшего всей полнотой власти в границах вверенного ему пространства. П.И. Пашино по итогам поездок по фортам Сыр-Дарьинской области создал портретную галерею комендантов этих стратегически важных объектов, особо подчеркнув вотчинную манеру организации власти в них, во многом копировавшую модель управления высшей региональной администрации. В оценочных суждениях П.И. Пашино коменданты фортов характеризуются как «радушные и во всё вникающие хозяева, принимающие гостей по-русски» [9. С. 29], а образ представителя империи на отдалённой окраине составлен из органично сочетаемых черт человека профанного и человека государственной функции. Один из комендантов, Михаил Петрович Юний, в травелог Пашино предстаёт как типичный туркестанский администратор – герой обороны Севастополя, добрый и слегка глуповатый семьянин, въедливый управленец: «Комендант вмешался в разговор мой с его супругой, начав с советов мне купить здесь московских сухарей, американских бисквитов,

русских кренделей, но вскоре перешёл снова на значение форта в нашей торговле с ханствами» [9. С. 29].

На рубеже XIX–XX вв. сюжет о значимости российской административно-управленческой миссии продолжает репрезентироваться в текстах травелогов, меняясь формально, но не в своём содержании. Очень точно сформулировал отношение к генерал-губернаторской власти в Туркестане и её масштабу В.П. Вошинин: «...бесхитростная и полезная деятельность местной администрации, возглавляемой славным генералом Кауфманом...» [14. С. 14]. Представления имперского чиновничества о колонизации Туркестана как «русском деле» в этот период актуализировались в связи с эскалацией переселенческого движения из Европейской России и распространением аграрных практик в хозяйственной деятельности. По мнению экспертов, в новой колонизационной ситуации модель «ручного управления» краем, в которой главной фигурой являлась власть, продолжала сохраняться. Чиновник особых поручений при Переселенческом управлении МВД Н. Гаврилов, предваряя отчёт по поездке в Туркестан осенью 1910 г. историческим очерком колонизации края, отметив факт организации там первого русского посёлка Карабалты в 1874 г., констатировал, что для водворения первых русских переселенцев не было выработано единообразного порядка, не существовало никаких законодательных определений и правил заселения, которое производилось всецело по усмотрению областной и уездной администрации [15. С. 1–2]. И. Гейер по результатам поездки по русским селениям Сыр-Дарьинской области в 1893 г. уверенно отмечал: «...устройство переселенцев всей своей тяжестью ложится на администрацию и только благодаря её энергии в нашей области насчитывается в данное время 47 посёлков с 16 000 душ русских крестьян» [11. С. 28]. Несмотря на изменившиеся обстоятельства колонизации Туркестана, риторика административного доминирования и миссионерской функции имперской власти в травелогах путешественников остаётся основополагающей. А.В. Кривошеин в записке по итогам служебного путешествия в Туркестанский край в 1912 г. рельефно обозначил предварительные итоги государственной деятельности в регионе: «Что дали Туркестану русские? Твёрдую, справедливую власть, порядок, спокойствие, собственность...» [12. С. 358].

Во-вторых, образ русского Туркестана в литературе путешествий второй половины XIX – начала XX в. конструируется с очевидной оглядкой на эволюционистские цивилизаторские установки, очень точно примененные к российскому колониционному опыту отечественными востоковедами. В.В. Григорьев, в частности, писал: «...Основные черты русской национальности: любовь к родине, единовластие, православной вере врезались глубже в нашу природу и могли уравновешивать блистательную способность славянского племени принимать в себя человеческое..., способность, дающую русскому народу первое место между племенами земли...» [16. С. 6]. По мнению Григорьева, основным средством приращения окраин к имперскому «телу» является способность «...воспитать или перевоспитать, возродить или переродить большую часть народов этой стороны света..., возвысить их до себя, уподобить себе и слить в одно великое, святое семейство» [16. С. 7–8]. В этой связи реализация политики «русского дела» в Туркестане репрезентировалась в травелогах с опорой на позитивный образ русского человека как гаранта безопасности империи на далёких окраинах и активного культуртрегера. Если в ранних травелогах 1860-х гг. в «оптике» авторов чаще всего оказывались русские люди военных профессий – казаки, гвардейские офицеры, то по мере эскалации имперской деятельности в Туркестане в 1890-х гг. – начале XX в. реестр русского присутствия существенно расширился за счёт крестьян-мигрантов, чиновников переселенческого ведомства, инженерно-технических работников, агрономов, учителей, священнослужителей и т.д.

Следует отметить, что авторы травелогов, признавая в целом наличие проблемных зон в политике «русского дела» и практиках её реализации, репрезентировали Туркестан с акцентом на положительное значение русского присутствия в регионе. И. Гейер, составляя свои наблюдения в период кризиса переселенческого дела в начале 1890-х гг., в пафосной манере писал: «Чем ближе приближаешься к Чимкенту, тем больше проникаешься сознанием, что путешествуешь по русской стране. Зипун и косоворотая рубаша энергично борятся за право преобладания в народной толпе» [11. С. 34–35]. В.П. Воцинин, восхищаясь успехами русской колонизации, увязывал хозяйственно-экономические достижения России в Туркестанском крае с культурным потенциалом русского народа: «В прежних бесплодных степях

начинает селиться русский народ, а с ним вместе медленно, но, кажется, верно, в толщу незапамятных туземных предрассудков и верований начинает проникать культура русская. Так... незримо растёт и крепнет Туркестан “новый”» [14. С. 11–12].

Симптоматично, что апология русского доминирования в представлениях путешественников конца XIX – начала XX в. диссонировала с образом Туркестана под властью Российской империи, конструируемого в травелогах 1860–1870-х гг. В период начальной фазы колонизации края в сообществе публицистов, писателей, чиновников, посещавших Туркестан по тем или иным поводам, широкое распространение получило убеждение в перспективах быстрой интеграции коренного населения в российский социум и торжества идеи создания «большой русской нации». Во многом данный взгляд навязывался обществу высшей региональной бюрократией. Так, например, первый Туркестанский генерал-губернатор А.П. фон Кауфман неоднократно говорил о необходимости активного учреждения русских школ для инородцев, в результате чего «они обрусеют и примкнут к русской гражданственности... а мусульманство не будет уже в состоянии оказывать на них своего влияния, не соответствующего идеям и принципам европейской цивилизации» [15. С. 26]. К концу XIX столетия становилось очевидным, что политика стирания культурных различий не дала ожидаемых результатов, трансформировавшись в своеобразную модель геттоизации русского и инородческого сегментов населения региона. В.П. Вошинин в «Очерках нового Туркестана» и А.А. Татищев в воспоминаниях о службе в переселенческом ведомстве в отношении периода 1914–1916 гг. согласованно указывали на чёткую демаркационную линию, разделившую Туркестанский край на русскую и автохтонную части. Символическим маркером Туркестана первых десятилетий XX в. для обоих авторов стал г. Ташкент, топографически раздвоенный на русские и туземные кварталы. В.П. Вошинин старательно подчёркивал в своих заметках, что «новый Ташкент» сосредоточен именно в русской части города, где располагался дворец генерал-губернатора, домик Черняева, памятник Кауфману, магазины, театры, синемаграф, «Хива, другими словами – это «...Европа, с её культурой и внешностью» [14. С. 11]. По убеждению Вошинина, символическое разделение культур в Ташкенте «проявляется и на турке-

станских полях» [14. С. 11]. А.А. Татищев писал, что для нас туземный город как бы не существовал, поскольку линия трамвая тянулась вдоль лабиринта узких улиц, где располагались дома сартов, по местной архитектурной традиции обращённые окнами во двор, а от туземного города русские кварталы были отрезаны рвом глубокого арыка [10. С. 157]. Выводы Татищева о взаимной обособленности русских жителей города и коренных сартов сопровождаются ироническим описанием царских дней в Ташкенте, во время которых «седобородые сарты в национальных халатах после молебна на площади перед собором изъявляли генерал-губернатору чувство верноподданнической преданности (неизменно через переводчика, хотя и умели говорить по-русски)» [10. С. 157].

Выскажем предположение, что разобщённость и замкнутость русского и инородческого «Ташкентов», представленные в репрезентациях поздних тревелогов, свидетельствовали о системном кризисе имперской политики культурной интеграции, что наглядно была выражено в описании формализованных демонстраций единства и глубокой преданности инородцев русскому самодержцу. Несоответствие прогнозируемого и действительности во многом определяло *противоречивость* образа русского Туркестана, создаваемого в литературе путешествий. Конфликт между концептами «Туркестан – колония» и «Туркестан – Россия», существовавший в общественно-политическом дискурсе в латентной форме с момента военного завоевания региона, актуализировался уже во второй половине XIX в., когда массовое переселенческое движение, образование посёлков селитебного типа, распространение аграрных форм хозяйственной деятельности активизировали приток в Туркестанский край крестьянства из европейских губерний России. Казалось, что имперская формула «только та земля является русской, где прошёл плуг её пахаря» неминуемо будет реализована в земледельческих областях Туркестана: сарты-земледельцы средствами русского образования интегрируются в российский социум, а кочевники-киргизы перейдут к оседлому образу жизни. Однако на практике данный проект оказался эфемерным и трудноисполнимым. Показательно, что даже преисполненные цивилизаторского оптимизма имперские эксперты, путешествовавшие по Туркестанскому краю в 1860-х гг., для которых русификаторские иде-

алы были предметом веры и научных убеждений, периодически высказывали сомнения в культуртрегерских способностях русского народа и, соответственно, в возможностях «освоения» региона исключительно по российским имперским лекалам. П.И. Пашино в описании первых русских крестьянских посёлков Сыр-Дарьинской области указывал на общее неустройство земледельческих поселений и весьма благосклонно комментировал разработки «одного чудака, который несколько лет занимался составлением проекта о заселении Сыр-Дарьи немецкими колонистами» [9. С. 22]. В начале XX в. в текстах имперских экспертов энтузиазм относительно русификации края как органичного процесса постепенно вытеснялся требованиями предоставить российским крестьянам-переселенцам особые преференции, поскольку «хозяйство пришлых людей должно быть устойчивым, и политическое значение русской колонизации обязывает дать переселенцам доступ именно на поливные земли, к ценным культурам» [12. С. 338].

Показательно, что в материалах травелогов по результатам деловых поездок, связанных с ознакомлением с постановкой переселенческого дела в Туркестанском крае начала XX в., одним из центральных становится сюжет о качестве колонизационного материала. В дискурсе русского Туркестана, репрезентируемого в литературе путешествий, особое внимание уделялось религиозной составляющей, поскольку в проекте «освоения» региона и политике населения империи культурное выравнивание предполагало полное торжество православия. Однако количественный прирост православного населения в результате аграрных миграций дал иной эффект. Российский экономист и чиновник А.А. Кауфман, выделяя среди русских переселенцев группы пришедших самовольно либо на законных основаниях из европейской части России как успешно устроенных в экономическом отношении, тем не менее отмечал готовность данной категории крестьянства двинуться незамедлительно на новые места, констатируя, что хозяйственные успехи российских переселенцев часто завышаются за счёт иноконфессиональных сообществ, устроившихся в Туркестане усилиями своих однообщинников [17. С. 13]. Имперские эксперты, размышляя о перспективах освоения отдалённых окраин, в качестве идеала колонизатора видели преимущественно иноэтничных и

иноконфессиональных переселенцев – «предприимчивых, зажиточных, знающих страну», «одушевлённых религией, развитых, трудолюбивых, трезвых», «которые куда ни придут, везде найдут себе Америку» [18. С. 239]. По мнению А. Иванова, к группам, наиболее успешно реализовавшим свой колониизационный потенциал, относились раскольники, сумевшие создать образцовые поселения не только в пределах России, но и в мусульманских странах [18. С. 239].

Подводя итог, отметим сложноустроенность и многокомпонентность образа русского Туркестана как интеллектуального конструкта, репрезентируемого в литературе путешествий российских имперских экспертов, – локального сообщества, собранного из различных социальных страт и профессиональных групп, но обладавших общей идентичностью. Транслируя в травелогах представления о регионе, сообщество экспертов в своих наблюдениях и выводах стремилось соответствовать основным «трендам» государственной политики в Туркестанском крае: активному русификаторству средствами образования и переселенческого движения, культурному выравниванию методами христианизации и «умиротворения» сторонников ислама, знаковой функциональной роли российского администрирования и т.д. Вместе с тем непосредственное соприкосновение путешественников с разными аспектами организации российского присутствия в Туркестане существенно корректировало шаблонный образ региона, наполняя его новыми коннотациями. Инерционность, многослойность, противоречивость представлений имперских экспертов о Туркестанском крае, в которых фиксировалась неоднозначность презентации Туркестана как «собственного Востока России», задавали новые контуры образного восприятия края, внося правки в реализацию имперской политики на восточных окраинах страны.

Список источников

1. Эткнд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М. : Новое литературное обозрение, 2016. 448 с.
2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М. : Кучково поле, 2001. 288 с.
3. Миллер А.И. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // Новое литературное обозрение. 2001. № 52. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2001/52/>

4. *Замятин Д.Н.* Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб. : Алетей, 2003. 331 с.
5. *Родигина Н.Н.* «Другая Россия»: образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX века. Новосибирск : НГПУ, 2006. 343 с.
6. *Чуркин М.К.* Образ имперского субалтерна в дискурсе травелогов алтайских миссионеров второй половины XIX – начала XX века // Современная регионалистика: традиционные подходы и новые направления : сб. ст. III Международной научной конференции, посвященной 75-летию доктора филологических наук, профессора Н.А. Дворяшиной, Сургут, 26–27 октября 2023 г. Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2024. С. 39–44.
7. *Саид Э.* Ориентализм. М. : Музей современного искусства Гараж, 2021. 560 с.
8. *Беккер С.* Россия и концепт империи // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань : Центр исследования национализма и империи, 2004. С. 76–77.
9. *Пашино П.И.* Туркестанский край в 1866 г. Путевые записки. СПб. : Тип. Таблена, 1868. 176 с.
10. *Татищев А.А.* Земли и люди. В гуще переселенческого движения (1906–1921). М. : Русский путь, 2001. 376 с.
11. *Гейер И.* По русским селениям Сыр-Дарьинской области (письма с дороги). Ташкент : Типо-литография бр. Каменских, 1893. 174 с.
12. *Кривошеин А.В.* Записка главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Туркестанский край в 1912 г. // Вопросы колонизации. 1913. № 12. С. 297–365.
13. Кауфманский сборник, изданный в память 25 лет, истекших со дня смерти покорителя и устроителя Туркестанского края генерал-адъютанта К.П. фон Кауфмана. М. : Типо-литография И.Н. Кушнерёва, 1910. 247 с.
14. *Воицин В.П.* Очерки нового Туркестана. Свет и тени русской колонизации. СПб. : Тип. «Наш век», 1914. 86 с.
15. Переселенческое дело в Туркестанском крае (области Сыр-Дарьинская, Самаркандская, Ферганская): Отчёт по служебной поездке в Туркестан осенью 1910 г. чиновника особых поручений при Переселенческом управлении Н. Гаврилова. СПб. : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершуни, 1911. 336 с.
16. *Григорьев В.В.* Об отношении России к Востоку: Речь, произнесённая исправляющим должность профессором В. Григорьевым. Одесса, 1840. 18 с.
17. *Кауфман А.А.* К вопросу о русской колонизации Туркестанского края: Отчёт члена учёного комитета Министерства земледелия и государственных имуществ А.А. Кауфмана по командировке летом 1903 г. СПб. : Тип. В. Киришбаума, 1903. 205 с.
18. *Иванов А.* Русская колонизация в Туркестанском крае. СПб. : Тип. Т-ва «Общественная польза». 244 с.

References

1. Etkind, A. (2016) *Vnutrennyaya kolonizatsiya. Imperskiy opyt Rossii* [Internal Colonization. Russia's Imperial Experience]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
2. Anderson, B. (2001) *Voobrazhaemye soobshchestva: Razmyshleniya ob istokakh i rasprostranении natsionalizma* [Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism]. Moscow: Kuchkovo pole.
3. Miller, A.I. (2001) Tema Tsentral'noy Evropy: istoriya, sovremennyye diskursy i mesto v nikh Rossii [The Theme of Central Europe: History, Contemporary Discourses and Russia's Place in Them]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 52. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/nlo/2001/52/> (Accessed: 26.06.2024).
4. Zamyatin, D.N. (2003) *Gumanitarnaya geografiya: Prostranstvo i yazyk geograficheskikh obrazov* [Humanitarian Geography: Space and Language of Geographical Images]. Saint Petersburg: Aleteiya.
5. Rodigina, N.N. (2006) *"Drugaya Rossiya": obraz Sibiri v russkoi zhurnal'noi presse vtoroi poloviny XIX – nachala XX veka* ["The Other Russia": The Image of Siberia in the Russian Journal Press of the Second Half of the 19th – Early 20th Century]. Novosibirsk: NGPU.
6. Churkin, M.K. (2024) [The Image of the Imperial Subaltern in the Discourse of Travelogues by Altai Missionaries in the Second Half of the 19th – Early 20th Century]. *Sovremennaya regionalistika: traditsionnye podkhody i novye napravleniya* [Modern Regional Studies: Traditional Approaches and New Directions]. Proceedings of the 3rd International Conference Dedicated to the 75th Anniversary of Doctor of Philological Sciences, Professor N.A. Dvoryashina. Surgut. October 26–27, 2023. Surgut: Surgut State Pedagogical University. pp. 39–44. (In Russian).
7. Said, E. (2021) *Orientalizm* [Orientalism]. Moscow: Muzei sovremennogo iskusstva Garazh.
8. Bekker, S. (2004) Rossiya i kontsept imperii [Russia and the Concept of Empire]. In: *Novaya imperskaya istoriya postsovetskogo prostranstva* [New Imperial History of the Post-Soviet Space]. Kazan: Tsentr Issledovaniya Natsionalizma i Imperii. pp. 76–77.
9. Pashino, P.I. (1868) *Turkestanskiy kray v 1866 g. Putevyye zapiski* [Turkestan region in 1866. Travel notes]. Saint Petersburg: Tip. Tablena.
10. Tatishchev, A.A. (2001) *Zemli i lyudi. V gushche pereselencheskogo dvizheniya (1906–1921)* [Lands and People. In the Thick of the Resettlement Movement (1906–1921)]. Moscow: Russkii put'.
11. Geyer, I. (1893) *Po russkim seleniyam Syr-Dar'inskoi oblasti (pis'ma s dorogi)* [Through Russian Villages of the Syr-Darya Region (Letters from the Road)]. Tashkent: Tipo-litografiya br. Kamenskikh.
12. Krivoshein, A.V. (1913) *Zapiska glavnoupravlyayushchego zemleustroystvom i zemledeliem o poezdke v Turkestanskiy kray v 1912 g.* [Note of the Chief Manager

of Land Management and Agriculture about a trip to the Turkestan region in 1912]. *Voprosy kolonizatsii*. 12. pp. 297–365.

13. Anon. (1910) *Kaufmanskii sbornik, izdannyy v pamyat' 25 let, istekshikh so dnya smerti pokoritelya i ustroitel'ya Turkestanskogo kraia general-ad'yutanta K.P. fon Kaufmana* [Kaufman collection, published in memory of the 25 years that have passed since the death of the conqueror and organizer of the Turkestan region, Adjutant General K.P. von Kaufman]. Moscow: Tipo-litografiya I.N. Kushnereva.

14. Voshchinin, V.P. (1914) *Ocherki novogo Turkestana. Svet i teni russkoy kolonizatsii* [Essays on the new Turkestan. Light and shadows of Russian colonization]. Saint Petersburg: Tip. "Nash vek".

15. Anon. (1911) *Pereselencheskoe delo v Turkestanskom krae (oblasti Syr-Dar'inskaya, Samarkandskaya, Ferganskaya): Otchet po sluzhebnoy poezdke v Turkestan osen'yu 1910 g. chinovnika osobykh porucheniy pri Pereselencheskom upravlenii N. Gavrilova* [Resettlement in the Turkestan region (Syr-Darya, Samarkand, Fergana regions): Report on a service trip to Turkestan in the fall of 1910 g. of the official of special assignments at the Settlement Administration N. Gavrilov]. Saint Petersburg: Tip. F. Vaysberga i P. Gershuni.

16. Grigor'ev, V.V. (1840) *Ob otnoshenii Rossii k Vostoku: Rech', proiznesennaya ispravlyayushchim dolzhnost' professorom V. Grigor'evym* [On Russia's attitude toward the East: Speech delivered by the acting professor V. Grigoryev]. Odessa.

17. Kaufman, A.A. (1903) *K voprosu o russkoy kolonizatsii Turkestanskogo kraia: Otchet chlena uchenogo komiteta Ministerstva zemledeliya i gosudarstvennykh imushchestv A.A. Kaufmana po komandirovke letom 1903 g.* [On the Russian colonization of the Turkestan region: Report of A.A. Kaufman, member of the scientific committee of the Ministry of Land and State Properties, on a business trip in the summer of 1903]. Saint Petersburg: Tip. V. Kirshbauma.

18. Ivanov, A. (n.d.) *Russkaya kolonizatsiya v Turkestanskom krae* [Russian colonization in the Turkestan region]. Saint Petersburg: Tip. T-va "Obshchestvennaya pol'za".

Информация об авторах:

Чуркин М.К. – д-р ист. наук, профессор кафедры отечественной истории Омского государственного педагогического университета (Омск, Россия); главный научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук (Тобольск, Россия). E-mail: proffchurkin@yandex.ru

Маткаримова С.М. – д-р ист. наук, профессор кафедры истории Университета Мамун (Хива, Республика Узбекистан). E-mail: sadokatmatkarimova@yandex.ru

Маткаримова Н.М. – доцент кафедры истории Университета Мамун (Хива, Республика Узбекистан). E-mail: ms.mnm.79@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

M.K. Churkin, Dr. Sci. (History), professor, Omsk State Pedagogical University (Omsk, Russian Federation); leading researcher, Tobolsk Complex Research Station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Tobolsk, Russian Federation). E-mail: proffchurkin@yandex.ru

S.M. Matkarimova, Dr. Sci. (History), professor, Mamun University (Khiva, Republic of Uzbekistan). E-mail: sadokatmatkarimova@yandex.ru

N.M. Matkarimova, associate professor, Mamun University (Khiva, Republic of Uzbekistan). E-mail: ms.mnm.79@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 5.06.2025.

The article was accepted for publication 5.06.2025.

Научная статья
УДК 821.512
doi: 10.17223/24099554/24/13

Историческая темпоральность и чувашский национализм в поэзии М. Сеспеля

Максим Валерьевич Кирчанов

*Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия,
maksym_kyrchanoff@hotmail.com*

Аннотация. Автор анализирует тексты Сеспеля Мишши как основоположника современной чувашской поэзии через призму воображения и изобретения исторического времени и темпоральности. Предполагается, что поэт создал уникальную концепцию исторического времени, редуцирующую темпоральность до политической и идеологически актуальной современности, основанной на революционном опыте.

Ключевые слова: Сеспель Мишши, чувашская литература, чувашский национализм, историческое время, историческая темпоральность, ситуация «накануне», феномен «межвременья», темпоральные фронтиры

Для цитирования: Кирчанов М.В. Историческая темпоральность и чувашский национализм в поэзии М. Сеспеля // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 272–295. doi: 10.17223/24099554/24/13

Original article
doi: 10.17223/24099554/24/13

Historical temporality and Chuvash nationalism in the poetry of Mišši Śěspěl

Maksym W. Kyrchanoff

*Voronezh State University, Voronezh, Russian Federation,
maksym_kyrchanoff@hotmail.com*

Abstract. The author analyzes the texts of Mišši Śěspěl (Mikhail Sespel), the founder of modern Chuvash poetry, through the lens of the imagination and invention of historical time and temporality. The article aims to analyze the concept "historical time" and the perception of historical temporality within

Chuvash literature. The author examines both the poetic and prose legacy of Mišši Šešpěl. Utilizing the methodological toolkit proposed by intellectual history and nationalism studies – including the concept of the invention of traditions – the author analyzes the images of historical time and temporality in Mišši Šešpěl's poetry. In the article, the author: (1) studies the specific features of how historical time is perceived in Mišši Šešpěl's poetic and prose texts; (2) identifies and analyzes the systemic characteristics of understanding historical temporality in the modern Chuvash intellectual discourse; (3) examines the role of socialist realism as one particular form of modernist visions and interpretations of culture, serving as a model for inventing historical time. The features of perceiving, imagining, and inventing historical time and historical temporality in Mišši Šešpěl's poetry are studied. Particular attention is paid to analyzing the perception of revolution as a factor accelerating the passage of historical time. The author posits that Mišši Šešpěl not only became the creator of modern Chuvash literature but also proposed modes for understanding and interpreting regimes of historical temporality, forming a new, modern vision of historical time as national, imagined within Soviet communist and Chuvash ethnic frames of reference. The article demonstrates that the logic of understanding modernity in Mišši Šešpěl's texts was based on perceiving the present historical time as a transitional historical and chronological frontier between the past and a nationalistically imagined future. This vision of time can be defined as ideologically utilitarian. The author shows that this ideological utilitarianism was combined with nationalist ideology. Consequently, the analysis focuses on how historical time and the regime of temporality were constructed within an ethnic frame of reference. The author believes that Mišši Šešpěl "Chuvashized" conceptions of Chuvash time, transforming the Chuvash language and ethnicity into systemic characteristics of historical time. The author argues that not merely duration, but the "surmountability" of time – its reduction to a prehistory leading to a politically and ideologically correct future – became central categories in the perception of historical time in Mišši Šešpěl's texts. It is suggested that Mišši Šešpěl created a unique concept of historical time that reduces temporality to a politically and ideologically relevant present, founded on revolutionary experience. The author demonstrates how Mišši Šešpěl became the creator of a new, radical, revolutionary vision of historical time, emphasizing that his poetic legacy was canonized within Soviet ideological discourse, becoming a boundary in the understanding of historical temporality, as Soviet Chuvash literature and a new historical time began precisely with the works of Mišši Šešpěl.

Keywords: Mišši Šešpěl, Chuvash literature, Chuvash nationalism, historical time, historical temporality, situation "on the eve", phenomenon of "inter-time", temporal frontiers

For citation: Kyrchanoff, M.W. (2025) Historical temporality and Chuvash nationalism in the poetry of Mišši Šešpěl. *Imagologiya i komparativistika* –

Введение

Понятие «историческое время» в современной постмодернистской историографии принадлежит к числу центральных категорий. Принимая во внимание междисциплинарность как основное и системное качество гуманитарных наук, концепция «исторического времени» начиная с 1980-х гг. регулярно подвергалась пересмотру, что привело к эрозии самого этого понятия, размыванию границ концепта и наделению и наполнению исторического времени новыми смыслами, которые ранее были ему не свойственны.

В подобной ситуации из исторической науки фактически исчезают более ранние представления о цельности и неразрывности, поступательности всемирного исторического процесса, об историческом детерминизме и возможности рассматривать исторические этапы в истории отдельных государств через призму взаимозависимости в рамках всемирной истории. Историческое время в условиях доминирования постмодернистской историографии фактически оказывается подвергнутым деконструкции и подвергается вытеснению из предметного поля современной истории. В такой ситуации историческое время становится объектом изучения целого ряда смежных гуманитарных наук – истории, исторической антропологии, социальной и культурной антропологии, культуральной истории, интеллектуальной истории, археологии идей и философии истории.

Понятие «историческое время» утрачивает критерии объективности, превращаясь в один из многочисленных историографических конструктов, а использование самого термина вводит его в число изобретенных традиций современной историографии, содействуя деконструкции исторического времени как такового. В такой ситуации становится не только возможным, но и нормальным писать о «долгом 19 веке» и о «коротком 20 веке», транслируя аналогичные категории воображаемой продолжительности или не менее условной кратковременности и на другие исторические этапы. Поэтому концепты, ранее закрепленные за конкретными периодами истории, оказываются сдвинутыми за те исторические и хронологические границы, в которых

они локализовались ранее историками, мыслившими в категориях историзма и позитивизма.

Не является исключением из этой универсальной логики развития современной междисциплинарной историографии и историческая наука в России, сфокусированная на изучение миноритарных и региональных национализмов. Важнейшим источником для анализа представлений об историческом времени в частности или исторической темпоральности в более широкой перспективе становятся национальные литературы народов Российской Федерации.

Одной из таких литератур является чувашская. Создатель современной (модерной) чувашской литературы Михаил Сеспель и его исторические преемники и продолжатели внесли существенный вклад в формирование в рамках ими же создаваемой чувашской национальной идентичности собственных уникальных представлений как об историческом времени в частности, так и об исторической темпоральности в более широкой культурной и социальной перспективе.

Цель и задачи

В центре авторского внимания в представленной статье – проблема восприятия исторического времени и связанной с ней исторической темпоральности в текстах, с одной стороны, Михаила Сеспеля, а с другой – представленность этих моментов в более широком дискурсе чувашской литературы, что, правда, потребует проведения необходимых параллелей с другими национальными литературами, стимулируя еще больше размывание исторического времени, предопределяя деконструкцию самого понятия темпоральности из национальных культурных контекстов.

Целью статьи является анализ понятия исторического времени через призму исторической темпоральности в чувашской литературе. В число задач автора входит: 1) изучение особенностей восприятия исторического времени в поэтических и прозаических текстах Михаила Сеспеля, 2) выявление основных системных характеристик понимания и осознания исторической темпоральности в чувашском интеллектуальном дискурсе модерна и постмодерна, а также социалистического реализма как одной из частных форм модернистских видений и

интерпретаций культуры и 3) анализ перспектив изучения исторического времени и темпоральности в национальных культурах через призму чувашского культурного опыта.

Методология

Методологически представленная статья основана на достижениях современной междисциплинарной историографии, постмодернистских подходов в описании прошлого. Поэтому сама категория «исторического времени» воспринимается как конструкт интеллектуалов, которые занимались подобными культурными, поэтическими и прозаическими литературными практиками, формировавших представления об исторической темпоральности.

Кроме этого, анализируя понятия «исторического времени» и «исторической темпоральности», автор склонен указывать на важность подходов, предложенных в ревизионистской и конструктивистской историографии, которые позволяют воспринимать исторические явления не более как культурные, социально и политически мотивированные конструкты с последующей их деконструкцией и исключением из общеисторического контекста. Рассматривая образы исторической темпоральности в чувашском интеллектуальном дискурсе, автор считает необходимым интегрировать в национальный контекст достижения историографии, сфокусированной на изучение изменения режима темпоральности всемирной истории.

Понятие «историческое время» может быть проанализировано с помощью тех теоретических подходов, которые сложились в рамках интеллектуальной истории, археологии идей и истории идей, позволяющих деконструировать или конструировать представления чувашских интеллектуалов о прошлом как об исторической времени с использованием различных режимов темпоральности, т.е. политически и идеологически мотивированных подходов к самому описанию как исторического процесса в целом, так и исторического времени в частности.

Историческое время М. Сеспеля

Темпоральность – ключевая характеристика истории, так как «история есть, прежде всего, временность (темпоральность), события в своей протяженности и длительности. Мы склонны ассоциировать временность с линейной последовательностью, а потому история представляется нам как движение в видимом направлении. Однако в действительности... следует говорить об историчности как определенном смысле существования в социальном мире, подверженном непрерывным изменениям» [1. С. 11]. Именно в таких координатах конструировались образы исторического времени [2] в литературном дискурсе М. Сеспеля, который не просто соотносил ход исторического времени с линейностью истории, но и наделял темпоральность смыслами и значениями – не столько философскими, сколько политическими и идеологическими, что подчиняло логику исторического времени логике как российской революции, так и чувашского национализма [3].

Первые образы исторического времени как переходного представлены в ранней поэзии Сеспеля Мишши. Например, уже в 1916 г. он был вынужден констатировать, что «чăвашемшĕн пит асан самана пуçланчĕ» [4], т.е. «началось очень тяжелое время для чувашского народа», хотя в такой версии исторической темпоральности прошлое как условно завершенное историческое время конструировалось через призму принуждения и насилия:

Килĕшÿллĕ пурнăçшăн,
Тÿрĕлĕхе тупасшăн
Тăшманпала вăрçрĕçĕ,
Савăнас чух вилчĕçĕ [5]

С мечтою жить в согласии,
Найти справедливость
С врагом они сражались,
Вместо радости увидели смерть

В подобной ситуации Сеспель Мишши не только следовал этой парадигме формально, но фактически заложил основы восприятия исторического времени в чувашской идентичности, в рамках которого прошлое и настоящее воспринимались исключительно в контекстах трудностей как характеристик переходности, воспринимаемой в качестве системной характеристики темпоральности.

Такая логика понимания современности была в значительной степени основана на восприятии настоящего исторического времени как «асинхронного и не равного самому себе, что может расслаиваться на целое множество не современных друг другу темпоральных порядков» [6], которые и были актуализированы в текстах М. Сеспеля, особенно в прозе. Например, рассказ «Върман ачисем» («Дети леса») основан на параллельном сосуществовании как минимум трех режимов темпоральности – модернизирующегося русского настоящего, чувашского прошлого, но незавершённого исторического, и чувашского будущего неопределенного исторического времени.

Революционная темпоральность в поэзии М. Сеспеля

В нарративе М. Сеспеля второй половины 1910-х гг. настоящее конструировалось как исключительно временная категория, которая, с одной стороны, является антиподом прошлого [7], а с другой – характеризуется всеобщим кризисом, включающим материальные страдания («выслăх йĕтрĕ ялсене ачасем те хăрăк» – «голод разорил деревни и дети бедны»), кризис веры («пулăшмарĕ турă» – «бог не помогает» [8]). В целом восприятие времени подчинено ожиданию нового, перемен, которые воспринимаются исключительно положительно:

халăх кум пек ҫĕкленет тăвăллăн,
хаяррăн; таса мар патша йăхне час
юхтапса ярĕ час хĕвелĕмĕр ҫўлте
сурхилле вутланĕ тырă-пулă уй-хтрте
савăнса хумханĕ [8]

народ восстает, как буря, яростно;
нечистый царский род скоро будет
сметен, скоро наше солнце будет го-
реть весной на небе, и на полях бу-
дет радость

Спустя несколько лет восприятие исторического времени Сеспелем изменится, и в его текстах будет фиксироваться иная модель темпоральности, символом которой станет «Ирĕклĕх, хĕрлĕ ялав», т.е. «свобода и алое знамя» [9]. Такая модель нации была основана на синтезе идеологического, национального и культурного, актуализируя такие качества исторического времени, как утопичность и фантастичность. В рамках такой модели поэтического воображения настоящее предстает не более как предыстория будущего, что актуализирует та-

кое качество исторического времени, как переходность, а историческая темпоральность оказывается текущим состоянием, «текучей современностью» между однозначно отрицательно воспринимаемым прошлым и идеализируемым будущим:

Вăхăт ситĕ, вăхăт пулĕ: сĕн йĕрке
килсен, юхмĕ, юхмĕ тек куçсĕлĕ
пурнăç хĕсĕкрен! Сĕнĕ пурăнăç
хĕвелĕ сунĕ сутутса [10]

Придет время, настанет время, когда
придет новый порядок, люди не бу-
дут плакать от недоли в жизни!
Солнце новой жизни будет светить.

В этом контексте Сеспель создал такую концепцию исторического времени, в рамках которой темпоральность в большей степени часть не истории, но современности, генетически вытекающей из революционного опыта. Формирование такого видения истории совпало с процессами советизации чувашского культурного пространства [11]. Такое будущее могло конструироваться в категориях будущего чувашского мира [12], а новая темпоральность воспринималась в национальной системе координат, о чем, например, свидетельствует небольшое эссе Сеспеля Мишши «Чувашское слово», проникнутое политически и идеологически мотивированными видениями будущего как национального футурума:

Вăхăт ситĕ. Чăваш чĕлхи те тимĕр
татĕ. Хĕртнĕ хурçă пек пулĕ. Вăхăт
ситĕ, чăваш юрри те илтĕнсе кайĕ.
Таса пĕлĕте, суг тĕнчене, хĕрлĕ
хĕвеле савса юрлĕ вăл. Чăваш юр-
ринче таса пĕлĕт сумĕнчи тăри юрри
илтĕнĕ. Чăваш юрринче тинĕс хумĕ
шавлĕ, вăрман чашлĕ, вĕçĕ-хĕррисĕр
улăхсем симĕсленсе выртĕç. Авалхи
хуйхă сасси илтĕнĕ, телей куç умне
тăрĕ. Атăл хĕрри тăрăх тĕнче кĕсле
сассипе янраса тăрĕ, сакă чăваш
юрри пулĕ... Вăхăт ситĕ! Вăхăт ситĕ!
[13]

Еще настанет время. И чувашский
язык станет прочнее железа. Станет
сталью закаленной. Еще настанет
время, и чувашская песня зазвонит.
Небосвод ясный, свет белый, солнце
красное с любовью прославятся в ней.
Трелью жаворонка в лазурном подне-
бесье зазвонит чувашская песня. Шум
прибоя, шелест леса, зелень бескрай-
них лугов отразятся в чувашской
песне. Стон давних страданий доне-
сется до слуха, свет счастья откроется
взору. Звоном гуслей наполнится
окрест над Волгой, – это и будет чу-
вашская песня. ...Настанет время!
Настанет время!

При таком видении будущего как новой формы исторической темпоральности в рамках чувашского интеллектуального и культурного

дискурса имело место одновременно «открытие истории» как самостоятельной категории чувашского коллективного и исторического опыта, и «укрощение времени» [14], что проявилось в локализации последнего в новой формировавшейся культурной модели, основанной на сочетании идей революционности и идеологии [15]. Предчувствие будущей свободы – центральная категория в восприятии и изобретении исторической темпоральности в поэзии Сеспеля Мишши. Если для современных теорий исторического времени характерна тенденция «видеть только свое отражение, а в будущем не нуждается во все, потому что научилась его неплохо прогнозировать» [16], то историческая темпоральность эпохи М. Сеспеля явно относилась к категории будущего неопределенного времени.

Вместе с тем переход к новому времени в поэтическом воображении Сеспеля сопровождается пониманием того, что за новый мир, основанный на свободе, не только следует заплатить, но и фактически заплатили другие:

Хирте пёр тёмеске пёр-пёччен...
Ырă сынни вилнĕ вăрçара...
Çĕнĕ пурнăçа.
Сыхласа вилнĕ вăл – çапăçса.
Чухăнсемшĕн хайĕн кун-çулне...
Коммунизм хёрлĕ ялавне...
Канлĕ пултăр нĕрĕ вырăну!..
[16. С. 64]

Одинокий холм в поле...
Хороший человек погиб на войне...
К новой жизни.
Он погиб в бою.
Он отдал свою жизнь за бедных...
Красный флаг коммунизма...
Покойся с миром!

Современность в поэтическом воображении Сеспеля воспринимается как условное настоящее историческое время, как переходный этап, транзитная форма исторической темпоральности, которая фактически представляет собой ускоренный и форсированный переход из прошлого исторического времени в будущее.

Современность как прошедшее, завершённое в исторической темпоральности М. Сеспеля

Подобно тому, как «формальное подчинение темпоральности авангарда темпоральности модерна, которое осуществляют художествен-

ные институты в капиталистических обществах, с самого начала сопровождалось навязчивым пространственным кодированием в терминах столичных, национальных или региональных территориальных форм» [18], так и в чувашском культурном дискурсе, который не только был институционализирован М. Сеспелем, но и начал активно воспроизводить концепты идентичности [19], темпоральность традиционности оказывается не в состоянии конкурировать с историческим временем революции, которая создавала и институционализировала новую реальность. Такой темпоральный транзит представляется как время кризиса:

Вилесем урлă, шăм куписем шинче
Хёвеллĕ ыран енне
Кёпер чёнтёрлёр [20]

Сквозь трупы, по грудам костей
К солнечному завтра
Постройте мост

Поэтому настоящее и современность воспринимаются не более как переходный этап к тому времени, когда «сут тёнче суталё, сёнелсе лапланё. ирёклĕхшён вилнĕ тăвансенĕн юнĕ» («свет будет сиять, когда кровь братьев погибших за свободу прольется» [20. С. 62]), а «тантăшлăх, тăванлăх, юрату кăварĕ» [20. С. 62] («дружба, братство, любовь») станут доминантами в развитии общества. Историческое время редуцируется Сеспелем до социальных предпосылок национального будущего:

Тёп Чăваш пурнăçĕ пуçланса кайĕ,
йёри-тавра чăваш чĕлхи анчах
илтёнĕ. Чăваш хулисенче ирёклĕ
чăвашсем, кăткăсем пек тăрăшса,
хăйсене епле аван савăн пек,
вырăссене хёсёрлеме памасăр,
канлĕн ёслĕс. Чиркўсенче хамăр
чĕлхепе турра кёлтуса савăнса
юрлăпăр... Тин вара сунса, ялкăшса
чăвашан кётнĕ Хёвелĕ тухĕ те
Чăваш сёрне, нумай асап курнă сёре,
хăй сугтипе ачашласа, сутатса ярĕ!
[21]

Начнется основная чувашская жизнь,
и только чувашский язык будет слы-
шен вокруг. В чувашских городах
свободные чуваша будут трудиться
спокойно, стараясь, как муравьи, им
будет хорошо, так как не будут они
давать русским притеснять себя. В
церквях будем петь молитвы на своем
языке... И вот, наконец, загорится,
вспыхнет долгожданное чувашское
солнце и осветит, лаская своим све-
том многострадальную чувашскую
землю!

В такой системе координат не только начинается процесс «распада событийной истории» [23], но и само историческое время не просто описывает состояние, определяемое как «накануне», но и фактически обретает качества национальной утопии. Несмотря на то, что «история настолько тесно ассоциируется с прошлым, что нередко выступает его синонимом» [6. С. 1], литературный опыт миноритарных национализмов в России подчеркивает, что историческое время в националистическом воображении не всегда означало прошедшее и завершённое время, так как могло иметь устойчивые коннотации с идеями национального будущего [24]. Поэтому манипуляции с исторической темпоральностью в текстах Сеспеля привели к тому, что история перестала быть частью хронологии, которая конструируется в категориях прошлого.

В такой ситуации историки были обречены на то, чтобы утратить контроль над прошлым, передав его «в обладание к тем, кто распоряжается памятью» [16]. Таким образом, тексты Сеспеля, с одной стороны, и траектория его творчества – с другой, привели к тому, что наследие поэта оказалось изъято из контекста истории, став частью памяти. Современность в поэтическом воображении Сеспеля, которое постепенно становилось политическим, воспринимается как прелюдия к будущей национальной истории, к «хёвел сёршывё» («Стране солнца») [24] и к «Сён Кун» («Новому дню») [25] как интегрированному символу будущего, когда «таван чёлхене пёрлешсе юлар» [26. С. 76], т.е. основой консолидации нации станет язык. «Чăваш чĕлхи» становится центральным образом в восприятии этнически маркированного исторического времени в поэзии Сеспеля, в которой историческое время становится в большей степени не прошлым, но будущим, так как последнее ассоциируется с рассветом языка:

чăвашан чĕлхи чапĕ пулĕ,
тапри шинче ярĕ ирĕклĕх юрри [27]

славен будет чувашский язык,
песня свободы будет звучать

Такое видение исторического времени интегрировано в контексты будущей массовости, так как отмечено предчувствием не только ускорения истории, но и ее унификации:

Кăвар чĕрем - пин сын чĕри
Эп пĕр сын мар - эп хам пин-пин

Мое огненное сердце – сердце тысяч
Я не один человек, меня тысячи

Эп пин чăваш, эп пин-пин сын!
Чĕрем юрри - пин сын юрри» [28]

Я тысяча чувашей, я тысяча людей!
Песня сердца – песня тысяч.

Такое восприятие времени в целом соотносилось с интеллектуальными тенденциями чувашского общества периода революции. В чувашской периодике появлялись тексты, авторы которых синтезировали революционную риторику с собственными видениями будущего:

Раçсей революци тапраннипеле
Сан пуçунта вĕри шухăш вĕретчĕ!
Чăвашан малашне пулас кунсене
Вут сунатлă сăмрăк шухăшсемпеле
Ху уманта пăхса курса тăратăн»
[29]

Началась российская революция
В голове у тебя пламенные мысли кипели!
Грядущие дни чуваша
Огненнокрылыми юными мыслями
Пред собою ты видел.

В целом доминирование именно такой риторики в поэтическом дискурсе, вероятно, свидетельствует об изменении восприятия самого режима исторического времени, центральными категориями которого становятся не просто продолжительность, но преодолимость времени, его редукция до предыстории будущего [31], конструируемого также через призму идеологии, но в национальной системе координат, которая оказалась интегрированной в национальную утопию [32].

Современность как настоящее национальное

Кроме этого, в такой исторической темпоральности фактически актуализируется идея национальной антропологии, чувашского человека, приход которого предвосхищал поэт, полагая, что тот не только придет с «Кăвар чĕре! Кăвар чĕлхеллĕ» («Горящим сердцем! Горящим языком») [32. С. 98], но и его взгляд будет устремлен в будущее – «кусна тĕлле хĕвел сине» («направьте глаза на солнце») [33]. Подобный режим темпоральности, с одной стороны, воспринимается через призму депрессивности [34], вызванной разрывом и дискретностью между двумя режимами исторического времени:

Вăхăт – ачашлăх вăхăч мар
Ăш юрă вăхăчĕ кайра
Малта хĕвел
Ку вăхăт – вилĕм вăхăчĕ
[19. С. 166–169]

Не время для нежностей
Время песен осталось позади
Солнце впереди
Это время смерти.

С другой стороны, историческое время, конструируемое Сеспелем, через призму будущего воспринимается как время чувашского языка, когда «Чăваш чĕлхи хăватлăлантăр» («чувашский язык станет сильнее») [35. С. 94–97]:

Вăхăт ситĕ – Чăваш сĕрĕн

Кăмăллă чĕлхи

Чаплă пулĕ, – вăлах пулĕ

Самраĕк чун пахи [36. С. 110–115]

Придет время, ласковый чувашский
язык станет великим, он станет цен-
ностью молодой души

Сеспель, ожидая приход нового человека, призывал

Часрах килсе хăватлăх кĕртчĕ

Чăвашăн капăр чĕлхин

Сунтартăр сұламлă, кăварлă

Чĕлху сынсен чĕрисене [32. С. 98]

Пусть он придет скорей и даст силы

Прекрасному чувашскому языку

Который горит огнем

Пусть язык горит в сердцах людей.

Такая версия исторического времени в текстах М. Сеспеля фактически функционировала как множественная, представленная одновременным и параллельным (со)развитием и (со)протеканием нескольких прошлых и настоящих, в разной степени, завершенных времен, так как поэт оказался в уникальной ситуации одновременного протекания исторического времени как «накануне», так и «между».

Поэтому «существование множества исторических времен или, выражаясь феноменологически, множества темпоральностей» [37. С. 98] становится ключевой характеристикой сеспелевского дискурса. В историческом воображении М. Сеспеля существует не одно время, а множественность различных исторических времен. Более того, эта множественность, в свою очередь, является двойственной. Поэтому такую модель исторической темпоральности мы можем видеть одновременно синхронически и диахронически [38]. Поэтому наследие М. Сеспеля, вероятно, представляет пример «многослойного или множественного исторического времени, допускающие сосуществование разнородных темпоральных режимов внутри той крайне неустойчивой их конstellляции» [39. С. 8], определяемой как поэтом, так и его современниками как «революция», которая могла интерпретироваться через призму не современности, но футурума, что в определенной степени сближало восприятие исторического времени в текстах

М. Сеспеля с последующим фантастическим дискурсом [40]. Поэтому революция 1917 г. фактически для российских интеллектуалов и представителей миноритарных групп доказала, что «формирование будущего – это задача человека. История больше не была чем-то, что находится за пределами людей в форме божественной силы, судьбы, воли и пророчества. Революция больше не была естественным и временным циклом, став жестоким разрывом прошлого в неизвестное будущее, которое будет контролироваться человеческим вмешательством» [41]. Именно поэтому революция в ходе своей реализации привела к кризису и разрушению исторического хронотопа, что «мешает нам с уверенностью определить, что относится к “нашему времени”, а что нет» [42. С. 70].

Национализация исторической темпоральности

В такой ситуации историческое время превращается в современность – эпоху путешествия нации из прошлого в будущее – когда «эпир халь Хёрлэ тинёсре Коммуна сёрнелле ишетпёр» («мы плывем в страну Коммун по Красному морю») [43. С. 78–81]. Последняя станет результатом радикального ускорения темпов протекания исторического времени, в рамках которого

Сёр сунса сёрнелсен
Сёр суне мал енчен
Сёрнё сян сёрсеме ситтёри
[44. С. 110–115]

земля горит,
огнем земля обновится,
придет новая заря.

Аналогичные мотивы были характерны и для прозы М. Сеспеля, в частности, для рассказа «Върман ачисем» («Дети леса») [46], где историческая темпоральность ограничивается двумя доминантами в развитии исторического времени – ускорением протекания социального времени чувашского общества, с одной стороны, и разрушением традиционных устоев последнего – с другой.

Если для современных историков характерно стремление «надевать прошлое статусом самостоятельного и существующего помимо их воли объекта познания, так как они отчетливо видят его практическую нерелевантность для настоящих и будущих поколений» [46], то

М. Сеспель, наоборот, фиксировал эту историческую темпоральность как политически актуальную современность. В такой ситуации кризис и эрозия традиций, их релокализация из современности в прошлое сопровождается верой в то, что «чăваш та вăранĕ» («чуваш проснется» [47]), т.е. уверенностью в том, что историческое время чувашской нации – будущее время.

Российская модернизация в тексте превращается в стимул, который ускоряет естественный ход истории архаичного и традиционного общества, представители которого оказываются жертвой ускорения исторического времени, так как не в состоянии адаптироваться к переменам, конкурируя с русскими как сообществом, заинтересованным в демонтаже традиций и установлении нового режима исторической темпоральности. По мнению российского историка А. Олейникова, «идея онтологической несовместимости прошлого и настоящего не является непременным атрибутом исторического сознания и характеризует только профессиональную историографию XIX–XX веков» [48], а истоки такого восприятия исторического времени, в основе которого лежит понимание исторической темпоральности как множественной, могут быть локализованы в литературных практиках миноритарных национализмов, в том числе и чувашского.

М. Сеспель и начало нового исторического времени

Подобное восприятие исторического времени в поэзии М. Сеспеля имело принципиальное значение для последующей чувашской интеллектуальной традиции. Радикальное восприятие исторического времени, основанное на деконструкции прошлого и утверждении исторической темпоральности, воображенной в категориях национального будущего, частично было трансплантировано в литературную критику последующего периода, в центре внимания которой оказалось наследие поэта. Поэтому деятельность Сеспеля, хронологически совпавшая с радикальными революционными переменами, была воспринята как центральная в новой исторической темпоральности, будучи определённой в качестве начальной точки в истории чувашской советской поэзии.

Именно творчество М. Сеспеля было объявлено началом чувашской советской литературы, а сам поэт – «основоположником чувашской советской поэзии» [49. С. 5], «зачинателем чувашской советской литературы» [50. С. 17]. Деление исторического времени и режимов исторической темпоральности на «до» и «после» М. Сеспеля в чувашском интеллектуальном дискурсе советского времени стало следствием трансплантации общесоюзной схемы, основанной на восприятии 1917 г. как поворотного момента в историческом процессе. Применение именно такой модели хронологии и картирования исторического времени чувашскими историками стало фактически следствием «институционализации исторического знания и формирования линейной темпоральности классического историзма» [39. С. 5], который в советских историографических реалиях был в большей степени идеологическим конструктом и изобретенной традицией политической культуры.

Выводы

Хронологически творчество Сеспеля Мишши в истории чувашской литературы занимает период не более пяти лет, который совпал с событиями российской революции, приведшей к институционализации новой системы. Последняя имела двойственный характер. С одной стороны, с точки зрения формальной хронологии она разделила восприятие исторического времени на постимперском пространстве на предшествующее и наследующее революции. С другой – в политическом плане она привела к появлению новой системы, которая инициировала процессы ускоренной и форсированной модернизации, в том числе – и чувашского общества. В такой ситуации восприятие исторического времени в текстах Сеспеля Мишши оказалось подчинено ускоряющимся темпам социальных, культурных и политических изменений, которые начали проявляться в чувашском социуме. Поэтому время воспринималось через призму революции и социально-экономических изменений, которые запустили советскую модель политической идентичности чувашской нации.

Непродолжительная творческая активность Сеспеля Мишши привела к национализации концептов исторического времени, начавшего

восприниматься в чувашской этнической и формирующейся национальной системе координат. Историческое время с точки зрения хронологии и темпоральности оказалось разделенным на две большие продолжительности – прошлое и будущее. Настоящее в такой системе координат воспринималось как переходный этап от архаичного режима предшествующей социальной и исторической темпоральности, за которой следовало будущее – принципиально иная и другая темпоральность, изобретаемая и воображаемая в национальной и этнической системе координат. Поэтому в условиях ускорения исторического времени восприятие революции и исторического времени, которое понималась через призму последней, было подчинено логике национального футурума, постепенно обретавшего черты национальной и этнической утопии.

Центральной характеристикой восприятия исторической темпоральности в наследии Сеспеля Мишши стала актуализация состояния «накануне» как системного качества, которое подчеркивало переходность и транзитивность между двумя различными режимами исторической, социальной и политической темпоральности. Если первый режим темпоральности воспринимался в категориях прошедшего завершенного времени, ассоциируясь с Российской империей, то второй – с неопределенным будущим, которое воображалось в преимущественно идеологической системе координат. Последняя давала чувашским интеллектуалам возможность конструировать историческое время в рамках новой темпоральности через призму национализма, который соотносился с различными формами и проявлениями культурной активности последующих поколений чувашской интеллигенции, попытки которой сформировать свое собственное видение и понимание как режимов исторической темпоральности, так и исторического времени должны стать объектом отдельных и самостоятельных исследований.

Список источников

1. Гидденс Э. Устройство общества: Очерк теории структуризации. М.: Академический проект, 2005. 528 с.
2. Kyrchanoff M.W. Imagining Chuvash historical time: historical continuities and intellectual failures // *Tractus Aevorum: The Evolution of Socio-Cultural and Political Spaces*. 2017. Vol. 4, № 2. P. 134–155.

3. *Kyrchanoff M.W.* From suicide of revolutionary to symbolic communication with the world of the dead (death in the modern Chuvash identity) // *The New Past*. 2016. № 4. P. 84–98.
4. *Çeçnĕl M.* Час // Çeçnĕl M. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 56.
5. Хурлăхлă вилнĕ салтаксем // Хыпар. 1918. Январĕн 1.
6. *Олейников А.* Современность несовременного // *Логос*. 2021. Т. 31, № 4. С. 1–4.
7. *Çeçnĕl M.* Ирtnĕ самана // Çeçnĕl M. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 68–72.
8. *Çeçnĕl M.* Чухăнсеен кĕрешĕ тертĕнчи кун çути... // *Çeçnĕl M.* Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 56.
9. *Çeçnĕl M.* Вăхăт ситĕ, вăхăт пулĕ // Çeçnĕl M. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 74.
10. *Кирчанов М.В.* Чувашский национализм в 1917–1920-е гг.: проблемы советизации // *Общество: философия, история, культура*. 2013. № 1. С. 40–47.
11. *Кирчанов М.В.* «Чăваш тĕнчи» как «изобретенная традиция» в поэтическом воображении чувашского модернизма и постмодернизма // *Новый филологический вестник*. 2022. № 3 (62). С. 262–278.
12. *Çeçnĕl M.* Чăваш сăмахĕ // Çeçnĕl M. Мильоном стих мой повторен. Эп пин чăваш. Фрагменты дневника и писем. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2012. С. 75.
13. *Kyrchanoff M.W.* Difficulties of Mental Mapping of Historical Time in the Chuvash National Identity: Cultural Continuities and Intellectual Failures // *Social Evolution & History*. 2017. Vol. 16, № 1. URL: <https://www.sociostudies.org/journal/articles/876290/>
14. *Кирчанов М.В.* Чувашский модерн начала 1920-х годов: национальная революция и футуризм // *Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки*. 2013. № 2. С. 74–83.
15. *Олейников А.* Другой презентизм // *Либеральная миссия*. 2021. 2 июля. URL: <https://liberal.ru/authors-projects/drugoj-prezentizm>
16. *Çeçnĕl M.* Пурнăсна вилĕм // Çeçnĕl M. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 64.
17. *Осборн П.* Темпорализация как трансцендентальная эстетика: авангард, модерн, современность // *Художественный журнал*. 2016. № 98. URL: <https://moscowartmagazine.com/issue/31/article/552>
18. *Кирчанов М.В.* Концепт чăвашлăх как основа чувашского этнофутуризма // *Вестник культуры и искусств*. 2021. № 2. С. 62–70.
19. *Çeçnĕl M.* Кĕпер хывăр! // Çeçnĕl M. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989.
20. *Çeçnĕl M.* Пуласи // Çeçnĕl M. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 62.

21. *Çеçнĕл М.* Пирĕн вай // Çеçпел М. Мильоном стих мой повторен. Эп пин чăваш. Фрагменты дневника и писем. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2012. С. 71–72.
22. *Горин Д.Р.* Трансисторизм и новый режим темпоральности в современной исторической культуре // Концепт: философия, религия, культура. 2021. Т. 5, № 2. С. 8–20. doi: 10.24833/2541-8831-2021-2-18-8-20
23. *Kirchanov M.V.* Chuvash nationalism in trans-situation: science fiction, Chuvash futurism and dystopian identity // Problems of Social and Humanitarian Sciences. 2018. № 3. P. 140–145.
24. *Çеçнĕл М.* Экспромт // Çеçпел М. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 154.
25. *Çеçнĕл М.* Çĕн Кун аки // Çеçпел М. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 140–143.
26. *Çеçнĕл М.* Тухăр тĕтгĕмрен // Çеçпел М. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 76.
27. *Çеçнĕл М.* Чăваш чĕлхи // Çеçпел М. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 94–97.
28. *Çеçнĕл М.* Инçe синçe уйра уяр // Çеçпел М. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 150–153.
29. Некролог // Хыпар. 1918. Февралĕн 5.
30. *Kirchanov M.W.* Chuvash national futurum: intellectual origins and backgrounds of nationalism // Problems of Social and Humanitarian Sciences. 2018. № 2. P. 179–186.
31. *Kirchanov M.V.* Chuvash national utopia inspired by the revolution: between nationalism and communism // Problems of Social and Humanitarian Sciences. 2017. № 3. P. 41–49.
32. *Çеçнĕл М.* Чăваш ачине // Çеçпел М. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989.
33. *Çеçнĕл М.* Чăваш! Чăваш! // Çеçпел М. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 136–139.
34. *Кирчанов М.В.* Поэтическая депрессия в дискурсе чувашского модернизма начала 1920-х годов // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2014. № 2 (4). С. 12–20.
35. *Çеçнĕл М.* Чăн чĕрĕлнĕ! // Çеçпел М. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 94–97.
36. *Çеçнĕл М.* Эпĕ вилсен // Çеçпел М. Çырнисен пуххи. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 1989. С. 110–115.
37. *Йордхайм Х.* Множественное время и стратиграфии истории // Логос. 2021. Т. 31, № 4. С. 98.
38. *Imbriano G.* The Temporality of History. Structures of the “Political” and Concept of Politics in Reinhart Koselleck. Freiburg; München : Alber, 2021. 228 p.
39. *Олейников А.* Время истории // Логос. 2021. Т. 31, № 4. С. 5–30.

40. Кирчанов М.В. «Чувакское» между «утопическим» и «фантастическим» в изобретении традиций чувашской идентичности // Российский журнал исследований национализма. 2023. № 1–2. С. 29–45.

41. Rakkar S. Time and Temporality in Historical Thinking // The Oxbridge Launchpad. 2021. April 23. URL: <https://www.oxbridgelaunchpad.com/post/time-and-temporality-in-historical-thinking>

42. Бевернаж Б. «Прошедшее прошлого»: некоторые размышления о политике историзации и кризисе истористского прошлого // Логос. 2021. Т. 31, № 4. С. 65–94.

43. Сеҫпӗл М. Хӗрлӗ тинӗсре // Сеҫпел М. Сырнисен пуххи. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1989. С. 78–81.

44. Сеҫпӗл М. Шӑршӑ каҫ йӑвӑрри // Сеҫпел М. Сырнисен пуххи. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1989. С. 110–115.

45. Сеҫпӗл М. Вӑрман ачисем // Сеҫпел М. Сырнисен пуххи. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1989. С. 204–221.

46. Олейников А. Откуда берется прошлое? (апология анахронизма) // Новое литературное обозрение. 2014. № 126. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/126_nlo_2_2014/article/10916/

47. Сеҫпӗл М. Упик // Сеҫпел М. Сырнисен пуххи. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1989. С. 254.

48. Олейников А. Стоит ли «практиковать» прошлое? // Новое литературное обозрение. 2017. № 143. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/143_nlo_1_2017/article/12378/

49. Егоров Н.Е. Основоположник чувашской советской поэзии // Ученые записки НИИ при Совете министров Чувашской АССР. 1971. Вып. 51: Основоположник чувашской советской поэзии. С. 5–11.

50. Дедушкин Н.С. Великий поэт чувашского народа // Ученые записки НИИ при Совете министров Чувашской АССР. 1971. Вып. 51: Основоположник чувашской советской поэзии. С. 12–18.

References

1. Giddens, A. (2005) *Ustroistvo obshchestva: Ocherk teorii strukturatsii* [The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration]. Moscow: Akademicheskii projekt.

2. Kyrchanoff, M.W. (2017) Imagining Chuvash historical time: historical continuities and intellectual failures. *Tractus Aevorum: The Evolution of Socio-Cultural and Political Spaces*. 4 (2). pp. 134–155.

3. Kyrchanoff, M.W. (2016) From suicide of revolutionary to symbolic communication with the world of the dead (death in the modern Chuvash identity). *The New Past*. 4. pp. 84–98.

4. Seҫpӗl, M. (1989) Chas [The Hour]. In: Seҫpӗl, M. *Syrnisen pukhkhii* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. p. 56. (In Chuvash).

5. *Khypar*. (1918) Khurlakhlă vilnĕ saltaksem [The Unfortunate Deceased Soldiers]. January 1. (In Chuvash).
6. Oleinikov, A. (2021) Sovremennost' nesovremennogo [The Contemporaneity of the Non-Contemporary]. *Logos*. 31 (4). pp. 1–4.
7. Šešpĕl, M. (1989) Irtnĕ samana [Bygone Era]. In: Šešpĕl, M. *Syrnisen pukkhki* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 68–72. (In Chuvash).
8. Šešpĕl, M. (1989) Chukhânseien kĕreshĕ tertĕnchi kun sutĭ... [The Light of Day in the Fierce Battle of the Poor...]. In: Šešpĕl, M. *Syrnisen pukkhki* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. p. 56. (In Chuvash).
9. Šešpĕl, M. (1989) Văkhăt çitĕ, văkhăt pulĕ [The Time Has Come, Let It Be Time]. In: Šešpĕl, M. *Syrnisen pukkhki* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. p. 74. (In Chuvash).
10. Kirchanov, M.V. (2013) Chuvashskiy natsionalizm v 1917–1920-e gg.: problemy sovetsizatsii [Chuvash Nationalism in 1917–1920s: Problems of Sovietization]. *Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura*. 1. pp. 40–47.
11. Kirchanov, M.V. (2022) "Chăvash tĕnchi" kak "izobretnaya traditsiya" v poeticheskom voobrazhenii chuvashskogo modernizma i postmodernizma ["Chuvash World" as an "Invented Tradition" in the Poetic Imagination of Chuvash Modernism and Postmodernism]. *Novyy filologicheskiy vestnik*. 3 (62). pp. 262–278.
12. Šešpĕl, M. (2012) Chăvash sâmakhĕ [The Chuvash Word]. In: Šešpĕl, M. *Mil'onom stikh moi povtoren. Ep pin chăvash. Fragmenty dnevnika i pisem* [My Verse is Repeated a Million Times. I am One of a Million Chuvash. Fragments of a Diary and Letters]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. p. 75. (In Chuvash).
13. Kyrchanoff, M.W. (2017) Difficulties of Mental Mapping of Historical Time in the Chuvash National Identity: Cultural Continuities and Intellectual Failures. *Social Evolution & History*. 16 (1). [Online] Available from: <https://www.sociostudies.org/journal/articles/876290/> (Accessed: 26.06.2024).
14. Kirchanov, M.V. (2013) Chuvashskiy modern nachala 1920-kh godov: natsional'naya revolyutsiya i futurizm [Chuvash Modern of the Early 1920s: National Revolution and Futurism]. *Nauchnyy vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. Seriya: Sotsial'no-gumanitarnye nauki*. 2. pp. 74–83.
15. Oleinikov, A. (2021) Drugoy prezentizm [Another Presentism]. *Liberal'naya missiya*. July 2. [Online] Available from: <https://liberal.ru/authors-projects/drugoj-prezentizm> (Accessed: 26.06.2024).
16. Šešpĕl, M. (1989) Purnăçpa vilĕm [Life and Death]. In: Šešpĕl, M. *Syrnisen pukkhki* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. p. 64. (In Chuvash).
17. Osborn, P. (2016) Temporalizatsiya kak transtsendentnaya estetika: avangard, modern, sovremennost' [Temporalization as Transcendental Aesthetics: Avant-Garde, Modern, Contemporaneity]. *Khudozhestvennyi zhurnal*. 98. [Online] Available from: <https://moscowartmagazine.com/issue/31/article/552> (Accessed: 26.06.2024).

18. Kirchanov, M.V. (2021) Kontsept chăvashlăkh kak osnova chuvashskogo etnofuturizma [The Concept "Chuvashness" as the Basis of Chuvash Ethno-Futurism]. *Vestnik kul'tury i iskusstv.* 2. pp. 62–70.
19. Šešpěl, M. (1989) Köper khivăr! [Build a Bridge!]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhi* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 166–169. (In Chuvash).
20. Šešpěl, M. (1989) Pulassi [The Future]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhi* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. p. 62. (In Chuvash).
21. Šešpěl, M. (2012) Pirën vâi [Our Strength]. In: Šešpěl, M. *Mil'onom stikh moi povtoren. Ep pin chăvash. Fragmenty dnevnika i pisem* [My Verse is Repeated a Million Times. I am One of a Million Chuvash. Fragments of a Diary and Letters]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 71–72. (In Chuvash).
22. Gorin, D.R. (2021) Transistorizm i novyy rezhim temporal'nosti v sovremennoy istoricheskoy kul'ture [Transhistorism and the New Regime of Temporality in Contemporary Historical Culture]. *Kontsept: filosofiya, religiya, kul'tura.* 5 (2). pp. 8–20. doi: 10.24833/2541-8831-2021-2-18-8-20.
23. Kirchanov, M.V. (2018) Chuvash nationalism in trans-situation: science fiction, Chuvash futurism and dystopian identity. *Problems of Social and Humanitarian Sciences.* 3. pp. 140–145.
24. Šešpěl, M. (1989) Eksprompt [Impromptu]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhi* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. p. 154. (In Chuvash).
25. Šešpěl, M. (1989) Çën Kun aki [The Plough of the New Day]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhi* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 140–143. (In Chuvash).
26. Šešpěl, M. (1989) Tukhăr têtëmren [From the Dark Depths]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhi* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. p. 76. (In Chuvash).
27. Šešpěl, M. (1989) Chăvash chělkhi [The Chuvash Language]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhi* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 94–97. (In Chuvash).
28. Šešpěl, M. (1989) Inçe çinçe uira uiar [Far, Far Away the Meadow Glows]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhi* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 150–153. (In Chuvash).
29. Nekrolog [Obituary] (1918) *Khypar.* February 5. (In Chuvash).
30. Kirchanov, M.W. (2018) Chuvash national futurum: intellectual origins and backgrounds of nationalism. *Problems of Social and Humanitarian Sciences.* 2. pp. 179–186.
31. Kirchanov, M.V. (2017) Chuvash national utopia inspired by the revolution: between nationalism and communism. *Problems of Social and Humanitarian Sciences.* 3. pp. 41–49.
32. Šešpěl, M. (1989) Chăvash achine [To a Chuvash Child]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhi* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. p. 98. (In Chuvash).

33. Šešpěl, M. (1989) Chāvash! Chāvash! [Chuvash! Chuvash!]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhī* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 136–139. (In Chuvash).
34. Kirchanov, M.V. (2014) Poeticheskaya depressiya v diskurse chuvashskogo modernizma nachala 1920-kh godov [Poetic Depression in the Discourse of Chuvash Modernism of the Early 1920s]. *Nauchnyi vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. Seriya: Sotsial'no-gumanitarnye nauki*. 2 (4). pp. 12–20.
35. Šešpěl, M. (1989) Chăn chërēlně! [Truly Revived!]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhī* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 94–97. (In Chuvash).
36. Šešpěl, M. (1989) Epě vilsen [When I Die]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhī* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 110–115. (In Chuvash).
37. Iordkheim, Kh. (2021) Mnozhestvennoe vremya i stratigrafii istorii [Multiple Time and the Stratigraphies of History]. *Logos*. 31 (4). p. 98.
38. Imbriano, G. (2021) *The Temporality of History. Structures of the "Political" and Concept of Politics in Reinhart Koselleck*. Freiburg; München: Alber.
39. Oleinikov, A. (2021) Vremya istorii [The Time of History]. *Logos*. 31 (4). pp. 5–30.
40. Kirchanov, M.V. (2023) "Chuvashskoe" mezhdu "utopicheskim" i "fantasticheskim" v izobretenii traditsii chuvashskoy identichnosti ["The Chuvash" Between the "Utopian" and the "Fantastic" in the Invention of Chuvash Identity Traditions]. *Rossiiskii zhurnal issledovaniĭ natsionalizma*. 1-2. pp. 29–45.
41. Rakkar, S. (2021) Time and Temporality in Historical Thinking. *The Oxbridge Launchpad*. April 23. [Online] Available from: <https://www.oxbridgelaunchpad.com/post/time-and-temporality-in-historical-thinking> (Accessed: 26.06.2024).
42. Bevernazh, B. (2021) "Proshedshest' proshlogo": nekotorye razmyshleniya o politike istorizatsii i krizise istoristskogo proshlogo ["The Pastness of the Past": Some Reflections on the Politics of Historicization and the Crisis of the Historicist Past]. *Logos*. 31 (4). pp. 65–94.
43. Šešpěl, M. (1989) Khërľě tiněsre [In the Red Sea]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhī* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 78–81. (In Chuvash).
44. Šešpěl, M. (1989) Shārshlā kaç ävärri [The Burden of a Sultry Night]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhī* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 110–115. (In Chuvash).
45. Šešpěl, M. (1989) Värman achisem [Children of the Forest]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhī* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. pp. 204–221. (In Chuvash).
46. Oleinikov, A. (2014) Otkuda beretsya proshloe? (apologiya anakhronizma) [Where Does the Past Come From? (An Apology for Anachronism)]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 126. [Online] Available from: <https://www.nlobooks.ru/>

magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/126_nlo_2_2014/article/10916/ (Accessed: 26.06.2024).

47. Šešpěl, M. (1989) Upik [The Spider]. In: Šešpěl, M. *Syrnisen pukhkhi* [Collected Works]. Shupashkar: Chavash keneke izdatel'stvi. p. 254. (In Chuvash).

48. Oleinikov, A. (2017) Stoit li "praktikovat" proshloe? [Is It Worth "Practicing" the Past?]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 143. [Online] Available from: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/143_nlo_1_2017/article/12378/ (Accessed: 26.06.2024).

49. Egorov, N.E. (1971) Osnovopolozhnik chuvashskoi sovetskoi poezii [The Founder of Chuvash Soviet Poetry]. *Uchenye zapiski NII pri Sovete ministrov Chuvashskoy ASSR*. 51: Osnovopolozhnik chuvashskoi sovetskoi poezii. pp. 5–11.

50. Dedushkin, N.S. (1971) Velikiy poet chuvashskogo naroda [The Great Poet of the Chuvash People]. *Uchenye zapiski NII pri Sovete ministrov Chuvashskoy ASSR*. 51. pp. 12–18.

Информация об авторе:

Кирчанов М.В. – д-р ист. наук, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран, доцент кафедры истории зарубежных стран и востоковедения Воронежского государственного университета (Воронеж, Россия). E-mail: maksym_kyrchanoff@hotmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

M.V. Kyrchanoff, Dr. Sci. (History), associate professor, Voronezh State University (Voronezh, Russian Federation). E-mail: maksym_kyrchanoff@hotmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 8.06.2025.

The article was accepted for publication 8.06.2025.

Научная статья
УДК 821.131.1:82-43
doi: 10.17223/24099554/24/14

Италия и итальянцы в травелогах об СССР рубежа 1940–1950-х гг.

Анастасия Викторовна Голубцова

*Институт мировой литературы имени А.М. Горького
Российской академии наук, Москва, Россия, anal294@yandex.ru*

Аннотация. В статье исследуется образ Италии и итальянцев в травелогах об СССР, созданных итальянскими писателями-коммунистами, посещавшими Советскую Россию на рубеже 1940–1950-х гг. (Л. Биджаретти, Р. Вигано, И. Кальвино, С. Алерамо, А.-М. Ортезе), анализируются особенности национальной саморефлексии, возникающей при имагологическом сопоставлении Италии как капиталистической страны с Советским Союзом, воспринимаемым левыми интеллектуалами как образец социального прогресса, равенства и благополучия.

Ключевые слова: советско-итальянские культурные связи, травелог, имагология, Л. Биджаретти, Р. Вигано, С. Алерамо, И. Кальвино, А.-М. Ортезе

Источник финансирования: исследование выполнено в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00393, «Россия / СССР и Запад: встречный взгляд. Литература в контексте культуры и политики в XX веке», <https://rscf.ru/project/23-18-00393/>

Для цитирования: Голубцова А.В. Италия и итальянцы в травелогах об СССР рубежа 1940–1950-х гг. // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 296–308. doi: 10.17223/24099554/24/14

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/14

Italy and Italians in travelogues about the USSR in the late 1940s and early 1950s

Anastasia V. Golubtsova

*A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation, ana1294@yandex.ru*

Abstract. The article studies the image of Italy and Italians in the travelogues about the USSR written by Italian communist authors who visited Soviet Russia in the late 1940s and early 1950s. Russia and the USSR are traditionally perceived by Europeans, including Italians, imagologically, as the Other: the image of Russia serves as a "mirror" reflecting the relations between the two countries and the way Italians perceive not only Russian, but also their own culture, national character, political and economic system. The image of Russia and Italy in travelogues is based on a number of binary oppositions: backwardness–progress, barbarity–civilization, collectivism–individualism, etc. After World War II there appears a number of panegyric pro-Soviet travelogues, where these traditional oppositions are radically reassessed. Unlike pre-war travel prose that highlighted the backwardness of Soviet Russia and, consequently, the advantages of Italian culture and socio-economic system, post-war Italian travelogues promote a highly positive image of Soviet society, while concentrating on flaws and disadvantages of the capitalist system. In the 1940s–1950s, when Italian perception of Soviet Russia was largely determined by the so-called Soviet myth, the Soviet Union was considered by left intellectuals as a model of social progress, while Italy, consequently, represented a negative example of society affected by a number of social plagues. The analysis of travel prose on the USSR written by Italian left intellectuals (an article by Libero Bigiaretti, two series of essays written by Renata Viganò and Italo Calvino respectively, an article and a publication of a speech given by Sibilla Aleramo, essays by Anna Maria Ortese) shows that prosperity, equality, collectivism, human dignity, and respect towards culture that are considered characteristic of the image of the USSR in travelogues of the late 1940s and early 1950s present a striking contrast to poverty, exploitation, disunity, and levity described as typical to Italy and to the capitalist society in general. The author advances a hypothesis that the main reasons for such a radical reassessment are: an unconscious tendency towards political utopianism among Italian intellectuals trying to find an ideal socio-political system, a strict selection of foreign guests (mostly

among the "friends of the USSR"), and a high level of so-called "techniques of hospitality" meant to demonstrate the socio-economic achievements of the Soviet Union.

Keywords: Soviet-Italian cultural contacts, travelogue, imagology, Libero Bigiaretti, Renata Viganò, Sibilla Aleramo, Italo Calvino, Anna Maria Ortese

Financial Support: The research was carried out at A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences and was financially supported by the Russian Science Foundation, grant no. 23-18-00393, "Russia and the West viewing each other: Literature at the intersection of culture and politics, XX century", <https://rscf.ru/en/project/23-18-00393/>

For citation: Golubtsova, A.V. (2025) Italy and Italians in travelogues about the USSR in the late 1940s and early 1950s. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 296–308. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/14

Годы после Второй мировой войны открывают новый этап в советско-итальянских отношениях. В период фашистского двадцатилетия Россия (и СССР) воспринималась итальянцами – как интеллектуалами, так и широкой публикой – как дикая азиатская страна, отстающая в своем развитии от западной и, прежде всего, итальянской цивилизации¹. После войны ситуация резко меняется: опыт антифашистского Сопротивления, наиболее активными участниками которого были социалисты и коммунисты, высокий авторитет СССР и рост популярности левых партий в период с середины 1940-х до начала 1950-х гг. способствуют сближению прокоммунистических сил Италии с Советским Союзом. Итальянская компартия быстро становится крупнейшей коммунистической партией Западной Европы, по инициативе ряда левых интеллектуалов в 1946 г. создается Ассоциация Италия–СССР (Associazione Italia–URSS), ориентированная на развитие культурного взаимодействия между двумя странами². Благодаря деятельности этой ассоциации и других общественных объединений под эгидой ИКП в первые послевоенные годы активно организуются поездки итальянских интеллектуалов в СССР. Значительную их часть

¹ Подробнее о восприятии СССР в фашистской Италии см. [1].

² Подробнее об основании и первых годах существования Ассоциации Италия–СССР см.: [2]. О политической роли ассоциации см. также: [3. Р. 165].

составляют писатели и журналисты, многие из которых по возвращении публикуют статьи и циклы очерков, в которых излагают свои путевые впечатления. Эти свидетельства по большей части однотипны и представляют однобокий и идеологизированный взгляд на советские реалии, однако они интересны тем, что в них находит свое отражение восприятие итальянскими левыми интеллектуалами своей собственной цивилизации.

Соприкосновение с чуждой действительностью побуждает писателей к рефлексии не только о России, но и об Италии. Сама жанровая природа травелога задает преобладающий тип этой саморефлексии – не «прямой» (непосредственное обращение к национальной действительности как самодостаточному феномену, независимому от «чужого взгляда»), а «обратный», рождающийся в столкновении с «другим». В этом смысле травелоги послевоенной эпохи, при всей их специфичности, обусловленной политическими факторами, ничем не отличаются от путевых свидетельств предшествующих эпох. В послевоенные годы, как и в первой половине XX в., как и в предыдущие столетия, Россия (СССР) воспринимается итальянским (и шире – европейским) сознанием в имагологическом ракурсе, как значимый «другой», и потому служит своеобразным зеркалом, в котором можно проследить не только историю взаимоотношений двух стран и итальянской рецепции советского общества, но и изменение отношения итальянцев – или, во всяком случае, значимых групп итальянского населения – к самим себе, к своей культуре, национальному характеру и политическому строю. Особенности подобного имагологического подхода сформулировал в середине 1950-х гг. итальянец К. Леви, который писал о разделяющей Россию и Европу «стене из воздуха, предрассудков и мифов, невидимой и плотной, как зеркало, отражающее лица и страхи людей, где каждый... может увидеть только самого себя и детские образы, порожденные удивлением, фантазией и испугом» [4. Р. 17].

Если немногочисленные травелоги фашистского двадцатилетия подчеркивали отсталость советской России и достоинства итальянского общественного устройства, экономики и культуры, то путевые свидетельства первых послевоенных лет, напротив, утверждают превосходство «прогрессивного» Советского Союза и отсталость капиталистических стран, к которым однозначно причисляется и Италия. Если в 1920–1930-е гг. главной рецептивной моделью, определявшей

восприятие советской России в среде итальянских интеллектуалов, оставался так называемый «русский миф», который складывался в Европе на протяжении XVIII–XIX вв. под влиянием свидетельств западных путешественников и русской классической литературы, то в послевоенные годы на первый план выходит так называемый советский миф¹, создающий строго позитивный образ СССР. Однако как до, так и после Второй мировой войны мифологизированное представление о России / СССР² базируется на ряде бинарных оппозиций (по К. Леви-Строссу): свое–чужое, Запад–Восток (Европа–Азия), цивилизация–дикость, прогресс–отсталость и т.д.

Некритическое восприятие советской действительности со стороны левых интеллектуалов, как отмечает П. Холландер в своем фундаментальном труде, посвященном феномену политического паломничества, в значительной степени объясняется неосознанной потребностью в утопии, стремлением найти идеал социально-политического устройства, причем идеализация иного общественного строя оказывается тем сильнее, чем выше степень неудовлетворенности своим собственным обществом («...мое исследование обнаружило очень тесную связь между отчуждением от собственного общества и восприимчивостью к привлекательности (реальной или вымышленной) других обществ» [6. С. 64]). Очевидно, свою роль играет и тщательный отбор зарубежных «гостей», в число которых попадают, главным образом, так называемые «друзья» СССР, заведомо доброжелательно относящиеся к советскому режиму и своими путевыми свидетельствами поддерживающие позитивный образ советского общества. В то же время советская сторона, в свою очередь, до совершенства оттачивает так называемые «техники гостеприимства» [7, 8], рассчитанные на то, чтобы продемонстрировать социально-экономические достижения советской власти.

¹ О советском мифе и его роли в зарубежной рецепции СССР см.: [5].

² Вполне осознавая, а порой и сознательно подчеркивая социально-политические различия между царской Россией (знакомой по книгам и музыкальным произведениям) и Советским Союзом, в культурном плане итальянские авторы не противопоставляли друг другу эти два этапа русской истории, воспринимая советскую Россию как логическое продолжение дореволюционной.

Если до войны сопоставление с большевистским режимом неизменно указывало на первенство западного общества, то в послевоенные годы на фоне советского строя отчетливей проступают подлинные и мнимые недостатки и нерешенные проблемы капитализма. В период господства рецептивной модели советского мифа, продлившийся в Италии вплоть до начала «оттепели», авторы травелогов сосредоточивают свое внимание, главным образом, на социально-экономических аспектах советской и итальянской жизни, причем сравнение неизменно оказывается не в пользу Италии. Этнокультурные особенности – черты русского национального характера, понятие «русской души», еще в первой половине века находившиеся в центре внимания итальянцев, уходят на второй план, отдельные представления о русском национальном характере, все же сохранившие свою актуальность, подвергаются радикальной переоценке, а вместе с ними и соответствующие представления об итальянском народе.

Такова оппозиция «индивидуализм / коллективизм» – один из традиционных элементов имагологического восприятия России¹. Если итальянские писатели, посещавшие СССР в 1920–1930-е гг., уничижительно характеризуют русский народ как «человеческое стадо» (*gregge umano*) [10. Р. 99], и отмечая его склонность «собираться толпой» (*far massa*) [11. Р. 768], воспринимают индивидуализм, внутренне присущий итальянской цивилизации, как положительную черту, то в травелогах 1940-х и начала 1950-х гг. советский коллективизм начинает восприниматься позитивно, как дух равенства и товарищества, а западный индивидуализм – негативно, как разобщенность и повод для жесткой конкуренции. Так, Либерио Биджаретти в очерке «Сибирское лето» (*Estate siberiana*) из коллективного сборника путевых заметок «Мы были в СССР» (*Noi siamo stati nell'URSS*, 1949) с сожалением отмечает, что живущее в тесноте Апеннинского полуострова

¹ О коллективизме как о характерной черте русских людей писал еще Э.-М. де Вогюэ в своем знаменитом «Русском романе» (*Le Roman russe*, 1886): «Как и в большинстве сверхновых цивилизаций, личный порыв еще не освободил их (русских людей. – *А.Г.*) от коллективных уз; несколько выбранных наугад лиц легко составят общий портрет всех этих братьев-близнецов. То же можно сказать и об их духовной сущности: по душе одного из них можно судить о гораздо большем количестве душ, чем у нас» (цит. по: [9]).

население Италии сплошь состоит из разобщенных индивидуалистов. «Одиночество, – пишет он, – не свойственно советскому человеку, который теоретически, по статистике, окружен обширным пространством, отделяющим его от соседа; одиночество всегда внутри нас, живущих локоть к локтю» [12. Р. 24]. У поэтессы Сибиллы Алерамо, опубликовавшей целый ряд разножанровых текстов¹ по итогам поездки в СССР летом 1952 г., «животный» коллективизм довоенных травелогов превращается в дух свободного совместного труда ради общего блага, а европейское уважение к личности – в эгоизм. «Я – товарищ среди товарищей, гражданка среди граждан, там, где каждый индивид живет не только своей жизнью, но и жизнью всех остальных, в степени совершенно непредставимой в странах, которые считают себя продолжателями великих цивилизаций² ...там, где ужасная вещь, в западных землях именуемая эгоизмом, вдохновляющая и направляющая любую деятельность, не имеет никакого смысла» [13].

Если в довоенных травелогах Италия и Запад в целом воспринимались как образец цивилизации по сравнению с дикой отсталой Россией, то в послевоенную эпоху противопоставление «отсталая Россия – прогрессивная Европа» переворачивается: с распространением левых идей в среде молодых интеллектуалов СССР начинает восприниматься как флагман прогресса – прежде всего, прогресса социального, ориентир для «отсталых» капиталистических стран. Если советское государство воспринимается итальянскими коммунистами как основанное на свободном коллективном труде, то капиталистические страны предстают как царство жестокой эксплуатации. Участница Сопротивления писательница Рената Вигано в цикле очерков в коммунистической газете «Унита», опубликованном в 1950 г. после поездки в СССР в составе делегации международного Движения сторонников

¹ Очерк «Возвращение из Москвы» (*Ritorno da Mosca*, «Унита», 25 сентября 1952 г.), стихи «Россия – высокая страна» (*Russia alto paese*, «Унита», 7 ноября 1952 г.), речь в Культурном кружке Томмази в Анконе 23 ноября 1952 г. (опубликована в 1953 г. под заглавием «Россия – высокая страна»).

² Под продолжателями великих цивилизаций, очевидно, имеются в виду западные государства и, в первую очередь, Италия как наследница Римской империи.

мира, описывает «бесмятежное» (*sereno*) выражение лиц заводских рабочих и «постоянное взаимодействие (*rapporto costante*) человека с человеком» как то, чего «не встретишь ни в Италии, ни во Франции, ни в Америке» [14]. Алерамо пишет о «железной пяте капитализма» [15. Р. 19], гнета которой не знают советские трудящиеся. Анна Мария Ортезе, посетившая Советский Союз в 1954 г. с делегацией Союза итальянских женщин, видит во взгляде часовых в Кремле предвестие освобождения «всех людей, которых мы часто встречаем в наших городах, занятых самой черной работой – каменщиков, разнорабочих, посыльных... Всех тех, которые у нас спуют туда-сюда, непрерывно исполняя свою службу, никогда ничего не говоря, не выражая себя» [16. Р. 302].

С эгоизмом и эксплуатацией непосредственно связана такая ключевая черта капиталистического устройства, как социальное неравенство и, как следствие его, антидемократизм. Итало Кальвино, посетивший СССР в 1951 г. в составе делегации Итальянской молодежной коммунистической федерации, в серии очерков под общим названием «Дневник путешествия Итало Кальвино в СССР» (*Taccuino di un viaggio in URSS di Italo Calvino*), глядя на прохожих на улицах Москвы, задается вопросом: «Чем же эти люди так отличаются от людей, которые этим вечером ходят по улицам в центре Милана, Вены или Парижа?». И сам отвечает: «Я чувствую присутствие нового элемента: равенства... глядя на прохожих, я не могу посчитать, сколько денег у них в карманах» [17. Р. 2416]. Красочное описание советского равенства и демократизма ярко высвечивает недостатки капиталистической Италии. У Вигано она описывается как клерикальное и едва ли не фашистское полицейское государство. Так, объясняя, почему фильм «Падение Берлина» не будет допущен к показу итальянской цензурой, Вигано позволяет себе выпад в адрес министра внутренних дел Марио Шельбы, члена правящей партии христианских демократов и ярого противника коммунистов: «...мы могли бы надеяться увидеть фильм в прокате, если бы в какой-то момент в нем не появился прелат в лиловом одеянии, католик, который всячески желает победы нацистских войск... "Падение Берлина" – это фильм, который никогда не будет разрешен в Италии Шельбы» [18]. Более того, правительства большинства стран характеризуются ею как «утратившие поддержку» (народа. – *A.G.*) (*sconfessati governi*), в то время как в СССР «народ сам

управляет собой» [19]. У Алерамо противопоставление капитализма и коммунизма рассматривается в глобальной исторической перспективе, однако не утрачивает своего социального измерения: прослеживая историю Запада вплоть до ее античного истока, поэтесса с горечью отмечает, что сами корни западной цивилизации уже были поражены социальными язвами, не исцеленными по сей день: «...Греция с ее Парфеноном, Дельфами и Олимпией говорила мне о почти мифической эпохе, о вершине гармонии, которая была достигнута человеческим гением, но все же не освободила народ от рабства, нищеты и невежества» [15. Р. 14].

В глазах итальянских писателей-коммунистов человек капиталистического социума характеризуется поверхностностью, легкомыслием и пресыщенностью, в то время как советских людей отличает скромность, достоинство, тяга к культуре и образованию, что выгодно отличает их от поверхностных и легкомысленных итальянцев. А.М. Ортезе в путевом очерке в женском журнале «Ной донне» пишет о советских людях: «Они искренние, сильные, спокойные... По сравнению с жизнью наших стран, грубой до язычества, отмеченной глубоко испорченным вкусом, извращением всех чувств, тревогой, скукой, то, что я наблюдала сегодня среди советских людей, – все равно что девятая симфония по сравнению со сдавленным рыданием негритянской музыки» [20]. Алерамо описывает очереди за билетами в Эрмитаж, «каких никогда не бывает ни в галерее Уффици во Флоренции, ни в Лувре в Париже, ни в Национальной галерее в Лондоне» [15. Р. 29]. Кальвино удивляется тому, что советские граждане читают в транспорте, предпочитая книги газетам («мало газет, много книг: у нас <в Италии> все наоборот» [17. Р. 2410]), и массово посещают дома культуры, в то время как в Италии драматические, музыкальные и художественные кружки – удел немногочисленных любителей, «которых родные и близкие часто считают странноватыми» [17. Р. 2480]. Организация детского досуга, ориентированная на развитие талантов ребенка и прививающая «любовь к природе и труду», выгодно отличается от знакомых автору внешкольных объединений – «солдафонской» фашистской Балиллы и католических клубов с их «придурковатой» (*finto-tonta*) атмосферой [17. Р. 2489].

Авторы-женщины уделяют особое внимание «женскому вопросу», сравнивая равноправие советской женщины, ее достоинство и активное участие в общественной жизни с положением западных «хрупких

буржуа» [15. Р. 23]. С. Алерамо утверждает, что отношения в советской семье «лучше, чем обычно у нас (в Италии. – *А.Г.*), потому что браки никогда не заключаются по расчету и потому что супруги экономически независимы, и каждый из них вносит плоды своего труда в общий бюджет» [15. Р. 23–24]. Р. Вигано, описывая скромность и естественность З.П. Троицкой, первой советской женщины-машиниста метрополитена, с негодованием вспоминает кокетливых итальянок: «Она статная, но лицом совсем не похожа на начальницу и поведением совершенно не напоминает наглых кокеток, которые у нас в свое время расхаживали по улицам в броской военной форме, выставив напоказ свои прелести» [21]. А.М. Ортезе в цикле очерков «Другие воспоминания о Москве» (*Altri ricordi di Mosca*), описывая итальянских участниц своей делегации, отмечает их кокетливые наряды, прически и макияж [16. Р. 279], банальные разговоры («О Кремле..., о Красной площади с Мавзолеем, где покоятся Ленин и Сталин, они говорили спокойным тоном домохозяйки, которая даже в египетских пирамидах пытается обнаружить сходство с бытовым электроприбором» [16. Р. 281]), которые представляются ей неуместными. Внимание большинства авторов привлекает воспитанность детей, которые, по словам Алерамо, даже в парках развлечений отличаются «поведением, которое мы в Италии называли бы благородным, как у старой аристократии» [15. Р. 25]. Особенно ярко и живо описывает свои впечатления Кальвино: «Если окажешься в зрительном зале среди итальянских ребят, обязательно увидишь, как кто-то дерется, запрыгивает на голову соседям, в шею тебе летят шарики из жеваной бумаги... Здесь же ничего подобного» [17. Р. 2487].

Сопоставление Италии и СССР в травелогах конца 1940-х – начала 1950-х гг., в силу их социально-экономической направленности и в то же время некоторой экзальтированности интонаций, дает повод как для сугубо приземленных наблюдений над разными сторонами советской жизни, так и для исполненных высокого пафоса рассуждений о судьбах народов и цивилизаций. Пожалуй, наиболее яркое сочетание «материального» и «духовного» мы встречаем у Алерамо. С одной стороны, ее восхищают высокие гонорары советских писателей и поэтов, загородные дачи и дома отдыха при том, что «в Италии... поэты довольствуются минимальным бюджетом» [15. Р. 31]. С другой стороны, она с грустью думает «о своей бедной земле, об ужасающей раз-

нице между современной ситуацией там и в той великой стране, которая так по-братски принимала меня», и о том, «как сегодня страдает наш (итальянский. – А.Г.) народ и как он героически сражается за свободу и мир». «В той великой стране (СССР. – А.Г.) меня на каждом шагу поражало сопоставление с моей страной в области культуры и экономики, в повседневных человеческих отношениях и в видении будущего» [15. Р. 33–34]. Здесь писательница перечисляет все основные параметры, по которым в травелогах сопоставляются советское и итальянское общества: благополучие, равенство, коллективизм, человеческое достоинство, уважение к культуре противопоставляются бедности, эксплуатации, разобщенности, легкомыслию и кокетству, а «светлое будущее», по мнению авторов травелогов, уже построенное в СССР, для капиталистических стран, в том числе и Италии, остается далекой целью, требующей борьбы и общих усилий всего народа.

Список источников

1. Голубцова А.В. Большевизм и религия в итальянских травелогах о Советской России 1920–1930-х годов // *Quaestio Rossica*. 2021. Т. 9, № 1. С. 361–378.
2. Gravina G. Per una storia dell'associazione Italia-URSS // *Slavia. Rivista trimestrale di cultura*. 1993. № 3. P. 70–108.
3. Cerrai S. I partigiani della pace in Italia: tra utopia e sogno egemonico. Limena : Libreriauniversitaria.it, 2011. 408 p.
4. Levi C. Il futuro ha un cuore antico: viaggio nell'Unione Sovietica. Torino : Einaudi, 1956. 306 p.
5. Flores M. L'immagine della Russia sovietica. L'Occidente e l'URSS di Lenin e Stalin (1917–1956). GoWare, 2017. [Versione digitale di: Flores M. L'immagine dell'URSS. L'Occidente e la Russia di Stalin (1927–1956). Milano : Il Saggiatore, 1990. 434 p.].
6. Холландер П. Политические пилигримы (путешествия западных интеллектуалов по Советскому Союзу, Китаю и Кубе 1928–1978). СПб. : Лань, 2001. 592 с.
7. Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента: культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости. 1921–1941 годы. М. : Новое литературное обозрение, 2015. 568 с.
8. Орлов И.Б., Попов А.Д. Сквозь «железный занавес». See USSR!: иностранные туристы и призрак потемкинских деревень. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 496 с.
9. Вогюэ Э.М. de. Предисловие к книге «Русский роман» / пер. С.Ю. Васильевой ; под ред. П.Р. Заборова // Электронная библиотека ИРЛИ РАН. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=v_Ru3Mf-mJ0%3D&tabid=10459

10. *Alvaro C.* I maestri del diluvio. Viaggio nella Russia Sovietica. Reggio Calabria : Falzea, 2004. 240 p.
11. *Cardarelli V.* Viaggio d'un poeta in Russia // Cardarelli V. Opere. Milano : Mondadori, 1981. P. 741–842.
12. *Bigiaretti L.* Estate siberiana // Noi siamo stati nell'URSS / [Carlo Mussa et al.]. [S.l.]: Macchia, 1950. P. 21–31.
13. *Aleramo S.* Ritorno da Mosca // L'Unità. 25 settembre 1952.
14. *Viganò R.* Ogni due minuti un autocarro nasce nelle officine "Stalin" // L'Unità. 12 Aprile 1950.
15. *Aleramo S.* Russia alto paese. Roma : Italia-URSS, 1953. 36 p.
16. *Ortese A.M.* La lente scura. Milano : Adelphi, 2004. 502 p.
17. *Calvino I.* Taccuino di viaggio nell'Unione Sovietica // Calvino I. Saggi 1945–1985. 2 t. Milano : Mondadori, 1995. Vol. 2. P. 2407–2496.
18. *Viganò R.* Ho visto "La caduta di Berlino" un film che farebbe impallidire Scelba // L'Unità. 29 Marzo 1950.
19. *Viganò R.* Con le mani posate sul petto Lenin riposa della sua fatica // L'Unità. 7 Aprile 1950.
20. *Ortese A.* Sono limpidi, sono forti, sono tranquilli // Noi donne. 1954. № 38. P. 6.
21. *Viganò R.* Il generale del "metrò" si chiama Zinaida Petrovna // L'Unità. 2 Aprile 1950.

References

1. Golubtsova, A.V. (2021) Bol'shevizm i religiya v ital'yanskikh travelogakh o Sovetskoy Rossii 1920–1930-kh godov [Bolshevism and Religion in Italian Travelogues about Soviet Russia in the 1920s–1930s]. *Quaestio Rossica*. 9 (1). pp. 361–378.
2. Gravina, G. (1993) Per una storia dell'associazione Italia-URSS. *Slavia. Rivista trimestrale di cultura*. 3. pp. 70–108.
3. Cerrai, S. (2011) *I partigiani della pace in Italia: tra utopia e sogno egemonico*. Limena: Libreriauniversitaria.it.
4. Levi, C. (1956) *Il futuro ha un cuore antico: viaggio nell'Unione Sovietica*. Torino: Einaudi.
5. Flores, M. (2017) *L'immagine della Russia sovietica. L'Occidente e l'URSS di Lenin e Stalin (1917–1956)*. GoWare. [Versione digitale di: Flores M. *L'immagine dell'URSS. L'Occidente e la Russia di Stalin (1927–1956)*. Milano: Il Saggiatore, 1990].
6. Khellander, P. (2001) *Politicheskije piligrimy (puteshestviya zapadnykh intellektualov po Sovetskomu Soyuzu, Kitayu i Kube 1928–1978)* [Political Pilgrims: Travels of Western Intellectuals in the Soviet Union, China, and Cuba]. Saint Petersburg: Lan'.
7. Deivid-Foks, M. (2015) *Vitriny velikogo eksperimenta: kul'turnaya diplomatiya Sovetskogo Soyuzu i ego zapadnye gosti. 1921–1941 gody* [Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921–1941]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

8. Orlov, I.B. & Popov, A.D. (2018) *Skvoz' "zheleznyy zanaves"*. See *USSR!: inostrannye turisty i prizrak potemkinskikh dereven'* [Through the "Iron Curtain." See USSR!: Foreign Tourists and the Specter of Potemkin Villages]. Moscow: HSE.

9. Vogüé, E.M. de. (n.d.) Predislovie k knige "Russkii roman" [Preface to the book "The Russian Novel"]. [Online] Available from: http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=v_Ru3Mf-mJ0%3D&tabid=10459 (Accessed: 26.06.2024).

10. Alvaro, C. (2004) *I maestri del diluvio. Viaggio nella Russia Sovietica*. Reggio Calabria: Falzea.

11. Cardarelli, V. (1981) Viaggio d'un poeta in Russia. In: Cardarelli, V. *Opere*. Milano: Mondadori. pp. 741–842.

12. Bigiaretti, L. (1950) Estate siberiana. In: *Noi siamo stati nell'URSS*. [S.l.]: Macchia. pp. 21–31.

13. Aleramo, S. (1952) Ritorno da Mosca. *L'Unità*. 25 settembre.

14. Viganò, R. (1950) Ogni due minuti un autocarro nasce nelle officine "Stalin". *L'Unità*. 12 Aprile.

15. Aleramo, S. (1953) *Russia alto paese*. Roma: Italia-URSS.

16. Ortese, A.M. (2004) *La lente scura*. Milano: Adelphi.

17. Calvino, I. (1995) Taccuino di viaggio nell'Unione Sovietica. In: Calvino, I. *Saggi 1945–1985*. 2 t. T. 2. Milano: Mondadori. pp. 2407–2496.

18. Viganò, R. (1950) Ho visto "La caduta di Berlino" un film che farebbe impallidire Scelba. *L'Unità*. 29 Marzo.

19. Viganò, R. (1950) Con le mani posate sul petto Lenin riposa della sua fatica. *L'Unità*. 7 Aprile.

20. Ortese, A. (1954) Sono limpidi, sono forti, sono tranquilli. *Noi donne*. 38. p. 6.

21. Viganò, R. (1950) Il generale del "metrò" si chiama Zinaida Petrovna. *L'Unità*. 2 Aprile.

Информация об авторе:

Голубцова А.В. – канд. филол. наук, старший научный сотрудник Отдела литератур Европы и Америки новейшего времени Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (Москва, Россия). E-mail: anal294@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

A.V. Golubtsova, Cand. Sci. (Philology), senior research fellow, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: anal294@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 25.08.2025.

The article was accepted for publication 25.08.2025.

Научная статья
УДК 821.161.1+791.43
doi: 10.17223/24099554/24/15

**«Душа человека – неприличное животное»
(Андрей Платонов): зооморфизм в «Трудно быть богом»
братьев Стругацких и Алексея Германа как основа
сопоставления с художественной системой
Андрея Платонова**

Евгений Олегович Третьяков

Томский государственный университет, Томск, Россия, shvarcengopf@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению феномена зооморфизма в фантастической повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»; на основании этого аспекта проводится компаративный анализ сценария и одноименного фильма режиссера Алексея Германа, а также намечаются основы сопоставления как текста, так и кинокартины с художественной системой Андрея Платонова, с которой обнаруживаются на первый взгляд «странные сближения», на самом же деле, как представляется, – весьма закономерные.

Ключевые слова: А. и Б. Стругацкие, А. Герман, «Трудно быть богом», А. Платонов, зооморфизм, компаративный анализ

Для цитирования: Третьяков Е.О. «Душа человека – неприличное животное» (Андрей Платонов): зооморфизм в «Трудно быть богом» братьев Стругацких и Алексея Германа как основа сопоставления с художественной системой Андрея Платонова // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 309–334. doi: 10.17223/24099554/24/15

Original article

doi: 10.17223/24099554/24/15

"The human soul is an indecent animal" (Andrei Platonov): Zoomorphism in *Hard to Be a God* by the Strugatsky brothers and by Aleksei German as a basis for comparison with the artistic system of Andrei Platonov

Evgeniy O. Tretyakov

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, shvarcengopf@mail.ru

Abstract. In the Strugatsky brothers' science fiction story *Hard to Be a God* (1963), various forms of zoomorphism and regressive metamorphoses play a significant role. These accompany the "deficient existential state of society," which "leads to a mutation of humankind," yet do not preclude the existence of personified, ambivalent metamorphic forms (such as the image of Baron Pampa). This vanishingly thin line between human and animal, with its axiological polysemy, results in a reality where, both in the literary work and in Aleksei German's eponymous film (2013), we find – in a manner reminiscent of Platonov – "not an evolutionary ladder, but a mixture of living beings, a general conglomerate." This reveals the eventuality of discerning in the Strugatskys' and German's *Hard to Be a God* a dialogue with the artistic system of Andrei Platonov. Specifically, the Strugatskys reflect Platonov's depiction of grotesque, phantasmagoric models of life, palpably in need of transformation, and the image of the bearer of ideological consciousness who strives to leap into the future and meets with crushing defeat. The work raises universal problems concerning the connection of human life to the eternal foundations of existence and the fusion of human being with ontological Being. The Strugatskys' novella begins with a childhood scene; German's film, however, concludes, according to Mark Lipovetsky, with the death of the hero, and in this sense, the film seems to bring the narrative to its final conclusion. At the same time, it is essential to consider that the primordial basis of human existence includes the eternal cycle of birth, death, and rebirth, which is constitutive for Platonov. Therefore, in both cases – in the story and its screen adaptation – life does not cease absolutely, but the dilemma, also crucial for Platonov, of the rupture between real life and the ideological consciousness that seeks to subjugate it and force it to follow a priori schemes is once again proclaimed, a process fraught with truly catastrophic consequences. Thus, the Strugatskys expose an epistemological and philosophical impasse as a cornerstone characteristic of the era.

Consequently, correlating *Hard to Be a God* with the imagery and motifs inherent in Platonov's prose reveals that the Strugatskys' novella contains the code of a philosophical parable. This does not mean that the Strugatskys completely abandon social critique for conditional genres, but rather implies a transcendence of the geographical boundaries of a national cultural space, moving from the local to the global, and constructing a narrative about the fundamental order of the world, which also clearly lies at the foundation of German's film. Thus, the beastly (bestial) poetics concentrates the philosophical potential of the Strugatskys' work, whose ontological foundation fatally opposes the moral philosophy of the hero, determined by an orientation toward social construction. This tragic fragmentation, which makes the tangibly material reality of the story, and even more so of the film, symbolic, conditions the polemical and dialectical nature of both the literary source and the film. It also reveals seemingly strange, yet in fact highly logical, convergences of both texts with the artistic system of Platonov.

Keywords: Arkady and Boris Strugatsky, Aleksei German, *Hard to Be a God*, Andrei Platonov, zoomorphism, comparative analysis

For citation: Tretyakov, E.O. (2025) "The human soul is an indecent animal" (Andrei Platonov): Zoomorphism in *Hard to Be a God* by the Strugatsky brothers and by Aleksei German as a basis for comparison with the artistic system of Andrei Platonov. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 309–334. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/15

Остался один, у кого в сердце зверь
и душа свободна от беля и сапогов
приличий.

Андрей Платонов

Вышедший в 2013 г. последний фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», основанный на одноименной повести братьев Стругацких, расколел зрительскую аудиторию на два «лагеря»: с одной стороны – реципиенты, разделяющие правомочность главного обвинения в адрес режиссера, которое заключается в том, что «Герман не рассказывает нам историю, ему неинтересны герои и сюжет. Он лишь упивается своим миром – абсурдным, гротескным, противоестественно грязным, где даже короли и магистры ходят в лохмотьях, где лица у всех уродливы, как у химер с Нотр-Дама», что приводит к выводу о том, что «книгу и героев Стругацких утопили в нужнике при

помощи кривляния и чернухи» [1], или, скажем, «презрительные рапорты американцев из Рима (“Вообще ничего не понятно... терпения хватит только поклонникам Германа” – Variety)», причем обозреватель последнего Джей Вайссберг снисходительно утверждает по отношению к фильму, что «он по-своему волнует, но его неактуальная вычурность требует сперва отстраниться и только потом решать, что перед нами: шедевр в устаревшей форме или же любопытное примечание, застрявшее в иссякнувшей модальности» [2]; с другой – утверждающие, что в кинополотне капсулируется «тройное отвращение к “ветхим” природе, социуму и человеку... – так что “грязь” этого фильма оправдана прежде всего как описание страхов и “подсознания” рационализирующего, утопически ориентированного разума» [3], или признание Антоном Долиным заключительного произведения режиссера «провидческим и более современным, чем все, что он снимал раньше», ибо «стратегия Германа, запутывавшего и запугивавшего зрителя с первых кадров картины грязью и кровью, фекалиями и мочой, а также прочими зловонными и злокачественными субстанциями, которыми насквозь пропитан Арканар», – зримо продемонстрировать метафору «той нечистоты, в которой от века и до сих пор находится наша цивилизация, давно принявшаяся и привыкшая к этому состоянию» [4. С. 26, 32–33]. Как бы то ни было, «hier hat sich German mit einem unglaublichen Monster von einem Film verabschiedet. ...Es ist ein gewaltiges Vermächtnis geworden: Wüst, dunkel, rätselhaft» [5]; и при всей очевидности того, что «Трудно быть богом» – кино авторское, в котором скорее угадывается, нежели воплощается литературный первоисточник, можно утверждать, что и в отношении повести Стругацких, вопреки тому, что она безусловно относится к наиболее известным творениям легендарных братьев-соавторов, до сих пор не сложилось единой исчерпывающей, определяющей трактовки, что обусловлено неоднозначностью «смысловой энергии» «символических “мерцаний”» «Трудно быть богом» – текста, казалось бы, вполне жанрового.

Проиллюстрируем понимание этой амбивалентности несколькими примерами – от представляющегося несколько наивным мнения Анатолия Бритикова, который в отношении проблемы финала повести считает, что Румата прибег к насилию, «не справившись с личной

ненавистью к дону Рэбе» [6. С. 354], и осуждает его, до интерпретации Евгения Неелова, исследовавшего связи научной фантастики со сказкой и придерживавшегося точки зрения, что «после смерти Киры Антон-Румата берет меч и идет сражаться со своими врагами... Враги Арканара стали его врагами, судьба Арканара – его судьбой... Это четкий ответ на вопросы, поставленные в романе: если хочешь помочь людям, не смотри на них, как на чужих, сделай их беды и горести своими и тогда ясно будет, что делать. Чтобы иметь право помогать Арканару, перестраивать его историю, надо не просто “изучать” его, а жить в нем, разделить его судьбу, и тогда его история станет “своей”. ...Антон, в сущности, нашел правильный путь не теоретической, а реальной помощи планете» [7. С. 191–192]; от высказывания Аркадия Стругацкого, ретроспективно задавшегося вопросом: «Быть ли богом с ежечасной пыткой свидетельства или оставить в себе человеческое, погубив эксперимент?» и ответившего на него в том ключе, что когда «пересиливает человек – Румата начинает отчаянно рубить [в] капусту» [8], до обобщающего, но противоречащего приведенной позиции одного из авторов повести взгляда Наума Лейдермана и Марка Липовецкого, резюмировавших: «...радикальный поворот в творчестве Стругацких обозначился... в повести “Трудно быть богом” (1964), написанной в последний “оттепельный” год. ...Эксперимент, поставленный Стругацкими, вовлекал в себя и читателей повести. Захваченные инерцией мушкетерско-шпионского дискурса, читатели не могли не чувствовать радостного удовлетворения в тот момент, когда доведенный до отчаяния Румата принимался крошить своим волшебным мечом всех подряд, от грязных “штурмовиков” до их могущественных вождей. Но финал повести, когда Румата уже оказывался на Земле, среди близких и, главное, *подобных* (курсив авторов. – Е.Т.) ему людей, напоминал о том, что, совершая свой выбор, Румата перешагивал за какую-то существенную нравственную грань, и о том, что статус бога с разящим мечом в руке не всегда совместим со статусом человека» [9. С. 289–290]. Вот и выясняется, что представляющееся сугубо жанровым произведение оборачивается чем-то большим; так о чем же оно, это «размышление умных людей о многих вещах», как обозначила «Трудно быть богом» Мариэтта Чудакова [10], породившее по прошествии полувека брейгелевско-босховский кошмар фильма А. Германа?..

Нам представляется, что одним из своего рода «ключей» к ответу на вопрос, почему «трудно быть богом», которым оборачивается этот расхожий афоризм, о котором исполнитель роли Руматы в заключительном шедевре А. Германа Леонид Ярмольник сказал, «что в мировой художественной литературе – это одно из лучших названий», может выступать бестиальная поэтика в повести Стругацких. Причина этого в том, что основной смысл «Трудно быть богом» видится нам пересекающимся с высказыванием Василия Гроссмана: «Ах, не все ли равно – виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, растительная, минеральная, физико-химическая сторона человека. Вот из этой-то слизистой, обросшей шерстью, низменной стороны человеческой сути рождаются стукачи» [11. С. 70]; и это – не только квинтэссенция смыслового наполнения повести Стругацких, но и точка пересечения ее и фильма Германа, который исключительно точно уловил эту осознанно или бессознательно вложенную авторами составляющую концепции и воплотил ее визуально, сделав свою картину сущим бестиарием.

Начнем аргументацию резонности избранной исследовательской установки с того, что приведем досужие размышления Руматы о Ваге Колесе, которые в полной мере иллюстрируют дихотомическую природу онтологически обусловленной человеческой натуры: с одной стороны, наделенный нечеловеческой проницательностью эмиссар Института Экспериментальной истории моделирует мысленный эксперимент, по условиям которого «в светлую комнату с зеркальными стенами и кондиционированным воздухом, пахнущим хвоей или морем, бросили огромного мохнатого паука. Паук прижался к сверкающему полу, судорожно повел злобными глазками и – что делать? – боком, боком кинулся в самый темный угол, вжался, угрожающе выставив ядовитые челюсти» [12. С. 300], с другой – отдает себе отчет, что «психология этих монстров – совершенно темный лес. ... Кажется, он кошек любит. В берлоге у него, говорят, целое стадо, и специальный человек к ним приставлен. И он этому человеку даже платит, хотя скуп и мог бы просто пригрозить» [12. С. 300–301]. И совершенно противоположное, пусть и тождественное сущностно – в двуединстве своего естества, – демонстрирует реакция Руматы на идиотское зубокальство серых штурмовиков, в ответ на которое «лицо его изменилось страшно», и «насмешники шарахнулись и с застывшими, как у

паралитиков, улыбками торопливо юркнули в таверну», а сам некогда Антон с ужасом представил, как еще мгновение – и они бы «валялись вот здесь, как свиные туши, а я бы стоял с мечом в руке и не знал, что делать... Вот так бог! Озверел...» [12. С. 301]. Конечно, вовсе не случайно авторской волей монтируются два этих фрагмента, композиционно схожих совмещением реальности и предположений, пусть и зеркальных в воплощении такового, что формирует не прозреваемое обочинами героями, но прозрачное для авторского видения единство.

Отмеченная выше нераздельность человеческого и животного выражается в обилии зооморфных метафор («Я съездил ему по зубам эфесом меча, так что эта серая собака дважды перевернулась через голову...» (один из представителей «благородно[го] дворянств[а]»); «Если меня сейчас убьют, эта колония простейших будет последним, что я вижу в своей жизни» (Румата) [12. С. 339]; «Я бы уже давно ушел на покой, так вы же все пропадете без меня, бараны...», «Если бы у вас так болело колено, вы бы визжали, как свинья!» (король) [12. С. 340]; «орел наш дон Рэба» – вкупе с Вагой Колесом¹ – не единожды именуется «пауком» («Он должен слышать разговор между двумя пауками», «Пауки встретились» [12. С. 346], «Пауки договорились» [12. С. 347]) и один раз – «слизняком» [12. С. 380]; Румата страшит его тем, что тот подохнет, «как собака» [12. С. 377] (впоследствии, перед тем, как учинить бойню, «Перебью как собак, – сказал Румата страшным голосом» [12. С. 420] и «Погоню, как псов, подумал он» [12. С. 421]), на что министр охраны короны, в свою очередь, отвечает угрозой раздавить зарвавшегося «мальчишк[у]» «как пиявку» [12. С. 378]; знаком начавшегося кровавого переворота становится разнесшийся над городом «отдаленный многоголосый вой» [12. С. 361], затем на не сумевшего уберечь юного наследника престола Румату надела «вся свора... Он ударил кулаком в чьи-то мокрые губы, кто-то по-заячьи заверещал у него под мышкой, он бил и бил локтями, кулаками, плечами (давно он не чувствовал себя так свободно), но он

¹ А также выпускниками Патриотической школы, в которых Румата видит исключительно «морды, молодые, тупые, равнодушные, привычные ко всякому зверству» и которые под его ненавидящим взглядом «группой стронулись с места, отошли в тень и оттуда поблескивали осторожными паучьими глазками» [12. С. 396].

не мог стряхнуть их с себя» [12. С. 362], а «навстречу ему полезли новые потные морды» [12. С. 363]; очнувшись «где-то возле королевских конюшен», герой задается вопросом: «Говорить разучились по-человечески?» [12. С. 364]; несколько раз досадливо произносится нелепое «А, хвостом ты по голове...» [12. С. 365]; об убитых пренебрежительно говорят «пададь» [12. С. 367]; фальшивый доктор Будах перед мучительной смертью заходится «тонки[м] поросяч[ьим] визг[ом]», в то время как «из-за портьеры высунулись огромные лапы, схватили человека за ноги и поволокли обратно» [12. С. 376]; Румата «грозно рыкнул на сунувшегося было стражника» [12. С. 395] и, тоскливо признавая превосходство донна Рэбы в тонком искусстве интриги, бичует себя: «Щенки мы» [12. С. 403] и т.д.), апофеоз бытования которых в тексте приходится на четвертую главу, в которой каждый из основных персонажей наделен – авторской волей либо другими действующими лицами в процессе общения – целым рядом зоологических характеристик и наименований и в которой представлены два варианта таковых, относящихся к донне Окане и барону Пампе соответственно. Что касается первой – «она была несомненно хороша, эта глупая, похотливая курица», и Румата, преодолевая отвращение, в соответствии с этикетом обращается к ней со смиренной мольбой «подобно псу борзому лечь у ног красавицы нагой и равнодушной...» [12. С. 317]; позднее в будуар, в котором «отчетливо пахло клопами» [12. С. 319], «она тащила его молча, напористо, как муравей дохлую гусеницу» [12. С. 318] – правда, сам несостоявшийся конфидент и любовник «феи», которому она бросает вслед грубое сомнение в его мужской состоятельности: «Мерин!» [12. С. 319], столкнувшийся tête à tête со «слизистой, обросшей шерстью, низменной сторон[ой] человеческой сути», заменяет в своем сознании эту омерзительную параллель на «Лисица... Мартышка... Это же противоестественно, грязно...» [12. С. 319], пусть происходящее есть как раз акме безыскусственности плотского, земного начала людской субстанции – та самая отвратная «животная, растительная, минеральная, физико-химическая сторона человека». И какой же вывод делает из случившегося Румата? «С завтрашнего дня перестая мыться, подумал он. Здесь нужно быть боровом, а не богом!» [12. С. 319]; и после краткого внутреннего противоборства: «“Я не животное!” – “Если Эксперимент

требуется, надо стать животным”. – “Эксперимент не может этого требовать”. – “Как видишь, может”» – он принимает решение: «Тогда... Тогда... Хорошо, будем считать, что я плохой историк. – Он пожал плечами. – Постараемся стать лучше. Научимся превращаться в свиней...» [12. С. 320]. Примечательно, что спустя некоторое время, когда страдающий от размолвки с любимой женой дон Пампа без излишней деликатности сетует при взгляде на девиц в таверне: «Это коровы, мой друг, в лучшем случае это коровы», Румата, «с любопытством глядя на барона», лукаво произносит: «По-моему, очень приятные девочки» [12. С. 323] – хотя здесь это, безусловно, нравственный опыт, проводимый землянином над своим простодушным визави. Но все же земная жизнь в «Трудно быть богом» – это онтология озверения, движение вспять по пути эволюции, безысходность констатирования внутренне опустошенным героем того, что «богом быть (дважды отплеивается) трудно» [4. С. 34] – лишь это он и в силах произнести; наряду с этим возможно и мифологическое объяснение, ибо тупиковость жизненного пути Руматы, его безвыходность ассоциируются с духовной смертью, физическое, почти апокалиптическое проявление которой он проецирует вовне в эсхатологическом финале, а между тем «смерть на некоторой стадии мыслится, как превращение в животных» [13. С. 59].

Но животная природа дарует человеку и витальную мощь, контрастирующую с разными негативными формами зооморфозы, которой отличается прежде всего «огромный, как зверь Пэх, барон Пампа дон Бау» [12. С. 320], сам характеризующий себя так: «Я здоров как бык» [12. С. 321], ревущий «лесным голосом» [12. С. 325] и развлекающийся тем, что «время от времени испускал волчий вой» [12. С. 322]. Пищу барон поглощает тоже как зверь – «он молча пожирал увесистые ломти жареной оленины, груды маринованных моллюсков, горы морских раков, кадки салатов и майонезов, заливая все это водопадами вина, пива, браги и вина, смешанного с пивом и брагой» [12. С. 324] (впрочем, он не единственный, кто в своих пищевых привычках выказывает природу хищника: так, во время каждого королевского обеда «пожиралось огромное количество тонкой пищи, выпивались озера старинных вин, разбивалась и портилась масса посуды знаменитого эсторского фарфора» [12. С. 348] (к слову, «когда-то Румату тошнило на этих обедах. Сейчас он привык» [12. С. 349]), а проблема абсолютной – за исчезающе редкими исключениями – идентичности

интеллигенции и обывателей ставится обмолвкой о том, что «в углу, бросая по сторонам предупредительные взгляды, доедали тушеного с черемшой крокодила двое знаменитых художников-портретистов...» [12. С. 315]). Прислуживающего Румате мальчика Уно барон знаково именует «волчонком» [12. С. 320, 321], вероятно, чувствуя некое родство между ним и собой, – и действительно, за исключением Киры они – самые духовно близкие Румате люди. Былинный богатырь Стругацких выдерживает нечеловеческие муки, отстаивая себя, т.е. верность духу рыцарской чести и идеям товарищества: «Что за престель, думал Румата, с нежностью глядя на барона. Казалось бы, бык, безмозглый бык, но ведь искал же меня, хотел спасти, ведь пришел, наверное, сюда в тюрьму за мной, сам... Нет, есть люди и в этом мире, будь он проклят...» [12. С. 400]; вновь утверждается парадоксальная слитность животного и человеческого, причем ей придается позитивное значение вызревания второго из первого – поневоле вспоминается ницшеанское «Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью» [14. С. 9]. Но барон Пампа отнюдь не идеален: нет настоящего испытания для его безмерной силы, и все, что делает эпический герой, оборачивается анекдотичными ситуациями – впрочем, это не смешной, но, напротив, драматический анекдот, ибо героический характер, не чуждый искренним чувствам любви и дружбы, проявляется и в том, что, в частности, «барон Пампа повеселился в эту ночь на славу. В сопровождении кучи безденежных донов, быстро теряющих человеческий облик, он совершил гигантское турне по арканарским кабакам, пропив все, вплоть до роскошного пояса, истребив неимоверное количество спиртного и закусок, учинив по дороге не менее восьми драк. ...всплывали то хищные морды с ножами в зубах, то бессмысленно-горькое лицо последнего безденежного дона, которого барон Пампа пытался продать в рабство в порту, то разъяренный носатый ируканец, злобно требовавший, чтобы благородные доны отдали его лошадей...» [12. С. 330]. Барон – без сомнения, один из лучших представителей земного бытия, но носитель и иных его черт¹.

¹ Нечто подобное можно сказать и о доне Рипате, характеризуемом как «верный и неглупый агент Руматы, лейтенант серой роты галантерейщиков, с великолепными усами и без каких бы то ни было принципов» [12. С. 315], который после

У Германа Пампа гибнет, и его истерзанное стрелами могучее тело, брошенное в кучу отходов, на котором надолго задерживается пристальный взгляд камеры и над которым злорадствует Будах, символизирует неоспоримое господство звериного без всяких проблесков духовного (барон же при всем звероподобии не лишен милосердия – и в повести, и в фильме он яростно проклинает тех, что «везде пачкают, обижают прислугу, калечат собак...» [12. С. 322]).

В финале главы Румата, впавший накануне «в окончательно свинское состояние», обнаруживает себя там, где пристало обитать зверю, – в реальности выродившихся героев, «посреди обширного пустыря. Занимался серый рассвет, вдали сиплыми голосами орали пестухи-часомеры. Каркали вороны, густо кружившиеся над какой-то неприятной кучей неподалеку, пахло сыростью и тленом» [12. С. 329]. (В фильме Германа на всем его протяжении визуализирована именно эта вымороченная действительность, уродливо-притягательное существование примитивных форм жизни, звериный оскал которого обнажает глубинное измерение бытия, маскирующееся до поры под знакомые места – «прямо впереди чернела башня сожженной обсерватории, а левее проступали в сумраке тонкие, как минареты, сторожевые вышки королевского дворца» [12. С. 330]. Философская детерминанта картины подчеркнута монохромной колористикой, «опрокинутостью» ее художественного мира в первозданность черного и белого цветов, сливающихся во всеохватную серость.) Но завершается она прорывом в пространство подлинной человечности и истинной любви – потому как каждая дверь не только закрывается, но и открывается, и если из нее можно выйти, то можно и войти. Заключительные слова главы: «...он слушал, заламывая бровь и чувствуя, как с каждой минутой стена становится все толще и неколебимей и как она навсегда отделяет его от единственного по-настоящему родного человека в этом безобразном мире. И тогда он с размаху ударил в стену всем телом.

– Кира, – сказал он. – Это был не сон.

И ничего особенного не случилось.

цитирования стиха «мятежника Цурэна» – неподдельного таланта, действительного поэта – «Как лебедь с подбитым крылом вызывает тоскливо к звезде...» доном Тамэо «хищно посмотрел» [12. С. 316] на последнего.

– Бедный мой, – сказала Кира. – Погоди, я сейчас рассолу принесу...» [12. С. 334] – вовсе не демонстрация ничтожного, бытового сознания героини, не торжество обыденности; в них – признание реалий жизни и невзыскательная жизненная мудрость, что выражает авторскую тоску о простых человеческих ценностях – понимании неотменных недостатков и прощении...

Но стоит оставить объятия Киры – и Румата «словно с изумрудного солнечного берега... бросался вниз головой в зловонную лужу» [12. С. 386], «бесцельно брел по бесконечным коридорам и переходам дворца, темным, сырым, провонявшим аммиаком и гнилью...» [12. С. 343], подобным звериным норам, в которые зарываются потерявшие человеческий облик люди, культивирующие «тупость и зверство» [12. С. 344], каждый из которых достоин ненависти, с одной стороны, за «слюнявую морду, вонь... немытого тела, ...слепую веру, ...злость ко всему, что выходит за пределы половых отправления и выпивки», а с другой – «чем лучше орел наш дон Рэба? Да, конечно, его психология запутанней и рефлексy сложнее, но мысли его подобны вот этим пропахшим аммиаком и преступлениями лабиринтам дворца, и он совершенно уже невыразимо гнусен – страшный преступник и бессовестный паук». И эта ярая непримиримость заставляет Румату задуматься о своей природе: «И когда это я успел провалиться в трясины...? Разве бог имеет право на какое-нибудь чувство, кроме жалости?» [12. С. 344]. И потому любовная линия, предполагаемая неким сюжетным противовесом миру хаоса, безумия и распада человека, не выдерживает претензий на статус полноценной оппозиции, не в последнюю очередь из-за того, что Кира обречена на виктимную роль, она унижаема и преследуема немилосердным бытием вплоть до гибели физической – ее и спровоцированной этим духовной – Антона, окончательно срывающегося в пропасть темных инстинктов Руматы.

После того, как «город был поражен невыносимым ужасом. Красноватое утреннее солнце угрюмо озаряло пустынные улицы, дымящиеся развалины, сорванные ставни, взломанные двери. В пыли кроваво сверкали осколки стекол. Неисчислимые полчища ворон спустились на город, как на чистое поле», Румата тягостно недоумевает: «Люди это или не люди? Что в них человеческого? Одних режут прямо на улицах, другие сидят по домам и покорно ждут своей очереди... Хладнокровное зверство тех, кто режет, и хладнокровная покорность

тех, кого режут» и с непереносимым ужасом постигает: «Еще немного, и я сойду с ума и стану таким же, еще немного, и я окончательно перестану понимать, зачем я здесь...» [12. С. 380]. (И он такой не один – «высокоученый доктор Будах», «человек, несомненно, замечательный и настоящий интеллигент, убежденный гуманист и бессребреник» [12. С. 282], говорит о доне Рэбе: «Это страшный человек. Это оборотень, который явился на свет только упущением божьим» и страстно исповедуется Румате: «Я врач, но мне не стыдно признаться, что при случае я охотно умертвил бы его», предвосхищая это откровение многозначительным в свете выявленных закономерностей «Но вы должны меня понять» [12. С. 402]¹.) Не о предопределенности ли подчинения звериному началу своего естества говорят эти признания?.. (К слову, в фильме Будах, прежде чем произнести отличную от книжной фразу: «Сдуй нас как пыль! Как гной! Или оставь в нашем гниении! Уничтожь нас, всех, всех уничтожь!», по-животному «помогился на сапоги Руматы и пригрозил плеснуть благодетелю в лицо кислотой», а «нежная и скромная Кира стала потаскушкой по имени Ари, которая хватает Румату за мошонку и пытается при всех заняться с ним сексом (Румата не против)» [1].)

Выделим еще один момент, могущий быть названным апогеем переплетения зооморфной и онтологической символики: «Кусты бузины на окраине квартала вдруг зашевелились, и в переулок вполз дон Тамэо. Увидев Румату, он вскрикнул от радости, вскочил и, сильно пошатнувшись, двинулся навстречу, простирая к нему измазанные в земле руки», после чего «они спустились к свалке и, зажимая носы, пошли шагать через кучи отбросов, трупы собак и зловонные лужи, кишасшие белыми червями. В утреннем воздухе стоял непрерывный гул мириадов изумрудных мух» [12. С. 389]; к концу же пути дон Тамэо два раза упал, «причем во второй раз отказался чиститься, заявив, что многогрешен, грязен от природы и желает в таком виде предстать» [12. С. 390], что может прочитываться как в прямом, так и в символическом смысле завершения человеком пути обратной эво-

¹ На том, что дона Рэбу следовало убить, *post factum* настаивает дон Кондор, на что дон Гуг (в земной жизни Пашка, закадычный друг Антона) в ужасе спрашивает: «Убить, физически убрать... Вы что, с ума сошли?» [12. С. 416].

люции. Очевидно, здесь вновь имеет место восходящая к «Метаморфозам» Овидия – точнее, к их интерпретации Гегелем – тенденция «сделать животное начало и другие неорганические формы образом унижения человеческого» [15. S. 433] (цит. по: [16]), что распространяется и на образуемый людьми, имеющими «антропозоологический» (Ханс Гюнтер) облик, социум: «Хвост длиннейшей очереди дворян и зажиточных горожан, торчащий из отверстых дверей канцелярии, со страхом и смятением поглядывал на эту жуткую суету» [12. С. 391]; при этом все здесь, как и дон Тамэо, «были основательно измазаны в грязи» [12. С. 393], – и все это диктует поэтику «апологии грязи» А. Германа, в черно-белом кино которого, по словам А. Долина, «смола, кровь, дерьмо и грязь – одного вязкого цвета, это цвет обволакивающей тьмы. И люди такие же, одной темной масти, способной засосать любое яркое пятно: в тексте все время звучит, что Румата, как и его подруга, рыжие, но разве разглядишь рыжину в удушливой арканарской мгле?» [4. С. 34].

Несколько отличается от других животных «профессиональный бунтовщик, мститель божьей милостью» [12. С. 409] Арата Горбатый, некогда известный под прозвищем Красивый, – но отличается тем только, что «таких шук рождает иногда историческая эволюция и запускает в социальные омуты, чтобы не дремали жирные караси, пожирающие придонный планктон...» [12. С. 409–410]. Он абсолютно бессердечен в лютой свирепости своей высокой, но чудовищной миссии, своего кошмарного крестового похода, цель которого – выжечь «золоченую сволочь, как клопов, всех до одного, весь их проклятый род до двенадцатого потомка» [12. С. 411]; и, может быть, верно подозрение исследователя и теоретика фантастики и альтернативной истории, футуролога Сергея Переслегина, лаконично высказанное им в небольшой статье 1997 г. «Детектив по-арканарски»: жестокое и на первый взгляд бессмысленное убийство ни в чем не повинной Киры совершил именно Арата, «великолепно знающий Румату. Абсолютно уверенный в своей правоте. Безжалостный. Прошедший в своей жизни через многие смерти и предательства. Собственно, остатков порядочности у него хватило на то, чтобы все-таки – предупредить: “В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину – это всегда наполовину враг”. ...И в конце концов он добился своего, устранив руками землян дона Рэбу и создав условия для того, что,

собственно, и стало “Арканарской резней”. И когда арканарский люд действительно полез с топорами из всех щелей, нашлось кому его возглавить...» [17. С. 144–152]. Именно из этой предпосылки исходит А. Герман, в фильме которого «легендарный мятежник окажется не только отталкивающим одноглазым монстром в струпьях и язвах, чья слава зиждется на том, что никто его не видел, но и моральным уродом, уговаривающим Румату помочь ему забраться на трон и расправиться с нынешней правящей элитой – разумеется, чтобы образовать новую, уже “во имя справедливости”. Именно этот борец за свободу и выпустит арбалетную стрелу в затылок возлюбленной героя, прольет первую кровь» [4. С. 24]. Румата раздавлен обрушившейся на него роковой потерей – и «под крик верного Муги “Бог решил убивать!” он потеряет человеческий облик – одновременно. Только что не желал выходить из дома, пока не закончит обед и не наденет взамен вымокших штанов новые, сухие, – и бросил плошку с супом, обошелся без штанов, а на голову напялил страшный рогатый шлем, что твой Минотавр. В руки взял по мечу. Стал зверем или все-таки богом, язычники представляли их именно такими: беспощадными, с головами яростных животных. А потом – Муга не ошибся – отправился убивать» [4. С. 32] (впрочем, нельзя отрицать, что здешний Румата ведет себя гораздо агрессивнее своего книжного прототипа, скажем, похваливаясь в разговоре с Ари (напомним, аналог Киры), что он, обладающий огромными клыками, «здесь никому не по зубам – любого могу сломать», что переходит в сексуальную интерлюдия; обращают на себя внимание окружающие героя отрубленные головы свиней и коров (хотя Нилу Янгу из журнала “Indiewire” «сильнее всего запомнились куриные ноги» [2]) и часто скрывающие его руки когтистые латные рукавицы; стоя у орудия пытки, он погружает длани в вязкую черную жидкость – смолу? кровь? – и медленно покрывает ею лицо; наконец, зритель *видит* воочию, насколько нечеловеческого изуверства побоище устраивает Румата, и монструозность «достигает высшей точки, когда под цитату “...и есть ли у спрута сердце” Румата вырывает еще быющее сердце вместе с кишками из груди умирающего» [1]). Группа землян, пробирающаяся через руины Арканара, чтобы эвакуировать Румату, обнаруживает горы трупов, и один из них – Араты. Вот и выходит, что спровоцировавший конечную победу зверя – или древнего зверобога – в Румате Арата – и сам «зверь,

сволочь безумного сознания» [18. С. 272] – инкарнация, согласно авторитетному мнению Владимира Проппа, одного из представлений о смерти. Одинокое сидящий в луже в одном рубище Румата – олицетворение еще одного. Звучащая в финале фильма тоскливая мелодия саксофона может быть понята в этом же ключе – если признать справедливость замечания Владимира Набокова, считавшего, что «в плане ее воздействия на рядового слушателя» «музыка является более примитивным, более животным видом искусства, чем литература и живопись» [19. С. 378], – знаменуя триумф животного и смертного.

Таким образом, в произведении Стругацких значимую роль играют различные виды зооморфности и регрессивные метаморфозы, сопровождающие «неполноценное бытийное состояние общества», которое «приводит к мутации человека», в результате чего меняется «форма человеческого тела и все его известные физиолого-анатомические свойства» [20. С. 166] и реализуется противоестественное «происхождение животных из людей» [18. С. 278], не исключая, однако, существование олицетворенных амбивалентных метаморфных форм (образ барона Пампы). Эта исчезающе тонкая грань между человеком и животным и ее аксиологическая полисемантичность эксплицитно вербализуются доктором Будахом: «Нет в природе ничего такого, к чему бы человек не претерпелся. Ни лошадь, ни собака, ни мышь не обладают таким свойством. ... Не будь у человека такого терпения и выносливости, все добрые люди давно бы уже погибли, и на свете остались бы злые и бездушные. С другой стороны, привычка терпеть и приспособливаться превращает людей в бессловесных скотов, кои ничем, кроме анатомии, от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности» [12. С. 404]. В итоге – по-платоновски «не лестница эволюции, а смешение живых существ, общий конгломерат» [21. С. 213]; неудивительно, что в мире животных божественное и звериное начала во многом биективны.

Все это выявляет эвентуальность увидеть в произведениях Стругацких полемический диалог с литературой онтологического проектирования. Неслучайно Ивонн Хауэлл ставит проблему платоновских реминисценций в текстах Стругацких и отмечает, что пусть «прямые отсылки к творчеству Платонова... незначительны и редки, хотя авторы были знакомы с его запрещенными произведениями еще с 1970-х годов» [22. С. 117], «самая прямая аллюзия на Платонова в произведениях Стругацких относится, что характерно, к “Котловану”, самому

мрачному из его текстов. Четвертая часть второй книги «Града обреченного» начинается сценой с рабочими, роющими котлован» [22. С. 117–119]. Конечно, повесть «Трудно быть богом» была написана задолго и до 70-х гг., к началу которых относится черновик «Града обреченного», и уж тем более до первой публикации философского романа, имевшей место в 1988–1989 гг., но идеи, как говорится, «витают в воздухе»; относятся к таковым «идеям времени» и тезы, обнаруживающие сходство и даже генетическое родство с концепциями литературы онтологического проектирования, выдвигавшей постулат о том, что перед человеком стоят творческие задачи преобразования мира, и место его во вселенной таково, что на него возлагаются планетарно проективные задачи, он – актер изменения состояния бытия. Находят у Стругацких отражение и гипотезы Александра Богданова о тектологии, или «всеобщей организационной науке», легшие в основу достаточно частного явления в истории литературы – космической поэзии Пролеткульта с творимым ее представителями технократическим индустриальным мифом, воспевавшим идею машинного преобразования мира и человека (так, в повести Стругацких «Далекая Радуга» (1963), созданной в том же году, что и «Трудно быть богом», мифологема новой личности предстает в изводе «человек-машина», очевидно отсылающем к советской мифологии 1920-х гг.), и свойственное раннему Андрею Платонову соединение веры в существование идеала справедливости и добра с идеей технического усовершенствования жизни, и характерный для него же, но уже «антиутопического», главного периода творческой деятельности диалог утопии и антиутопии, и изображение уродливых, фантазмагорических моделей жизни, явственно нуждающейся в преобразении, и носителя идеологического сознания, что тщится совершить рывок в будущее и терпит сокрушительное поражение, тогда как автор мучительно разделяет и дерзание героя, и его неминуемый крах.

Эта соотнесенность включает и известную корреляцию периодов мировоззренческого и творческого развития: так, к середине 1920-х гг. Платонов разочаровывается в теплом технократизме, постулирующем веру в природоусовершенствование с бережным отношением к ней, что приводит к усилению критического пафоса в платоновской социально-аналитической прозе второй половины десятилетия, отличаю-

щейся использованием фантастического гротеска в целях максимального заострения как общественных, так и философских проблем (рассказ «Усомнившийся Макар» (1929), но прежде всего – вершинные достижения Платонова-художника – роман «Чевенгур» (1926–1929) и повесть «Котлован» (1930) как концептуальная диалогия, испытывающая идею рождения нового социального идеала и потенций ее воплощения), Стругацкие же в начале 1960-х гг. переживают состояние мировоззренческого кризиса и создают переломную в их творческой системе повесть «Трудно быть богом». При этом первичен в обоих случаях не помысел о враждебной народу государственности (недаром Илья Кукулин сетует на то, что ему «кажется неизбежным и в то же время несколько досадным, что мы говорим о Стругацких в основном как о социальных мыслителях, а не как о писателях» [23]), а постановка универсальных проблем причастности жизни человека к вечным основам существования – как в положительном, так и в отрицательном изводах этой субстанциальной спаянности человеческого бытования и бытия онтологического.

В «Трудно быть богом» в провиденциальных внутренних монологах Руматы лейтмотивом проходит мысль о насущности выхода из природного способа существования, преодоления своей природности, поскольку человек преобразуем, он – лишь смутный зародыш чего-то большего: «...все они почти без исключений были еще не людьми в современном смысле слова, а заготовками, болванками, из которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь настоящего гордого и свободного человека. ...Если бы они все были одинаковы, руки опустились бы и не на что было бы надеяться. Но все-таки они были людьми, носителями искры разума. И постоянно, то тут, то там вспыхивали и разгорались в их толще огоньки неимоверно далекого и неизбежного будущего. ...Братья мои, подумал Румата. Я ваш, мы плоть от плоти вашей! С огромной силой он вдруг почувствовал, что никакой он не бог, ограждающий в ладонях светлячков разума, а брат, помогающий брату, сын, спасающий отца» [12. С. 358, 360]; процесс неотвратимого претворения будущего в настоящее может быть форсирован целенаправленными усилиями, и в пределе это должно завершиться рукотворной космогонией – созданием нового, более совершенного мира, сотворенного человеком, возвысившимся над собственной материальной природой, ибо, по слову Николая Гоголя,

«нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства» [24. С. 443]. Румата болезненно ощущает нестерпимую тяжесть возложенной на него миссии: он должен ответить на запросы своего «отца», на нужды всего человечества. Так безэмоциональный историк оборачивается экзальтированным прогрессором, но превращение не завершается: «Румата провел ладонью по влажному лбу. Вот так думаешь, думаешь, думаешь – и в конце концов выдумываешь порошок...» [12. С. 361], ставя вопрос, с одной стороны, о необходимости, с другой – опасности подобного перевоплощения.

Начинается повесть картинками детства (пусть и не безоблачного), завершается же возвращением в то же пространство, но уже – существенно изменившегося, претерпевшего внутреннюю трансформацию – вопреки взгляду Анки: «Ничего в нем не изменилось, он всегда был немного мрачный» [12. С. 424] – героя. «Алексей Герман в своем фильме предложил другой финал истории прогрессора. Ослепляющая белизна снега (контрастная по отношению к царству грязи на протяжении всего предшествующего кинонарратива), по которому на повозке едет куда-то вдаль Румата, играя на чем-то, похожем на кларнет. На лице Руматы застыло выражение странного, потустороннего удивления. Сцена (в отличие от финала фильма “Хрусталеv, машину!”), с которым многие критики ее сравнили) пронизана мотивом смерти, потустороннего бытия» [25]. (Заметим в скобках, что это корреспондирует с сюжетом существующей в двух вариантах пьесы Стругацких «Без оружия» (снабженной в первой, краткой вариации подзаголовком «Человек с далекой звезды»), написанной по мотивам «Трудно быть богом» в 1975–1976 гг., в обоих изводах которой гибнут как Кира и сам дон Румата, так и – в пространной версии, включающей два действия в семи картинах с прологом и эпилогом, – вождь повстанцев Арата; значит, такая модификация итога судеб героев присутствовала в сознании авторов, пусть и не была реализована в повести. При этом следует помнить, что в художественном наследии Стругацких драматургия занимает периферийное место, что связано с тем, что, во-первых, по словам Бориса Стругацкого, «та мера условности, которую приемлет и допускает для себя театр, нас не устраивала никогда. ...Но мы, оба, с огромным пиететом всегда относились к драматургии» [26. С. 186], с другой – сами авторы считали «Без оружия»

настолько неудачным опытом, что произведение не было включено в 11-томное собрание сочинений 2000–2003 гг. [27. С. 584]. И все же творческая история «Без оружия», та активность, с которой Стругацкие пытались обойти театральные ограничения, и интенсивность, характеризующая процесс создания двух редакций пьесы, – свидетельство того, что отраженное в ней представление истории Руматы имеет определенное значение в творческом самоопределении братьев-соавторов.) Отметим, что ситуация детства, ассоциирующаяся с рождением, в картине Германа, завершающейся символической гибелью героя, отсутствует, и в этом смысле фильм словно доводит повествование до финала, смысл которого может прозреваться и как возвращение в неосытый свет «отца», метафорический образ которого возникает в размышлениях Руматы (к слову, в концепции Платонова отец – образ носителя духовности и самосознания, т.е. антропологический символ не-расторжимости нравственного и интеллектуального начал), в родственный союз, в семью, реализация идеи патернализма, конститутивной для Платонова. Этот же неосознанно восходящий к платоновской художественной философии мотив венчает и произведение Стругацких: репатриированный на Землю Антон, вроде бы отрекшийся от ипостаси Руматы, возвращается к природному способу существования, в котором имманентно заложено насилие, другими словами, отказывается от поисков смысла и тем самым изменяет прежним ценностям, а это – зыбкое и не должное состояние: «Он протянул к ней огромные руки. Она робко потянулась к нему и тут же отпрянула. На пальцах у него... Но это была не кровь – просто сок земляники» [12. С. 424]. Однако здесь следует учитывать, что первородная основа человеческого бытия включает в себя вечный цикл рождения, гибели и возрождения. Поэтому в обоих случаях – и в повести, и в ее экранизации – жизнь не прерывается окончательно, но ставится опять же значимая для Платонова проблема опасности форсирования течения истории, дилемма разрыва реальной жизни и идеологического сознания, стремящегося подчинить ее и заставить следовать неким априорным схемам, что чревато поистине катастрофическими последствиями. Так Стругацкие вскрывают гносеологический и философский тупик как краеугольную характеристику эпохи.

Присутствуют и локальные совпадения, могущие быть случайными, однако ввиду сходств концептуальных выявлять их представ-

ляется вполне возможным – по крайней мере, отрицать эту возможность нельзя; ограничимся единственным примером: в хрестоматийном диалоге Руматы и Будаха на удивленный вопрос собеседника: «Неужели вы серьезно считаете этот мир совершенным?» доктор отвечает: «Мой молодой друг, ну конечно же! Мне многое не нравится в мире, многое я хотел бы видеть другим... Но что делать? В глазах высших сил совершенство выглядит иначе, чем в моих. Какой смысл дереву сетовать, что оно не может двигаться, хотя оно и радо было бы, наверное, бежать со всех ног от топора дровосека» [12. С. 405]. Платонов же в «Записных книжках» подчеркивает градуальность переходов между человеком, животным и растением: «Животные и растения – всегда наши современники, и дело совсем не в атавизме, а в дружбе, в санитарии души» [21. С. 155]; в произведении Стругацких эти родственные отношения воплощены в логике прямо противоположной модальности, но общность художественных средств, которыми пользуются авторы, налицо – разность в итоговом тезисе.

Таким образом, соотнесение «Трудно быть богом» с образно-мотивным комплексом, присущим прозе А. Платонова, легитимность чего, проблематизирующаяся на первый взгляд тем, что братья-соавторы на момент написания произведения не были знакомы с последней, инспирируется принципиальной ролью в поэтике фантастического текста зооморфизма, глубинная реальность, истинная природа которого были эссенциализированы во многом именно Платоновым, – обнаруживает, что повесть Стругацких содержит код философской притчи. Это отнюдь не значит, что они окончательно уходят от социальности в условные жанры, но подразумевает выход за географические границы национального культурного пространства, от локального к глобальному, конструируя повествование о коренном порядке мира, законах его возникновения и существования, постановку проблем функционирования социума и места человека (роль личности в бытии, вопросы о свободе и границах), сопряжения исторического и циклического времен. И в этом фильм А. Германа вновь вторит повести, ибо «его создатель не возносится к небесам, чтобы вынести вердикт оттуда; напротив, спускается в грязь, ниже, еще ниже, пока не начинает захлебываться (а мы с ним вместе). Это рвотное, начисто избавляющее пациента от родовой травмы и пожизненного диагноза русской глубокомысленности» [4. С. 21], что более чем

соответствует самобытности автора «Котлована», «привитой» наряду с «вещизмом» классиков северной живописи рудименту сюжета Стругацких. В картине этот изоморфизм проявлен даже очевиднее по сравнению с претекстом в связи с усугублением ключевого для Платонова мотива сиротства, отчаянное стремление к превозмоганию которого и порождало взыскание отцов, ибо «герой книги Стругацких имел “настоящее” имя – Антон, он мыслил и вел себя, как земной человек. Румата в фильме – просто Румата; недаром (сильнейшее, самое важное концептуальное отличие от романа) он отказывается возвращаться на Землю с Арканара. Но не очевидно и намерение других землян отправиться домой. ...Может, они и не ученые на самом деле, а беженцы, которым некуда, кроме Арканара, податься» [4. С. 28]. И в итоге на материале самого по себе неординарного текста Герман, подобно Платонову, «совершает чудо пробуждения памяти, на этот раз не конкретно-исторической и не индивидуальной, а надмирной, всеобщей, – и обнаруживает в ее недрах одно и то же безнадежное дежавю» [4. С. 26]. Так бестиальная поэтика концентрирует философский потенциал произведения Стругацких, онтологическое начало которого фатально противостоит нравственной философии героя, детерминированной ориентацией на жизнестроительство (при этом, согласно резюме авторитетного польского литературоведа Войцеха Кайтоха, Стругацкие сохранили веру в необходимость и возможность перевоспитания общества, которое составляет базовую основу «русского и советского мышления о социализме», даже во время написания последнего своего большого сочинения – философского романа «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя» (1986–1988) [28]), и эта трагическая раздробленность, делающая ощутимо вещественную реальность повести и тем более фильма символической, выстраивает не только полемику, но и диалог литературного первоисточника и его кинематографического воплощения, обуславливая их диалектичность, а также обнаруживает странные на первый взгляд, на самом же деле, как представляется, – весьма закономерные сближения обоих текстов с художественной системой А. Платонова.

Список источников

1. Гагинский А. «Трудно быть богом» Германа: убийство Стругацких // Мир Фантастики. URL: <https://www.mirf.ru/kino/trudno-byt-bogom-german/>

2. Зарубежная пресса о «Трудно быть богом» Алексея Германа // Сеанс: журнал и сайт о времени и кино. URL: https://seance.ru/articles/press_german/
3. Фрумкин К. Советская утопия против «безобразного естественного» // Знамя: литературно-художественный и общественно-политический журнал. 2020. № 7. URL: <https://znamlit.ru/publication.php?id=7662>
4. Долин А. Оттенки русского: очерки отечественного кино. М. : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. 496 с.
5. Behn B. “Es ist schwer, ein Gott zu sein” // Kino-Zeit. URL: <https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/es-ist-schwer-ein-gott-zu-sein>
6. Бритиков А. Русский советский научно-фантастический роман. Л. : Наука, 1970. 448 с.
7. Неелов Е. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 200 с.
8. Стругацкий А. Трудно быть фантастом / Беседу записал С. Кашницкий // Московскийсомолец. 1980. 17 сент. С. 2.
9. Лейдерман Н. и Липовецкий М. Современная русская литература: 1950–1990-е годы : в 2 т. М. : Академия, 2003. Т. 2. 688 с.
10. Чудакова М. Гимнастический снаряд для интеллекта: фантастика в моей жизни // Чудакова М. Мирные досуги инспектора Крафта. М. : ОГИ, 2005. С. 85–90.
11. Гроссман В. Все течет. Франкфурт-на-Майне : Посев, 1970. 208 с.
12. Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. соч. : в 11 т. Донецк : Сталкер; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2001. Т. 3: 1961–1963. 704 с.
13. Пропт В. Исторические корни волшебной сказки. М. : Лабиринт, 2000. 336 с.
14. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. СПб. : Тип. Бр. В. и И. Линник, 1913. 352 с.
15. Hegel G.W.F. Asthetik. Frankfurt am Main : Aufbau Verlag, 1965. Band 1. 590 s.; Band 2. 666 S.
16. Гюнтер Х. «Смещение живых существ»: человек и животное у А. Платонова // Новое литературное обозрение. 2011. № 111 (5). С. 91–105.
17. Переслегин С. Возвращение к звездам: фантастика и эволюция. М. : АСТ; СПб. : Terra Fantastica, 2010. 576 с.
18. Платонов А. Счастливая Москва. М. : Время, 2010. 624 с.
19. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. СПб. : Издательская группа «Азбука-классика», 2010. 512 с.
20. Барит К. Человек, животное, растение, минерал. Антропологическая концепция А. Платонова // Europa Orientalis. 2000. № 19. С. 97–168.
21. Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. М. : ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. 424 с.
22. Хауэлл И. Апокалиптический реализм: Научная фантастика Аркадия и Бориса Стругацких. Бостон : Academic Studies Press ; Санкт-Петербург : БиблиоРосника, 2021. 192 с.
23. Кукулин И. Философия Стругацких / Записал К. Головастик // Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/materials/747>

24. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. : в 14 т. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. Т. 13. 564 с.

25. Липовецкий М. Еще раз о комплексе прогрессора // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2015. № 1 (99). С. 173–190.

26. Стругацкий А., Стругацкий Б. Полн. собр. соч. : в 33 т. М. : Сидорович, 2017. Т. 21. 460 с.

27. Неизвестные Стругацкие. От «Страны багровых туч» до «Трудно быть богом»: черновики, рукописи, варианты. Донецк : Сталкер, 2005. 640 с.

28. Кайтох В. Братья Стругацкие: Очерк творчества // Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. соч. : в 11 т. Донецк : Сталкер, 2003. Т. 12. С. 409–670.

References

1. Gaginskiy, A. (n.d.) *"Trudno byt' bogom" Germana: ubiystvo Strugatskikh* ["Hard to Be a God" by German: The Murder of the Strugatskys]. *Mir Fantastiki*. [Online] Available from: <https://www.mirf.ru/kino/trudno-byt-bogom-german/> (Accessed: 26.06.2024).

2. Seance.ru. (n.d.) *Zarubezhnaya pressa o "Trudno byt' bogom" Aleksey Germana* [Foreign Press on Aleksei German's "Hard to Be a God"]. *Seans: zhurnal i sait o vremeni i kino*. [Online] Available from: https://seance.ru/articles/press_german/ (Accessed: 26.06.2024).

3. Frumkin, K. (2020) Sovetskaya utopiya protiv "bezobraznogo estestvennogo" [Soviet Utopia vs. the "Ugly Natural"]. *Znanya: literaturno-khudozhestvennyy i obshchestvenno-politicheskiy zhurnal*. 7. [Online] Available from: <https://znamlit.ru/publication.php?id=7662> (Accessed: 26.06.2024).

4. Dolin, A. (2018) *Ottenki russkogo: ocherki otechestvennogo kino* [Shades of Russian: Essays on National Cinema]. Moscow: AST: Redaktsiya Eleny Shubinoy.

5. Behn, B. (n.d.) *"Es ist schwer, ein Gott zu sein"*. [Online] Available from: <https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/es-ist-schwer-ein-gott-zu-sein> (Accessed: 26.06.2024).

6. Britikov, A. (1970) *Russkiy sovetskiy nauchno-fantasticheskiy roman* [The Russian Soviet Science Fiction Novel]. Leningrad: Nauka.

7. Neelov, E. (1986) *Volshebno-skazochnye korni nauchnoi fantastiki* [The Fairytale Roots of Science Fiction]. Leningrad: LSU.

8. Strugatskiy, A. (1980) *Trudno byt' fantastom* [Hard to Be a Science Fiction Writer]. *Moskovskii komсомоlets*. September 17. p. 2.

9. Leiderman, N. & Lipovetskiy, M. (2003) *Sovremennaya russkaya literatura: 1950–1990-e gody: v 2 t.* [Contemporary Russian Literature: 1950s–1990s: in 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Akademiya.

10. Chudakova, M. (2005) *Gimnasticheskiy snaryad dlya intellekta: fantastika v moei zhizni* [Intellectual Gym Equipment: Science Fiction in My Life]. In: Chudakova, M. *Mirnye dosugi inspektora Krafta* [The Peaceful Leisure of Inspector Kraft]. Moscow: OGI. pp. 85–90.

11. Grossman, V. (1970) *Vse techet* [Everything Flows]. Frankfurt-na-Maine: Posev.
12. Strugatskiy, A. & Strugatskiy, B. (2001) *Sobr. soch.: v 11 t.* [Collected Works: in 11 vols]. Vol. 3:1961–1963. Donetsk: Stalker; Saint Peterburg: Terra Fantastica.
13. Propp, V. (2000) *Istoricheskie korni volshebnoy skazki* [The Historical Roots of the Wondertale]. Moscow: Labirint.
14. Nietzsche, F. (1913) *Tak govoril Zarathustra. Kniga dlya vsekh i ni dlya kogo* [Thus Spoke Zarathustra. A Book for All and None]. Saint Petersburg: Tip. Br. V. i I. Linnik.
15. Hegel, G.W.F. (1965) *Asthetik*. Band 1; Band 2. Frankfurt am Main: Aufbau Verlag.
16. Gunter, H. (2011) "Smeshenie zhivyykh sushchestv": chelovek i zhiivotnoe u A. Platonova ["The Mixing of Living Beings": Man and Animal in A. Platonov]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 111 (5). pp. 91–105.
17. Pereslegin, S. (2010) *Vozvrashchenie k zvezdam: fantastika i evologiya* [Return to the Stars: Science Fiction and Euvology]. Moscow: AST; Saint Petersburg: Terra Fantastica.
18. Platonov, A. (2010) *Schastlivaya Moskva* [Happy Moscow]. Moscow: Vremya.
19. Nabokov, V. (2010) *Leksii po zarubezhnoy literature* [Lectures on Foreign Literature]. Saint Petersburg: Izdatel'skaya Gruppy "Azbuka-klassika".
20. Barsht, K. (2000) Chelovek, zhiivotnoe, rastenie, mineral. Antropologicheskaya kontsepsiya A. Platonova [Man, Animal, Plant, Mineral. The Anthropological Concept of A. Platonov]. *Europa Orientalis*. 19. pp. 97–168.
21. Platonov, A. (2000) *Zapisnye knizhki. Materialy k biografii* [Notebooks. Materials for a Biography]. Moscow: IWL RAS: Nasledie.
22. Khaouell, I. (2021) *Apokalipticheskiy realizm: Nauchnaya fantastika Arkadiya i Borisa Strugatskikh* [Apocalyptic Realism: The Science Fiction of Arkady and Boris Strugatsky]. Boston: Academic Studies Press; Sankt-Peterburg: BiblioRossika.
23. Kukulin, I. (n.d.) *Filosofiya Strugatskikh* [The Philosophy of the Strugatskys]. Zapisal K. Golovastikov. *Arzamas*. [Online] Available from: <https://arzamas.academy/materials/747> (Accessed: 26.06.2024).
24. Gogol', N.V. (1952) *Poln. sobr. soch.: v 14 t.* [Complete Works: in 14 vols]. Vol. 13. Moscow; Leningrad: USSR AS.
25. Lipovetskiy, M. (2015) Eshche raz o komplekse progressora [Once More on the Progressor Complex]. *Neprikosnovennyy zapas. Debaty o politike i kul'ture*. 1 (99). pp. 173–190.
26. Strugatskiy, A. & Strugatskiy, B. (2017) *Poln. sobr. soch.: v 33 t.* [Complete Works: in 33 vols]. Vol. 21. Moscow: Sidorovich.
27. Bondarenko, S. (2005) *Neizvestnye Strugatskie. Ot "Strany bagrovykh tuch" do "Trudno byt' bogom": chernoviki, rukopisi, varianty* [The Unknown Strugatskys. From "The Land of Crimson Clouds" to "Hard to Be a God": Drafts, Manuscripts, Variants]. Donetsk: Stalker.

Kaitokh, V. (2003) Brat'ya Strugatskie: Ocherk tvorchestva [The Strugatsky Brothers: An Essay on Their Work]. In: Strugatskiy, A. & Strugatskiy, B. *Sobr. soch.: v 11 t.* [Collected Works: in 11 vols]. Vol. 12. Donetsk: Stalker. pp. 409–670.

Информация об авторе:

Третьяков Е.О. – канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: shvarcengopf@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

E.O. Tretyakov, Cand. Sci. (Philology), associate professor, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: shvarcengopf@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 4.04.2025.

The article was accepted for publication 4.04.2025.

Научная статья
УДК 821.161.1
doi: 10.17223/24099554/24/16

Документальная пьеса Е. Греминой и М. Угарова «Сентябрь.doc» в контексте эмпатической травматизации

Анастасия Леонидовна Нечаева

*Государственный музей истории российской литературы
имени В.И. Даля, Москва, Россия, nasteknecha1@gmail.com*

Аннотация. В контексте документальной пьесы «Сентябрь.doc» М. Угарова и Е. Греминой уместно говорить об особых средствах взаимодействия с читателем. В статье анализируются приемы, провоцирующие напряженность, которая выводит субъекта восприятия в поле Другого, провоцируя аффект.

Ключевые слова: Другой, Гремина, Угаров, диалог, голоса, травма, эмпатия, изживание, аффект, вербатим

Для цитирования: Нечаева А.Л. Документальная пьеса Е. Греминой и М. Угарова «Сентябрь.doc» в контексте эмпатической травматизации // Имагология и компаративистика. 2025. № 25. С. 335–343. doi: 10.17223/24099554/24/16

Original article
doi: 10.17223/24099554/24/16

***Sentyabr'.doc*, a documentary play by Elena Gremina and Mikhail Ugarov, in the context of empathic traumatization**

Anastasiya L. Nechaeva

*Vladimir Dahl Russian State Literary Museum, Moscow, Russian Federation,
nasteknecha1@gmail.com*

Abstract. This article examines the techniques employed by documentary playwrights Elena Gremina and Mikhail Ugarov in their play *Sentyabr'.doc* [September.doc] to create an atmosphere of contradiction and tension. The analysis focuses on the image of the Other, which can be interpreted in various ways

and is perceived as a method for generating the work's affective environment. The Other in the play is a character involved in the tragic events in Beslan on September 1, 2004. Furthermore, the Other is the very principle of character selection, which presents the tragedy from multiple, polarized viewpoints that do not coalesce into dialogue, instead forming a cacophony of voices. The representation of traumatic experience in the play produces a reverse effect – the working-through of the trauma of terrorism as a collective one. By transmitting this "shared" trauma, the playwrights stimulate a new surge of emotions, compelling the audience not only to displace it (by reflecting on the impassés of dialogue) but also to juxtapose the events in the play with the current state of reality. Following an analysis of the perspectives within the play, the conclusion is drawn that all 77 online comments are intended to illustrate individual reactions to the events. The multiplication of speaking subjects scales the tragedy from private family grief to a discussion of political and sensitive social topics. The play is built on "surges of tension," where voices within the virtual world report on the tragedy of a real cultural dialogue, testifying to the guilt of everyone included in the text or the production. In the author's opinion, the perspective of the outsider deserves particular attention – it is a significant affective point that generates dissonance related to the understanding of responsibility. Another distinct affective element is the zero-position of the playwrights: by arranging the comments in a specific order, they seemingly self-efface. However, the concentration of the authorial voice is still discernible precisely in the compositional technique of alternating (surges of) remarks, which not only voice different positions but also convey different intonations and linguistic registers: coarse, aggressive, laden with profanity; insidiously calm, using lofty lexicon to heroicize criminal actions; emotional, sympathetic, outraged; (in)sincerely indifferent; naively detached, yet precisely hitting the mark. The documentary play *Sentyabr'.doc* speaks less about the threat of terrorism and more about a problem that is unlikely to ever resolve itself. Throughout the centuries, it has been the cause of global conflicts – this is the problem of dialogue, in which it is crucial to listen, hear, and accept the Other.

Keywords: Other, Gremina, Ugarov, dialog, voices, trauma, empathy, survival, affect, verbatim

For citation: Nechaeva, A.L. (2025) *Sentyabr'.doc*, a documentary play by Elena Gremina and Mikhail Ugarov, in the context of empathic traumatization. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 335–343. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/16

Документальный театр может претендовать на статус культурного феномена XXI в. Зритель документального театра должен принять Другого как часть Я – в этом заключается его нравственная задача,

если рассматривать театр как определенную модель мира. Можно предположить, что, исходя из социальных функций документального театра, Другой должен побудить Я к диалогу не только с ним, но и с собой, с миром.

Драму как род литературы отличает ориентация на выход (в прямом смысле) к субъекту, поэтому драматург вынужден искать особые средства для выражения внутри текста, однако в самой драме они проявляются нерепрезентативно, работая с чувственным полем, выстраивая на нем точки интенсивности, влияющие на читателя / зрителя. Эти точки рассматриваются нами в рамках аффективной среды¹ произведения, что является сферой работы Другого.

В контексте документальной пьесы «Сентябрь.doc» М. Угарова и Е. Греминой уместно говорить об особых средствах аффективного взаимодействия с читателем на основе, во-первых, образа Другого – героя, замешанного в трагических событиях в Беслане 1 сентября 2004 г. Во-вторых, сам принцип подбора действующих лиц – нарочитая «другость», вызывающая остранение, что позволяет читателю посмотреть на трагедию глазами Другого. Пьеса представляет собой организованную последовательность комментариев с чеченских, осетинских и русских интернет-форумов, которая отражает трагическую противоречивость событий, указывая на разность точек зрения. Гремина и Угаров выстраивают события и компилируют их так, что сам строй реплик (подобно тому, как это делается в документальных фильмах), склейка материалов приобретают острый драматизм, благодаря которому считывается идейная направленность документальной пьесы.

При помощи приемов, характерных для документальной драмы в контексте новодраматической эстетики, организуется работа с памятью и установка на вторичную (эмпатическую) травматизацию субъекта². Эта черта «Сентябрь.doc», по нашему мнению, является центральной

¹ Под аффективной средой понимаем условное экстралингвистическое пространство внутри текста, в котором производятся аффекты.

² Викарная травма (травма свидетеля) – это стрессовая реакция, которая возникает при засвидетельствовании боли и страдания другого человека, что вызывает эмпатические реакции субъекта. Викарную травму называют вторичным стрессом, поскольку он возникает от страданий, не связанных с субъектом напрямую.

и составляет основной аффективный потенциал пьесы. Однако репрезентация травматического опыта вызывает обратный эффект – изживание травмы. Д. Беннет [1], например, полагает, что образы прошлого, связанные с травматической памятью субъекта, аффективно отзываются, когда эта травма переплетается с актуальным опытом. Травматические воспоминания возобновляемы в ситуации, напоминающей ту, в которой они были порождены. Так и пьеса, транслируя «общую» травму [2, 3], связанную с угрозой разрастания терроризма, стимулирует новый прилив эмоций и заставляет не только вытеснить травму, пережив ее вновь, но и сопоставить события в пьесе с актуальным состоянием социальной реальности, чтобы указать на гражданскую ответственность каждого: «Память знания опосредует эмоциональную передачу травмы, а в режиме эстетического опыта знание травматического прошлого наслаивается на эмоциональные переживания по поводу эмпатической травматизации в настоящем» [4. С. 88].

Мы укажем на приемы, усиливающие напряженность, которая выводит субъекта-читателя в поле Другого, провоцируя аффект. Таковы герой, сюжет и конфликт, характерные для новодраматической эстетики.

Образ Другого в документальной драме представляет собой чередование точек зрения, которые анализируют событие с неожиданных сторон, что вызывает определенного рода «остранение», возможность увидеть трагедию глазами Другого – всем в пьесе Греминой и Угарова предоставлено слово – критикам той и другой сторон конфликта, свидетелям и безразличным. Так, что для одной веры – мученичество (стать шахидом), для другой – варварство (убийство невинных). Эти Другие (представляющие трагедию с полярных точек зрения) представлены голосами, выпадающими из диалога, закрытыми для него. Говоря о единой трагедии, голоса не сходятся в стремлении к взаимопониманию, для каждого своя вера – истина в последней инстанции. Сравним два комментария, которые иллюстрируют взгляды людей различных вероисповеданий и свидетельствуют о поиске истоков терроризма самими драматургами-документалистами:

№ 8. Запах мускуса. Бывали случаи, когда родственники погибших долго не могли получить тела для захоронения у российской стороны, и, наконец, получив их, находили, что этих тел совсем не коснулось тление, будто шахиды приняли мученичество только вчера...

№ 70. Они шли на это с надеждой. Я не вижу в захвате школы запрещенного Аллахом, ведь у них была цель не убить детей, если ба они этого хотели, они это сделали ба без лишних потерь с нашей стороны. проста БУМ и все. Они шли на это с надеждой... вот и все. ...Только в одном наши парни провинились... Наивно подумали, что ради детишек-то Россия пойдет на уступки! [5].

Подобные высказывания манифестируют мировоззрение некоторых радикальных сторонников ислама, которые объясняют произошедшее, по-своему интерпретируя (или извращая) его положения. Противоречивость ситуации в том, что, с одной стороны, подобные высказывания можно назвать не иначе, как экстремизмом, с другой – проявлением мультикультурности. В следующем комментарии представлена полярная точка зрения:

№ 37. И мясо не валяется. Вот никак не могу понять. Почему когда некоторые представители вашего народа хотят покончить жизнь самоубийством, то уносят с собой сотни других? Выстрел себе в голову и все... И мясо не валяется на площади в 5 квадратных километров [5].

Таким образом, все 77 сетевых комментариев, из которых собрана пьеса, призваны проиллюстрировать индивидуальную реакцию на произошедшее, продекларировать позицию. Все вместе они создают дисгармоничный хор голосов, который подводит к вопросу: как жить в мире при наличии диаметрально противоположных мнений, не сообщающихся между собой позиций, разнообразных верований, как выстраивать диалог. Для Греминой и Угарова проблема чеченской войны – это в первую очередь проблема диалога. В.Л. Шуников полагает, что «совершается катастрофа, но не в судьбе отдельного персонажа, а так или иначе касающаяся всех субъектов речи. Она состоит в невозможности обрести диалогическое (если выражаться пафосно, гуманистическое) взаимодействие с Другим» [6. С. 258]. Умножение субъектов речи масштабирует трагедию от частных семейных переживаний до обсуждения вопросов политических и острых социальных тем:

№ 68. Вся логика: Вся логика укладывается в одной фразе нашего генерала: «Выведа сегодня войска из Чечни, мы тем самым предадим память 20-ти тысяч наших погибших ребят. Получится, что смерть этих солдат была бессмысленной». То есть, чтобы придать смысл всему этому, нужно угробить еще 20 тысяч [5].

На основе выстраивания реплик и принципе подбора говорящих уместно говорить о культивации в подобных приемах напряженности, которая сообщается реципиенту и приобщает к общей травме. Каждая реплика призвана шокировать читателя / зрителя с целью сделать его соучастником общей трагедии непонимания. Аффективные точки в документальной пьесе Греминой и Угарова расставлены согласно принципам документальной драмы, т.е. выстраиванию документального материала. «Реплики и диалоги из осетинских, чеченских и русских чатов, форумов и веб-дневников были минимально отредактированы и объединены довольно формальной последовательностью. Этого оказалось достаточно, чтобы нанести спокойствию публики серьезный урон» [7], – говорится в рецензии на постановку «Сентябрь.doc» режиссерами Русланом Маликовым и Михаилом Угаровым. Сбор шокирующих, полярных, возмущающих мнений можно назвать иллюстрацией, выжимкой восприятия события общественностью. Интернет становится самой честной панорамой трагедии. Читатель ощущает себя ее частью, таким образом реализуется основная задача драматургов – нанести спокойствию публики серьезный урон.

Отдельного внимания заслуживает взгляд постороннего – это еще одна аффективная точка, которая порождает диссонанс, связанный с пониманием ответственности. Драматурги ставят вопрос – а можно ли оставаться безразличным к горю других? Документальные факты оказываются сильнее любых выводов. Выключенные из событий комментаторы наряду с остальными манифестируют собственное мнение, их правота не ставится драматургами под вопрос:

№ 66. Мне еще Людку до дома провожать: За всех не напереживаешься. Я не впал в депрессию, и не всплакнул. И не смотрел телевизор. Я просто не пустил это в себя. Потому что мне Людку до дома провожать надо.

№ 77. Когда у меня будут дети: Вот после событий в Беслане тут целая волна. А ведь мне не жалко никого из детей. Ну вот не чувствую я ничего. Я никого из погибших не знал. Они мне чужие люди. И до их горя мне нет дела. У меня все отлично! [3].

Сюжетная динамика диктуется вопросами, нарастающими как снежный ком – их задает себе сам читатель, «приговоренный» к насильственному восприятию. Напряжение нарастает, снижаясь в финальной точке, где манифестируется безразличие: «Появление каждого нового комментария становится своего рода “перипетией”, ибо меняет конфигурацию

не согласующихся между собой позиций» [6. С. 257]. Путь к катарсическому переживанию проложен драматургами через экспрессивные высказывания и их контрастную смену, а финальное равнодушие означает отнюдь не жестокость, скорее фиксирует усталость, психологическую защиту, порожденную страхом. Безразличие – закономерный финал любого неразрешенного конфликта, зависающего в отсутствие диалога. Документальная драма Греминой и Угарова стремительно вовлекает и не отпускает до самого финала. Пьеса построена на «скачках напряжения», когда голоса внутри виртуального мира сообщаются и сообщают о трагедии реального культурного диалога, утрате гуманизма, свидетельствуя о вине каждого, включенного в текст или постановку.

Вновь встает вопрос: зачем напоминать читателю о трагедии 1 сентября 2004 г.? Зачем травмировать его? Ответ кроется в особенностях «новой драмы», где нет ничего завуалированного, для авторов важно озвучивание травмы с целью ее изживания. Так, например, заглавия восьми частей, на которые разделена пьеса, представляют собой болевые точки, указывающие на травму каждого комментатора: «Запах мускуса», «Первое сентября», «Месть», «Хиджаб», «Легко сидеть за компом», «Заложник», «Out». Напряжение, концентрируясь в предельной точке, призвано трансформировать пассивный опыт в активный, указать на общую ответственность.

Авторы пьесы не снимают ответственность и с себя. При этом внутри текста их позиция не вербализуется (ноль-позиция) – расставив комментарии в определенном порядке, они как бы самоустраняются. Однако сосредоточение авторского голоса угадывается как раз в этом композиционном приеме смены реплик, не только озвучивающих разные позиции, но и передающих разные интонации и языковые регистры: грубые, агрессивные, избилующие непечатными выражениями; вкрадчиво-спокойные, использующие высокую лексику для героизации преступных действий; эмоциональные, сочувствующие, возмущенные; (не)искренне равнодушные; наивно-отстраненные, но точно попадающие в тему, как, например, одна из множества реплик, помещенная среди высказываний с оправданием убийств, и, напротив, декларирующая отказ от насилия:

№ 47. Я вчера пожалела мокрицу. Я вчера пожалела мокрицу. Мокрица ползла по стене, и мама сказала, что они хорошие. Мне так жалко стало мокрицу, которая, наверно, ползла к своему жениху, и я ее не стала убивать [5].

На первый взгляд хаотичной смене голосов, безусловно, присутствует авторская партитура.

Проблема существует, пока о ней говорят. Документальная пьеса «Сентябрь.doc» рассказывает не только о разрастающейся угрозе терроризма. В тексте кроется проблема, которая вряд ли изживет себя. На протяжении веков она становится причиной мировых конфликтов – это проблема диалога, в котором важно слушать, слышать и принимать Другого.

Так при помощи Другого в пьесе раскрывается ряд проблем как вечных, так и злободневных, ставится вопрос вины и безразличия. Точки напряжения, расставленные в соответствии с эстетикой документальной драмы, призваны травмировать читателя/зрителя средствами искусства. Эмпатическое переживание перерастает в рефлекссию о роли каждого отдельного субъекта в общей трагедии.

Список источников

1. Bennett J. The Aesthetics of Sense Memory // *Memory cultures: Memory, Subjectivity and Recognition*. New Brunswick; London : Transaction Publishers, 2006. P. 26–39.
2. Школина О.В. Изживание травмы: опыт документального театра // Сборник статей по материалам ежегодной научной студенческой конференции. Молодая филология – 2018. Пермь : Издательство ПГГПУ, 2018. С. 208–213.
3. Склез В.М. Восстановленная справедливость: документальный театр как суд над историей // Научный электронный журнал АРТИКУЛЬТ. 2013. № 11. С. 24–30.
4. Рождественская Е., Тартаковская И. В поисках этоса, в бегстве от пафоса: место аффекта в музее и вне его // Политика аффекта: музей как пространство публичной истории. М. : Новое литературное обозрение, 2019. С. 79–105.
5. Гремина Е. Угаров М. «Сентябрь.doc». URL: https://theatrelibrary.ru/files/u/ugarov/ugarov_gremina_281.doc
6. Шуников В.Л. Прецедент сетевой драмы: «Сентябрь.doc» М. Угарова и Е. Греминой // Ярославский педагогический вестник. 2012. № 1. С. 256–260.
7. Сентябрь.doc. сайт Театра.doc. URL: <https://teatrdoc.ru/performances/875/>

References

1. Bennett, J. (2006) The Aesthetics of Sense Memory. In: *Memory cultures: Memory, Subjectivity and Recognition*. New Brunswick; London: Transaction Publishers. pp. 26–39.

2. Shkolina, O.V. (2018) Izzhivanie travmy: opyt dokumental'nogo teatra [Overcoming Trauma: The Experience of Documentary Theatre]. In: *Sbornik statei po materialam ezhegodnoy nauchnoy studencheskoy konferentsii. Molodaya filologiya – 2018* [Collection of Articles Based on the Materials of the Annual Scientific Student Conference. Young Philology – 2018]. Perm: PSHPU. pp. 208–213.

3. Sklez, V.M. (2013) Vosstanovlennaya spravedlivost': dokumental'nyy teatr kak sud nad istoriey [Restorative Justice: Documentary Theatre as a Trial of History]. *Nauchnyi elektronnyi zhurnal ARTIKUL'T*. 11. pp. 24–30.

4. Rozhdestvenskaya, E. & Tartakovskaya, I. (2019) V poiskakh etosa, v begstve ot patosa: mesto affekta v muzee i vne ego [In Search of Ethos, Fleeing Pathos: The Place of Affect in the Museum and Beyond]. In: *Politika affekta: muzei kak prostranstvo publichnoi istorii* [The Politics of Affect: The Museum as a Space of Public History]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 79–105.

5. Gremina, E. & Ugarov, M. "*Sentyabr'.doc*" [September.doc]. [Online] Available from: https://theatre_library.ru/files/u/ugarov/ugarov_gremina_281.doc (Accessed: 26.06.2024).

6. Shunikov, V.L. (2012) Pretsedent setevoy dramy: "*Sentyabr'. doc*" M. Ugarova i E. Greminoï [The Precedent of Network Drama: "*September.doc*" by M. Ugarov and E. Gremina]. *Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik*. 1. pp. 256–260.

7. Teatr.doc. (n.d.) *Sentyabr'.doc* [September.doc]. [Online] Available from: <https://teatrdoc.ru/performances/875/> (Accessed: 26.06.2024).

Информация об авторе:

Нечаева А.Л. – научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Москва, Россия). E-mail: nasteknechal@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

A.L. Nechaeva, research fellow, Vladimir Dahl Russian State Literary Museum (Moscow, Russian Federation). E-mail: nasteknechal@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 17.07.2025.

The article was accepted for publication 17.07.2025.

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия

УДК 94(575)

doi: 10.17223/24099554/24/17

Визуализация внешнего мира (Рецензия на книгу: Голубев А.В. «Подлинный лик заграницы»: образ внешнего мира в советской политической карикатуре, 1922–1941 гг. М.: Институт российской истории РАН, 2018. 282 с.)

Сергей Сергеевич Медакин

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия, smedakin@hse.ru*

Аннотация. В рецензии рассматривается последний опубликованный труд историка культуры, ведущего научного сотрудника ИРИ РАН Александра Владимировича Голубева – монография «Подлинный лик заграницы: образ внешнего мира в советской политической карикатуре, 1922–1941 гг.», посвящённая исследованию советской внешнеполитической карикатуры эпохи Интербеллума. Выявляются основные методологические проблемы книги в контексте «визуального поворота» в гуманитарных науках конца XX – начала XXI в., определяется значимость работы А.В. Голубева для дальнейших исследований советской визуальности.



Ключевые слова: СССР, карикатура, внешняя политика, историческая имагология, международные отношения, репрезентация, визуальная история

Для цитирования: Медакин С.С. Визуализация внешнего мира (Рецензия на книгу: Голубев А.В. «Подлинный лик заграницы»: образ внешнего мира в советской политической карикатуре, 1922–1941 гг. М.: Институт российской истории РАН, 2018. 282 с.) // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 344–352. doi: 10.17223/24099554/24/17

Review

doi: 10.17223/24099554/24/17

Visualization of the outside world

(Book review: Golubev, A.V. (2018) "Podlinnyy lik zagranitsy": obraz vneshnego mira v sovetskoj politicheskoy karikature, 1922–1941 ["The Genuine Face of the Abroad": The Image of the Outside World in Soviet Political Cartoons, 1922–1941]. Moscow: Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences)

Sergey S. Medakin

HSE University, Moscow, Russian Federation, smedakin@hse.ru

Abstract. The review examines the latest published work of Alexander Vladimirovich Golubev, a cultural historian and leading researcher at the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, – the monograph *"The Genuine Face of the Abroad": The Image of the Outside World in Soviet Political Cartoons, 1922–1941* on Soviet foreign policy cartoons from the Interbellum period. The book under review represents one of the most significant works in domestic research on so-called "visual history" and continues to serve as a key reference for many specialists studying Soviet culture. In his monograph, Golubev conceptualizes the primary imagological phenomena in Soviet propaganda of the 1920s–1940s – ranging from the representations of capitalists and fascists to the use of animalistic imagery for creating original foreign policy cartoons. By drawing on an extensive base of archival sources, the author was able to identify the principal Soviet cartoonists who specialized in commenting

on international political events. The review highlights the main methodological issues of the monograph, particularly within the context of the extensive "visual turn" in the humanities in the late 20th and early 21st centuries. In addition to examining its methodological specificities, the review assesses the significance of Golubev's work for future studies of Soviet visual culture.

Keywords: USSR, caricature, foreign policy, historical imagology, international relations, representation, visual history

For citation: Medakin, S.S. (2025) Visualization of the outside world (Book review: Golubev, A.V. (2018) *"Podlinny lik zagranitsy": obraz vneshnego mira v sovetskoj politicheskoy karikature, 1922–1941* ["The Genuine Face of the Abroad": The Image of the Outside World in Soviet Political Cartoons, 1922–1941]. Moscow: Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences). *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 344–352. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/17

В 2024 г. Александру Владимировичу Голубеву, кандидату исторических наук, руководителю Центра по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН, могло бы исполниться 70 лет. Ученый стоял у истоков отечественной имагологии – в 1992 г. он основал научный семинар «Россия и мир» в ИРИ РАН, в рамках которого историки, культурологи, искусствоведы, социологи и т.д. представляли свои исследования исторических образов, а после публиковались в сборнике «Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия». В 2024 г. вышел девятый по счёту сборник «Россия и мир», теперь уже посвящённый памяти своего основателя [1].

Уже классической (особенно для исследователей советской визуальной культуры) стала его последняя опубликованная монография «Подлинный лик заграницы: образы внешнего мира в советской политической карикатуре, 1922–1941 гг.», посвящённая советской внешнеполитической карикатуре эпохи Интербеллума. Несмотря на то, что монография вышла в свет 7 лет назад и стала значимой работой в историографии советской визуальности, имеющихся рецензий на нее крайне мало – всего три. Они существенно отличаются друг от друга – рецензия Тимура Мухаматулина (кандидат исторических наук, научный сотрудник ИРИ РАН¹) [2] посвящена структурной и концептуальной критике монографии, рецензия Инги Желтиковой

¹ Здесь и далее указан статус исследователей на момент написания рецензии.

(кандидат философских наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой философии и культурологии ОГУ имени И.С. Тургенева) [3] является кратким обзором содержания «Подлинного лика...». Публикацию Людмилы Аляевой (кандидат исторических наук, доцент Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого) весьма сложно оценивать как полноценную рецензию, учитывая такие комментарии рецензента, как «(А.В. Голубев – *прим. С.М.*) классический представитель “академических кругов” современной российской науки» [4. С. 192] или «принадлежность автора к академической школе заметна даже в размере тиража в 500 экземпляров» [4. С. 193], не говоря о фактических ошибках, допущенных автором (Голубев не был профессором и доктором исторических наук, как отмечено в рецензии), и отсутствии анализа содержания монографии.

Наша рецензия скорее посвящена рефлексии об историографии и методологии А.В. Голубева при исследовании визуальных образов, нежели пересказу глав из его труда¹.

Тем не менее необходимо обозначить общее содержание анализируемой монографии: «Подлинный лик заграницы...» состоит из введения, пяти глав с заключением, а также масштабного приложения с текстами заседаний Наркомата иностранных дел, выступлений карикатуристов и предисловий к опубликованным в довоенные годы визуальным материалам. Источниковая база очень обширна – материалами исследования являются и опубликованные карикатуры, и политические документы, и источники личного происхождения (мемуары, дневники) художников-карикатуристов, а также материалы фондов РГАЛИ и ГАРФ.

Во введении монографии автор обозначает исследовательский фокус – он концентрируется на роли политической карикатуры в формировании восприятия внешнего мира, при этом подчёркивая специфику реципиентов карикатуры. Малограмотному населению РСФСР – довоенного СССР, для которого и выпускались карикатуры, требовалось объяснять и текстуально комментировать предмет изображения, что А.В. Голубев понимает как «архаизацию» культуры в целом [5. С. 27].

¹ Для подробного ознакомления с содержанием монографии А.В. Голубева рекомендуем обратиться к рецензии И.В. Желтиковой.

Первая глава, посвящённая специфике советской карикатуры, развивает тезисы введения – неграмотное население запрашивало больше карикатур в журналах и газетах [5. С. 32], чтобы понимать суть происходящего в мире, и ЦК ВКП(б) отозвался на запрос [5. С. 35], активно взявшись за производство пропаганды. Главы 2–4 посвящены основным международным акторам, с которыми взаимодействовал Советский Союз в 1920–1940-е гг. – соседним европейским государствам, странам Оси, странам «капиталистического Запада», включая США. В них автор пошагово анализирует изменение репрезентаций крупнейших политиков и политических объединений, в особенности помещая образы в существовавшие шаблоны «капиталистов», «милитаристов» и «фашистов», сформированные советской пропагандой в 1920-х гг. Финальная глава посвящена традиции использования зооморфных образов в политических карикатурах и её частичной трансформации в практиках советских карикатуристов (например – за государством теперь не закреплён животный образ, и потому встречаются разные репрезентативные вариации «персонификаций» [5. С. 179]).

Возвращаясь к цели рецензии, можно сказать, что монография А.В. Голубева, посвящённая советской политической карикатуре 1922–1941 гг., весьма успешно оказалась на гребне волны «визуального поворота» в исторической науке, который при этом не был затронут и концептуализирован автором в монографии. Фокусируясь именно на содержании карикатур, ученый никак не встраивает свою работу (как и свою методологию) в общий дискурс исследований визуального в исторической науке. Исследователь указывает, что «в последние годы исследователи говорят о своеобразном “визуальном повороте”» [5. С. 12] в отечественной и зарубежной историографии, без обозначения основных специалистов и их работ – вместо этого приведена ссылка на публикацию в сборнике статей, посвящённую анализу западной историографии [5. С. 12]. Автор заостряет внимание на месте политической карикатуры в социальной истории и истории повседневности [5. С. 12–13], хотя основной фокус его монографии связан именно со спецификой карикатуры как способа репрезентации внешнеполитических событий и «конструирования» восприятия внешнего мира для населения. Методологию ученого, исходя из фокуса на конструировании образов в карикатуре и анализе восприятия

«другого» / «чужого» советским населением, можно отнести к области исторической имагологии [6], которая, благодаря междисциплинарному базису, отлично подходит для исследований графического искусства.

Историографическая рамка исследования лишь косвенно затрагивает работы историков¹ – восприятие политической карикатуры в исследовательском поле концептуализируется через публикации философов и мемуары художников. А.В. Голубев указывает, что «искусствоведы давно занимаются историей советской карикатуры 20–30-х годов» [5. С. 7], но анализируют агитацию «не столько как целостный феномен, сколько как творчество отдельных художников» [5. С. 7]. Подобная ситуация была характерна для советского искусствоведения, когда художники-карикатуристы или журналисты выступали в авангарде исследований карикатуры [7], в то время как российские исследования советской агитации ориентированы на исследования «общего», нежели «частного» [8]. В противовес, но не в укор автору можно представить историографический и методологический обзор в такой же классической для визуальных исследований монографии Е.А. Вишленковой [9]. Также весьма странно, учитывая масштаб и популярность «визуального поворота» с начала 1990-х гг., что в списке литературы представлено всего шесть работ на иностранных языках, из которых одна – перевод на польский язык монографии де Лазари и О. Рябова, упомянутой А.В. Голубевым в списке литературы на русском языке. Никак не затрагиваются работы англоязычных исследователей советской агитации или культуры (Дж. Этти, Р. Стайтс), европейских, прежде всего, немецких специалистов по визуальной истории или советской агитационной политике (Я. Плампер, Й. Йегер, Х. Киттштайнер).

Продолжая искусствоведческий аспект, можно констатировать, что журнальная карикатура, являясь одним из вариантов политической коммуникации, остаётся частью графического искусства. По этой причине хотелось бы увидеть краткое резюме стиля художников, их специфики и отличительных черт, иначе произведения карикатуристов воспринимаются конвейерными, что совершенно не

¹ Из представленных во введении можно упомянуть работы С.Н. Зверевой, Т.А. Филипповой, А.Г. Голикова, И.Б. Орлова и И.С. Рыбаченок, см.: [5. С. 12–16].

так. По этой же причине (особенно в первой главе) не хватает рассказа о том, кто стоял за производством и распространением агитационных материалов, – А.В. Голубев сообщает об основных художниках-карикатуристах эпохи, но не указывает их место в истории отечественного искусства, не помещает раннесоветских художников в контекст дореволюционной визуальной агитации и т.д.

Также в монографии не хватает хотя бы краткого анализа системы, в которой политическая карикатура функционировала – агитпропа, через который проходили все материалы советского искусства, в особенности политически ангажированные. В исследуемые А.В. Голубевым годы в Советском Союзе уже сформировалась определённая система, в которой находились заказчики, цензоры, исполнители и реципиенты, которые могли привносить в карикатуры собственные штрихи [10. С. 200]. На содержание и процесс создания последующих карикатур влияло множество факторов – от текста технического задания в редакцию журнала до письма читателя с просьбой включить в выпуск определённую тему – эта практика станет весьма популярной в послевоенное время, но в 1930-х гг. она также существовала [11. С. 74].

Подводя итоги рецензии, следует заметить, что даже классическая монография известного и авторитетного исследователя может содержать «белые пятна». Тем не менее общий высокий уровень работы А.В. Голубева не подлежит сомнению. «Подлинный лик заграницы...» отвечает на многие вопросы исследователей визуальной культуры и исторической имагологии, однако на представленные в этой рецензии вопросы и предложения, полагаю, будет суждено ответить уже ученикам А.В. Голубева и другим исследователям.

Список источников

1. Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия и культурных контактов. М. : Институт российской истории РАН, 2024. Вып. 9: Памяти Александра Владимировича Голубева. 436 с.
2. Мухаматулин Т.А. Страны, звери и советское общество. Рец.: Голубев А.В. «Подлинный лик заграницы»: Образ внешнего мира в советской политической карикатуре, 1922–1941 гг. // Историческая экспертиза. 2019. № 1 (18). С. 271–275.
3. Желтикова И.В. Рец. на кн.: А.В. Голубев. «Подлинный лик заграницы»: образ внешнего мира в советской политической карикатуре, 1922–1941 // Российская история. 2019. № 2. С. 180–184.

4. *Аляева Л.А.* Рецензия на монографию: Голубев А.В. Подлинный лик заграницы: образ внешнего мира в советской политической карикатуре, 1922–1941 гг. // Гуманитарный вестник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения. 2019. № 1 (14). С. 191–196.

5. *Голубев А.В.* «Подлинный лик заграницы»: образ внешнего мира в советской политической карикатуре, 1922–1941 гг. М.: Институт российской истории РАН, 2018. 282 с.

6. *Поришнев О.С.* Историческая имагология в современной российской историографии // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в XVIII–XXI вв. Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2014. С. 126–129.

7. *Абрамский И.П.* Смех сильных. О художниках журнала «Крокодил». М.: Искусство, 1977. 320 с.

8. *Плунгян Н.В.* Женские образы в массовой агитации времен революции и гражданской войны: от символа к маске // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2017. № 6 (116). С. 88–104.

9. *Вишленкова Е.А.* Визуальное народоведение Российской империи, или Увидеть русского дано не каждому. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 381 с.

10. *Плеханов А.А.* Журнал «Крокодил» 1940-х годов как пространство развития советского комикс-стрипа // Шаги/Steps. 2023. Т. 9, № 3. С. 192–217.

11. *Киянская О.И., Фельдман Д.М.* К истории советской сатирической печати 1930-х годов: журнал «Крокодил» // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2014. № 12 (134). С. 71–85.

References

1. Institute of Russian History, RAS. (2024) *Rossiya i mir glazami drug druga: iz istorii vzaimovospriyatiya i kul'turnykh kontaktov* [Russia and the World Through Each Other's Eyes: From the History of Mutual Perception and Cultural Contacts]. Is. 9. Moscow: Institute of Russian History, RAS.

2. Mukhamatulin, T.A. (2019) *Strany, zveri i sovetskoe obshchestvo*. Rets.: Golubev A.V. "Podlinnyi lik zagranitsy": Obraz vneshnego mira v sovetskoi politicheskoi karikature, 1922–1941 gg. [Countries, Beasts and Soviet Society. Book Review: Golubev, A.V. ["The Genuine Face of the Abroad": The Image of the Outside World in Soviet Political Cartoons, 1922–1941]. *Istoricheskaya ekspertiza*. 1 (18). pp. 271–275.

3. Zheltikova, I.V. (2019) Rets. na kn.: A.V. Golubev. "Podlinny lik zagranitsy": obraz vneshnego mira v sovetskoy politicheskoy karikature, 1922–1941 [Book Review: Golubev, A.V. ["The Genuine Face of the Abroad": The Image of the Outside World in Soviet Political Cartoons, 1922–1941]. *Rossiiskaya istoriya*. 2. pp. 180–184.

4. Alyaeva, L.A. (2019) Retsenziya na monografiyu: Golubev A.V. "Podlinny lik zagranitsy": obraz vneshnego mira v sovetskoy politicheskoy karikature, 1922–1941 gg. [Book Review: Golubev, A.V. ["The Genuine Face of the Abroad": The Image of the Outside World in Soviet Political Cartoons, 1922–1941]. *Gumanitarnyi vestnik*

Voennoi akademii Raketnykh voisk strategicheskogo naznacheniya. 1 (14). pp. 191–196.

5. Golubev, A.V. (2018) *"Podlinnyy lik zagranitsy": obraz vneshnego mira v sovetskoj politicheskoy karikature, 1922–1941 gg.* ["The Genuine Face of the Abroad": The Image of the Outside World in Soviet Political Cartoons, 1922–1941]. Moscow: Institute of Russian History, RAS.

6. Porshneva, O.S. (2014) *Istoricheskaya imagologiya v sovremennoi rossiiskoi istoriografii* [Historical Imagology in Modern Russian Historiography]. In: *Ural industrial'nyi. Bakuninskie chteniya: Industrial'naya modernizatsiya Urala v XVIII–XXI vv.* [The Industrial Urals. Bakunin Readings: Industrial Modernization of the Urals in the 18th–21st Centuries]. Yekaterinburg: Izdatel'stvo UMTs UPI. pp. 126–129.

7. Abramskiy, I.P. (1977) *Smekh sil'nykh. O khudozhnikakh zhurnala "Krokodil"* [The Laughter of the Strong. On the Artists of the Magazine "Krokodil"]. Moscow: Iskusstvo.

8. Plungyan, N.V. (2017) *Zhenskie obrazy v massovoi agitatsii vremen revolyutsii i grazhdanskoj voyny: ot simvola k maske* [Female Images in Mass Propaganda of the Revolution and Civil War Period: From Symbol to Mask]. *Neprikosnovennyy zapas: debaty o politike i kul'ture*. 6 (116). pp. 88–104.

9. Vishlenkova, E.A. (2011) *Vizual'noe narodovedenie Rossiiskoy imperii, ili Uvidet' russkogo dano ne kazhdomu* [Visual Ethnography of the Russian Empire, or Not Everyone is Given to See the Russian]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

10. Plekhanov, A.A. (2023) *Zhurnal "Krokodil" 1940-kh godov kak prostranstvo razvitiya sovetskogo komiks-stripa* [The Magazine "Krokodil" of the 1940s as a Space for the Development of the Soviet Comic Strip]. *Shagi/Steps*. 9 (3). pp. 192–217.

11. Kiyanskaya, O.I. & Fel'dman, D.M. (2014) *K istorii sovetskoi satiricheskoy pechati 1930-kh godov: zhurnal "Krokodil"* [On the History of the Soviet Satirical Press of the 1930s: The Magazine "Krokodil"]. *Vestnik RGGU. Seriya: Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul'turologiya*. 12 (134). pp. 71–85.

Информация об авторе:

Медакин С.С. – приглашённый преподаватель Школы исторических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). E-mail: smedakin@hse.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

S.S. Medakin, visiting lecturer, HSE University (Moscow, Russian Federation). E-mail: smedakin@hse.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 2.09.2025.

The article was accepted for publication 2.09.2025.

Рецензия

УДК 82.091+821.161.1

doi: 10.17223/24099554/24/18

**Новая глава из «Хроники русского» (Рецензия на книгу:
Briefe Aleksandr I. Turgenevs an Vasilij A. Žukovskij
1826–1831 / Siegel H. (Hg.). Köln-Weimar-Wien:
Böhlau Verlag, 2025. 532 p.)**

*Наталья Егоровна Никонова¹
Валерия Сергеевна Шарыпова²*

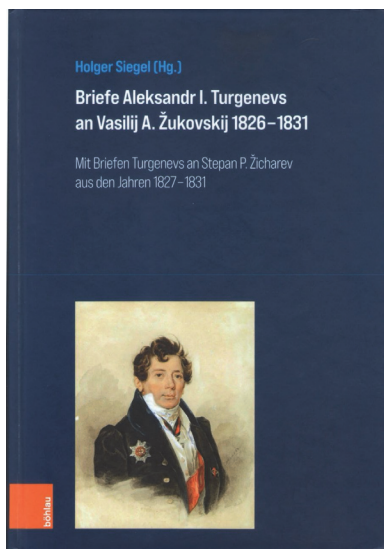
^{1, 2} Томский государственный университет, Томск, Россия

¹ nikonat2002@yandex.ru

² sharypova_v@bk.ru

Аннотация. В рецензии обрисовывается контекст научных интересов немецкого слависта профессора Хольгера Зигеля и дается характеристика подготовленной им новой книги «Письма Александра Ивановича Тургенева к Василию Андреевичу Жуковскому 1826–1831 гг.». Оценивается источниковая база книги (круг архивных документов). Раскрывается общее содержание публикуемых писем в контексте биографии В.А. Жуковского и А.И. Тургенева и русско-европейских культурных связей 1820-х – начала 1830-х гг.

Ключевые слова: Александр Иванович Тургенев, Василий Андреевич Жуковский, письма, переписка, русско-европейские культурные связи, путешествие, травелог, имагология



Источник финансирования: исследование проведено в Томском государственном университете в рамках проекта Российского научного фонда № 24-18-00386 «История русской литературной критики первой половины XIX века: В.А. Жуковский в прижизненной критической рецепции».

Для цитирования: Никонова Н.Е., Шарыпова В.С. Новая глава из «Хроники русского» (Рецензия на книгу: Briefe Aleksandr I. Turgenevs an Vasilij A. Žukovskij 1826-1831 / Siegel H. (Hg.). Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2025. 532 p.) // Имагология и компаративистика. 2025. № 24. С. 353–364. doi: 10.17223/24099554/24/18

Review

doi: 10.17223/24099554/24/18

**A new chapter from *The Chronicle of a Russian*
(Book review: Siegel, H. (Hg.) (2025) *Briefe Aleksandr I. Turgenevs an Vasilij A. Žukovskij 1826–1831*.
Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag)**

*Natalia Ye. Nikonova*¹
*Valeria S. Sharypova*²

^{1, 2} Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

¹ nikonat2002@yandex.ru

² sharypova_v@bk.ru

Abstract. The review outlines the context of the scientific interests of the German Slavist Professor Holger Siegel and describes his new book, *Letters of Alexander Ivanovich Turgenev to Vasily Andreevich Zhukovsky 1826–1831*. The source base of the book (a range of archival documents) is assessed. The general content of the published letters is revealed in the context of Zhukovsky's and Turgenev's biographies and Russian-European cultural ties of the 1820s – early 1830s.

Keywords: Alexander I. Turgenev, Vasily A. Zhukovsky, letters, correspondence, Russian-European cultural relations, travel, travelogue, imagology

Financial support: The research was conducted at Tomsk State University and supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-18-00386: History of Russian literary criticism of the first half of the 19th century: Vasily Zhukovsky in lifetime critical reception.

For citation: Nikonova, N.Ye. & Sharypova, V.S. (2025) A new chapter from *The Chronicle of a Russian* (Book review: Siegel, H. (Hg.) (2025) *Briefe Aleksandr I. Turgenyevs an Vasilij A. Žukovskij 1826–1831*. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag). *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 24. pp. 353–364. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/24/18

В середине 2025 г. в немецко-австрийском издательстве «Бёлау» (Böhlau Verlag) вышла в свет новая книга Хольгера Зигеля (Holger Siegel) «Письма Александра Ивановича Тургенева к Василию Андреевичу Жуковскому 1826–1831 гг.» (*Briefe Aleksandr I. Turgenyevs an Vasilij A. Žukovskij 1826–1831*) [1], напечатанная благодаря поддержке Фонда Шульце-Тиргена (Privatfond Schulze-Thirgen). Свой труд автор посвятил памяти известных немецких славистов Ханса Роте (Hans Rothe, 1928–2021) и Герхарда Гиземанна (Gerhard Giesemann, 1937–2021), внесших большой вклад в изучение русско-немецких и русско-европейских культурных связей и ушедших из жизни почти в одно время.

Хольгер Зигель защитил докторскую диссертацию в 1998 г. в университете города Гисен, работа была посвящена личности, биографии и творческому наследию А.И. Тургенева, который и впоследствии остался главным предметом интереса ученого. На ее основе в 2001 г. в издательстве «Бёлау» была напечатана книга «Александр Иванович Тургенев (1784–1845). Русский просветитель» (*Aleksandr Ivanovič Turgenyev (1784–1845). Ein russischer Aufklärer*) [2]. До 2010 г. доктор Зигель преподавал в нескольких университетах Германии (в Гермерсгейме, Гисене, Берлине). Его труды были посвящены не только русской, но и польской, македонской, сербской литературе. Более 25 лет автор сотрудничал с редакцией «Полного собрания сочинений и писем» В.А. Жуковского. При участии доктора Зигеля в 2021–2022 гг. была издана переписка поэта с его немецкими друзьями – веймарским канцлером Ф. фон Мюллером [3] и дипломатом А. фон Мальтицем [4].

Объектом постоянного внимания немецкого слависта более четверти века является наследие А.И. Тургенева, русского европейца, культуртрегера и представителя одной из известнейших дворянских фамилий. В его составе доминирующее место занимает эпистолярный: Тургенев любил и умел писать письма, которые под его пером превращались в хронику русской и европейской жизни – политической,

общественной, культурной. Среди его многочисленных корреспондентов одним из главных был друг юности В.А. Жуковский. Переписка с ним началась в 1802 г. и продолжалась до смерти Тургенева в 1845 г. Значительную часть писем Жуковского издали еще в 1895 г. И.А. Бычков и П.И. Бартенев [5], остальные продолжают публиковаться в составе «Полного собрания сочинений и писем» (т. 15–19) поэта [6–10]. Однако ответных писем Тургенева было известно до последних десятилетий очень мало. И здесь подлинным прорывом выступили книги доктора Зигеля: первая вышла в 2012 г. и объединила под своей обложкой как прежде опубликованные, так и впервые напечатанные письма 1802–1829 гг. [11], вторая была издана в 2019 г. и знакомила с неизвестными письмами 1830–1845 гг. [12]. Они явились ценнейшими источниками для истории литературы и общественной жизни России и Европы первой половины XIX в., но не охватили всего существующего материала.

Архив семьи Тургеневых претерпел сложную судьбу. После смерти младших братьев он сосредоточился в руках Н.И. Тургенева во Франции. Его сын П.Н. Тургенев в начале XX столетия передал архив в Императорскую Академию наук [13], из библиотеки которой в советский период эти материалы перешли в хранилище Пушкинского Дома. Здесь архив лежал неразобраным до конца XX в. Существенную часть семейных бумаг составляла переписка А.И. Тургенева. Еще при передаче в Академию наук из ее состава были выделены письма к Жуковскому (после смерти друга поэт вернул их Н.И. Тургеневу), сгруппированные в две большие папки (старые шифры: № 4713 и 4714). Эти письма, как и многие другие подборки, предполагались к публикации и были снабжены в начале XX в. машинописными копиями. Именно они составили главный корпус материала для двух книг доктора Зигеля [11–12].

Однако из состава писем к Жуковскому архивистами Академии наук был выделен большой блок, относящийся преимущественно к 1826–1831 гг. В жизни братьев Тургеневых этот период был, пожалуй, самым сложным: они оказались за границей, а Николая осудили на смертную казнь. Вероятно, по причине цензурной сложности письма хранились отдельно (старые шифры: № 4763–4768 – до 1825 г.; № 4769–4787 – 1826–1831 гг.) и были мало кому известны из истори-

ков и литературоведов. С присоединением отдельных писем из других единиц хранения РО ИРЛИ как фонда Тургеневых (ф. 309), так и коллекции Г.В. Юдина (ф. 388) и А.Ф. Онегина (так называемый «шифрованный фонд» № 28279) – к сожалению, информация о последних указана в книге неверно [1. С. 23] – они составили корпус рецензируемого издания. Всего в него вошло 117 писем к Жуковскому (некоторые из них были адресованы также С.П. Жихареву, К.Я. Булгакову и П.А. Вяземскому) 1826–1835 гг.

Публикуемые письма чрезвычайно важны не только для реконструкции семейной истории братьев Тургеневых, но и для понимания биографии Жуковского, в том числе в аспекте его литературной и общественной репутации. К моменту восстания 14 декабря 1825 г. он не только давно был принят в придворном кругу, но и начал исполнять обязанности наставника при великом князе Александре Николаевиче. К своей должности, как и к царской фамилии, Жуковский относился трепетно и чрезвычайно ответственно – при этом многие его товарищи оказались напрямую или в какой-то форме связаны с заговорщиками. Среди них был и Н.И. Тургенев. Сюжет с его следственным делом (пристрастным и полным натяжек), приговором, вынужденной эмиграцией (вначале в Англию), хлопотами по новому расследованию и пересмотру приговора (оказавшимися безуспешными), достижением компромисса в виде негласного отказа от преследований и разрешения жить на континенте – этот сюжет определил основное содержание переписки с А.И. Тургеневым в 1826–1831 гг. Оказавшись между молотом и наковальней, между гневом императора и возможным осуждением друзей, Жуковский вполне подтвердил репутацию нравственно цельного человека: несогласие с идеями и действиями заговорщиков не помешало ему всеми возможными способами защищать осужденных и как-либо помогать им, даже ставя себя под удар [14. С. 83–90].

Основные документы, связанные с ходатайствами поэта, были опубликованы Н.Ф. Дубровиным более века назад [15], причем он в освещении дела Н.И. Тургенева воспользовался материалами семейного тургеневского архива, и с тех пор их корпус почти не расширялся. В своей первой книге [11] Х. Зигель также просто перепечатал материалы Н.Ф. Дубровина. Значительно расширилось наше представление о деятельности Жуковского лишь с выходом 16–17 томов

«Полного собрания сочинений и писем» [7–8], где он во впервые публикуемых письмах к А.И. Тургеневу рассказывал о трудном ходе попыток облегчить участь его брата. Однако и это был взгляд на происходящее только с одной точки зрения. Благодаря новой книге доктора Зигеля мы теперь имеем возможность увидеть эти события в восприятии другой стороны, безусловно, ангажированной, но очень чуткой к жизненным обстоятельствам друга юности. Из публикуемых писем мы многое узнаем не только о братьях Тургеневых, но и о литературных и педагогических занятиях Жуковского, о перипетиях его отношений с царской семьей и придворным кругом, о его старых и новых знакомствах в Европе и в России. Особый интерес здесь имеет, безусловно, известность Жуковского в литературных кругах Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании: встречаясь и общаясь с литераторами и культурными деятелями этих стран, будь то Шарль (Карл) Бонштеттен, Томас Мур, Фридрих фон Мюллер или Франсуа Гизо, Тургенев обязательно рассказывал им о русском поэте и знакомил с его произведениями, новыми или старыми.

Но, конечно, подробнее всего публикуемые письма рисуют жизнь Тургенева, который после возвращения в Россию в марте 1826 г. провел несколько месяцев в хлопотах по делам старшего и младшего братьев, стал свидетелем отъезда на лечение за границу больного Жуковского и смерти Н.М. Карамзина. 13 июля 1826 г. Тургенев отправился вслед за другом в Германию, взяв под свою опеку больного брата Сергея. Первые два публикуемые в книге письма от конца июля посвящены как раз предполагаемой встрече, состоявшейся в Маринбаде в начале августа. Вскоре братья вернулись в Дрезден, где к ним 29 августа (10 сентября) присоединился Жуковский. Следующие три публикуемые Зигелем письма относятся уже ко времени их расставания: прожив вместе в Дрездене осень, зиму и почти всю весну, друзья в середине мая прибыли в Париж, где 20 мая (1 июня) умер Сергей. Далее Жуковский поехал в Германию, где закончил курс лечения на водах, и затем в октябре 1827 г. вернулся в Россию. Тургенев также провел в Германии август, сентябрь и начало октября, а затем вновь поехал в Париж. Его письма с 9 (21) октября 1827 г. по 18 (30) января 1828 г. (№ 6–20) представляют собой хронику французской политической и культурной жизни, сплетенную с тяжелыми переживаниями

о смерти младшего брата и участии брата старшего, жившего в одиночестве в Лондоне (большие выписки из его писем Тургенев регулярно отправлял Жуковскому). Отдельный сюжет здесь составили пребывание в Париже Генриетты Разумовской, до этого заботившейся о Николае в Лондоне, и ее смерть 17 (29) декабря 1827 г.

В конце 1827 г. Тургенев получил от российских властей разрешение на посещение Великобритании, куда и прибыл в феврале 1828 г. В Лондоне он встретился с братом, рассказы о котором сразу же наполнили письма к Жуковскому (№ 21–35). Здесь он провел полгода, активно интересуясь малейшими подробностями политической и интеллектуальной жизни. Выписки из прочитанных английских книг и брошюр, рассказы о парламентских слушаниях, новых законах, партийной борьбе перемежаются в его письмах к Жуковскому сообщениями о местных музеях и салонах, о посещенных лекциях и о новых знакомствах в среде литераторов и ученых. В свое время М.П. Алексеев воспроизвел в своей статье [16. С. 326–349] небольшие фрагменты из дневника и писем Тургенева этой поры, В.С. Киселев недавно немного расширил этот контекст [17], однако только в книге доктора Зигеля мы впервые найдем подробные и полные описания английских впечатлений, которые, заметим, автор предназначал не только приватному чтению адресата, но и возможной печати в рамках продолжения начатой в «Московском телеграфе» «Хроники русского».

Почувствовав, что брат Николай не нуждается в постоянной поддержке (июль–сентябрь 1828 г. тот провел на острове Джерси), Тургенев поддался своим привычкам путешественника и провел довольно много времени в странствиях по острову: в июле–октябре 1828 г. он посетил Шотландию, в январе 1829 г. съездил в Бат и Бристоль, а также много колесил в окрестностях Лондона. Его письма этого периода (№ 36–38, 45 и др.) являются развернутыми травелогомами со множеством колоритных описаний природы, достопримечательностей, известных и рядовых местных обитателей, обществ, учебных заведений, с бытовыми анекдотами и экскурсами в историю и словесность. Самыми известными литературными знакомствами этого периода стали Вальтер Скотт и Томас Мур.

В начале 1829 г. сошлись два противоположных по духу события: 16 (28) февраля умерла А.А. Воейкова, в которую Тургенев был влюб-

лен, но зато в деле Николая забрезжила возможность подвижек. Стремясь не упустить эту возможность, 6 (18) апреля он выехал из Лондона, чтобы успеть в мае–июне на аудиенцию к императору, который должен был посетить Варшаву и Берлин. Путешествие оказалось долгим и насыщенным: Тургенев проехал через Брюссель, Антверпен, Гаагу, Амстердам, посетил местные храмы и музеи, полюбовался живописью Рубенса и Ван-Дейка (письма № 56–57), а потом вновь посетил немецкие города – Утрехт, Мюнстер, Эйзенах, Эрфурт, Веймар, где виделся и беседовал с Гете, Лейпциг и Дрезден. В Берлине он прожил с конца мая по конец июля, неделю в июне провел с Жуковским, вместе с ним был принят императором и передал оправдательные документы по делу Николая – как вскоре выяснилось, не помогшие пересмотреть смертный приговор, но способствовавшие негласному компромиссу (в 1831 г. ему не стали препятствовать в переезде в Париж). Эти планы и надежды в письмах (№ 58–70) из Германии соединяются с насыщенными экскурсами в местную интеллектуальную жизнь (наука, философия, литература, журналистика).

С августа 1829 г. по декабрь 1830 г. Тургенев провел преимущественно в Париже (кроме путешествия по Франции, Испании и Швейцарии в июле–августе 1830 г.), где неизменно был в гуще общественных и культурных движений: среди персонажей его писем этого периода (№ 71–105) Гизо, Кювье, мадам Рекамье, мадам Ансело, Сен-Олер, Шатобриан, Стендаль, Бенжамен Констан, Проспер Мериме и множество других, своему адресату он сообщает подробную хронику июльской революции и ее последствий.

Финалом книги выступили письма января–апреля 1831 г. из Лондона (№ 106–115), куда Тургенев отправился к брату. Здесь возобновились старые знакомства и добавились новые (Брум, маркиз Лансдоун, Дино, Талейран и др.), а более консервативная жизнь Британии выступила контрастом к политическим бурям Франции.

Последние два публикуемые письма лишены массивного контекста и представляют эпизоды из пребывания Тургенева в Москве вскоре после возвращения из-за границы (июль 1831 г., № 116) и в Париже осенью 1835 г. (№ 117).

Богатство наблюдений, интеллектуальная насыщенность и дар повествования, присущие письмам Тургенева, включали их в ту «Хронику русского», которую автор создавал всю свою жизнь, но которая

оказалась известна современникам лишь в немногих извлечениях. К сожалению, и к современному читателю эти интереснейшие документы пришли только спустя без малого два века. Не вдаваясь в обсуждение эдических принципов и текстологического качества книги, подготовленной Хольгером Зигелем, стоит поприветствовать само ее появление, восполняющее существенную лакуну в биографии Тургенева и Жуковского, в панораме русско-европейских общественных и культурных связей и, конечно, в истории отечественной словесности.

Список источников

1. Briefe Aleksandr I. Turgenyevs an Vasilij A. Žukovskij 1826–1831 / Siegel H. (Hg.). Köln; Weimar; Wien : Böhlau Verlag, 2025. 532 S.
2. Siegel H. Aleksandr Ivanovič Turgenyev (1784–1845). Ein russischer Aufklärer. Köln; Weimar; Wien : Böhlau Verlag, 2001. 526 S.
3. Переписка В.А. Жуковского и Ф. фон Мюллера: 1828–1848. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2021. 248 с.
4. Переписка В.А. Жуковского и А. фон Мальтица 1822–1851 гг. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2022. 216 с.
5. Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М. : Университетская тип., 1895. 324 с.
6. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. М. : Издательский дом ЯСК, 2018. Т. 15. 1088 с.
7. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. М. : Издательский дом ЯСК, 2019. Т. 16. 1152 с.
8. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. Томск : Издательство Томского государственного университета, 2023. Т. 17, полутом 1. 804 с.
9. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. Томск : Издательство Томского государственного университета, 2023. Т. 17, полутом 2. 832 с.
10. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. Томск : Издательство Томского государственного университета, 2025. Т. 18, полутом 1. 788 с.
11. Der Briefwechsel zwischen Aleksandr Ivanovič Turgenyev und Vasilij Andreevič Žukovskij aus den Jahren 1802 bis 1829 / Siegel H. (Hg.). Köln; Weimar; Wien : Böhlau Verlag, 2012. 712 S.
12. Der Briefwechsel zwischen Aleksandr Ivanovič Turgenyev und Vasilij Andreevič Žukovskij 1830–1845 / Siegel H. (Hg.). Köln; Weimar; Wien : Böhlau Verlag, 2019. 540 S.

13. Фомин А.А. Петр Николаевич Тургенев и его дар русской науке. 1853–1912. Материалы для биографии // Отчет о деятельности ОРЯС Академии наук за 1912 год. СПб. : Тип. Импер. Акад. наук, 1912. С. 1–66 (III пагинации).

14. Киселев В.С. Жуковский в институциональной истории русской литературы первой половины XIX века // Проблемы метода и жанра : материалы Всероссийской научной конференции в честь 100-летия профессора, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии РСФСР по науке Фаины Зиновьевны Кануновой (1922–2009). Томск : Изд-во Том. ун-та, 2023. С. 60–99.

15. Дубровин Н.Ф. Василий Андреевич Жуковский и его отношения к декабристам // Русская старина. 1902. Т. 110, № 4. С. 45–119.

16. Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи: XVIII век – первая половина XIX в. М. : Наука, 1982. 864 с.

17. Киселев В.С. Визит А.И. Тургенева к Вальтеру Скотту в 1828 г. (по материалам неопубликованных писем к В.А. Жуковскому) // Творчество Вальтера Скотта в пространстве мировой культуры. Томск : Издательство Томского государственного университета, 2023. С. 36–47.

References

1. Siegel, H. (Hg.) (2025) *Briefe Aleksandr I. Turgenevs an Vasilij A. Žukovskij 1826–1831*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag.

2. Siegel, H. (2001) *Aleksandr Ivanovič Turgenev (1784–1845). Ein russischer Aufklärer*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag.

3. Zhukovskiy, V.A. & Müller, F. von. (2021) *Perepiska V.A. Zhukovskogo i*

4. *F. fon Myüllera: 1828–1848* [Correspondence of V.A. Zhukovsky and F. von Müller: 1828–1848]. Tomsk: Tomsk State University.

5. Zhukovskiy, V.A. & Maltitz, A. von. (2022) *Perepiska V.A. Zhukovskogo i A. fon Mal'titsa 1822–1851 gg.* [Correspondence of V.A. Zhukovsky and A. von Maltitz 1822–1851]. Tomsk: Tomsk State University.

6. Zhukovskiy, V.A. (1895) *Pis'ma V.A. Zhukovskogo k Aleksandru Ivanovichu Turgenevu* [Letters from V.A. Zhukovsky to Aleksandr Ivanovich Turgenev]. Moscow: Universitetskaya tip.

7. Zhukovskiy, V.A. (2018) *Polnoe sobranie sochineny i pisem: v 20 t.* [Complete Collection of Works and Letters: in 20 vols]. Vol. 15. Moscow: Izdatel'sky dom YaSK.

8. Zhukovskiy, V.A. (2019) *Polnoe sobranie sochineny i pisem: v 20 t.* [Complete Collection of Works and Letters: in 20 vols]. Vol. 16. Moscow: Izdatel'sky dom YaSK.

9. Zhukovskiy, V.A. (2023) *Polnoe sobranie sochineny i pisem: v 20 t.* [Complete Collection of Works and Letters: in 20 vols]. Vol. 17 (1). Tomsk: Tomsk State University.

10. Zhukovskiy, V.A. (2023) *Polnoe sobranie sochineny i pisem: v 20 t.* [Complete Collection of Works and Letters: in 20 vols]. Vol. 17 (2). Tomsk: Tomsk State University.

11. Zhukovskiy, V.A. (2025) *Polnoe sobranie sochineny i pisem: v 20 t.* [Complete Collection of Works and Letters: in 20 vols]. Vol. 18 (I). Tomsk: Tomsk State University.

12. Siegel, H. (Hg.) (2012) *Der Briefwechsel zwischen Aleksandr Ivanovič Turgenev und Vasilij Andreevič Žukovskij aus den Jahren 1802 bis 1829.* Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag.

13. Siegel, H. (Hg.) (2019) *Der Briefwechsel zwischen Aleksandr Ivanovič Turgenev und Vasilij Andreevič Žukovskij 1830-1845.* Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag.

14. Fomin, A.A. (1912) Petr Nikolaevich Turgenev i ego dar russkoi nauke. 1853-1912. Materialy dlya biografii [Petr Nikolaevich Turgenev and His Gift to Russian Science. 1853-1912. Materials for a Biography]. In: *Otchet o deyatel'nosti ORYaS Akademii nauk za 1912 god* [Report on the activities of the ORLL of the Academy of Sciences for 1912]. Saint Petersburg: Tip. Imper. Akad. nauk. pp. 1–66 (III pagination).

15. Kiselev, V.S. (2023) [Zhukovsky in the Institutional History of Russian Literature in the First Half of the 19th Century]. *Problemy metoda i zhanra* [Problems of Method and Genre]. Proceedings of the All-Russian Conference in Honor of the 100th Anniversary of Professor, Honored Scientist, Laureate of the State Prize of the RSFSR in Science Faina Zinovievna Kanunova (1922–2009)]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 60–99. (In Russian).

16. Dubrovin, N.F. (1902) Vasilij Andreevich Zhukovskiy i ego otnosheniya k dekabristam [Vasily Andreevich Zhukovsky and His Relations with the Decembrists]. *Russkaya starina*. 110 (4). pp. 45–119.

17. Alekseev, M.P. (1982) *Russko-angliiskie literaturnye svyazi: XVIII vek – pervaya polovina XIX v.* [Russian-English Literary Connections: 18th Century – First Half of the 19th Century]. Moscow: Nauka.

Kiselev, V.S. (2023) Vizit A.I. Turgeneva k Val'teru Skottu v 1828 g. (po materialam neopublikovannykh pisem k V.A. Zhukovskomu) [A.I. Turgenev's Visit to Walter Scott in 1828 (Based on Materials from Unpublished Letters to V.A. Zhukovsky)]. In: *Tvorchestvo Val'tera Skotta v prostranstve mirovoi kul'tury* [The Work of Walter Scott in the Space of World Culture]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 36–47.

Информация об авторах:

Никонова Н.Е. – д-р филол. наук, заведующая кафедрой романо-германской и классической филологии Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: nikonat2002@yandex.ru

Шарыпова В.С. – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: sharypova_v@bk.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

N.Ye. Nikonova, Dr. Sci. (Philology), head of the Department of Romance-Germanic and Classical Philology, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: nikonat2002@yandex.ru

V.S. Sharypova, postgraduate student, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: sharypova_v@bk.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья принята к публикации 11.09.2025.

The article was accepted for publication 11.09.2025.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИМАГОЛОГИЯ И КОМПАРАТИВИСТИКА»

Редакция принимает статьи, набранные в текстовом редакторе Word. Статьи должны быть представлены в электронном и в распечатанном виде (формат A4). Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) дополнительно предоставляются в отдельных файлах, вложенных в авторскую электронную папку.

Все рисунки выполняются только в черно-белой гамме, полноцветные иллюстрации не допускаются.

В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), приводятся (каждый раз с новой строки):

инициалы и фамилия автора;

название статьи (строчными буквами, например: Идеологический контекст «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году»);

ее краткая аннотация (500 знаков), которая выделяется курсивом и отделяется от текста статьи пропуском строки;

ключевые слова (3–5).

Текст набирается шрифтами Times New Roman, размер шрифта – 14 кеглей, межстрочный интервал – полуторный, поля (все) – 1,5 см, абзацный отступ – 0,5 см.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи такие шрифты должны быть представлены в редакцию в авторской электронной папке.

Нумерация страниц сплошная, с 1-й страницы, внизу по центру. Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, например: [1. Т. 2. С. 25]. Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется заголовком «Список источников» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером допустимо приводить только один источник. Обязательно указание количества страниц в используемых источниках.

Примечания оформляются в виде постраничных сносок. Если в примечаниях присутствуют ссылки на используемую литературу, номер этих источников в списке литературы должен быть соотнесен с нумерацией источников в основном тексте статьи, после которых (перед которыми) вставлено примечание со ссылкой на источник. Примеры оформления можно посмотреть на сайте журнала (<http://journals.tsu.ru/imago/>) в разделе «Архив».

Двумя отдельными файлами (а также в виде распечаток) обязательно предоставляются:

Англоязычный блок:

английский вариант инициалов и фамилии автора;

перевод названия своей организации;

перевод названия статьи (например: Ideological context of «Collection of Poems Relating to the Unforgettable 1812»);

автореферат статьи на английском языке (2 500–3 000 печатных знаков, включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке;

перевод ключевых слов на английский язык.

Сведения об авторе по форме:

фамилия, имя, отчество (полностью);

ученая степень, ученое звание;

должность и место работы / учебы (кафедра / лаборатория / сектор, факультет / институт, вуз / НИИ и т.д.) без сокращений, например: КИСЕЛЕВ Виталий Сергеевич – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета. E-mail: kv-uliss@mail.ru

Кроме того, отдельно в том же файле указываются:

Ф.И.О., должность и место работы научного руководителя (для студентов, аспирантов и соискателей);

специальность (название и номер по классификации ВАК);

телефоны (рабочий, сотовый).

Статья и сведения об авторе заверяются подписью автора (и научного руководителя – в случае, если автор не имеет ученой степени).

Всего оформляется и подается три электронных и бумажных документа:

текст статьи с аннотацией на русском языке;

английский вариант имени и фамилии автора, названия своей организации; перевод названия статьи и ключевых слов; автореферат статьи на английском языке (2 500–3 000 печатных знаков; включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке;

сведения об авторе.

Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы по фамилии автора в латинской графике (например: Ivanov1.doc, Ivanov2.doc, Ivanov3.doc) и вложены в папку, названную аналогично (например, Ivanov). При передаче электронной папки обязательно использование архиваторов WinZip или WinRar (например, Ivanov.zip или Ivanov.rar).

Авторы должны представить в редакцию заполненный бланк, в котором указывается согласие автора на публикацию статьи и размещение ее в интернете. Письмо должно быть подписано автором и заверено в организации, в которой работает или обучается автор. В случае соавторства каждый из авторов подписывает и заверяет отдельное письмо.

Статьи принимаются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет (ТГУ), филологический факультет, редакция журнала «Иматология и компаративистика», Хомуку Николаю Владимировичу¹.

Электронные версии материалов обязательно размещаются в «личном кабинете» автора на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/imago/>

После регистрации и прикрепления статьи авторы имеют возможность отслеживать изменение ее состояния (получение бумажного варианта, результат рецензирования и т.д.).

¹ По желанию автора бумажные варианты могут быть заменены сканированными PDF-файлами и представлены в редакцию в отдельной заархивированной папке посредством прикрепления на сайте параллельно с электронными вариантами материалов.

Научно-практический журнал

ИМАГОЛОГИЯ
И КОМПАРАТИВИСТИКА

IMAGODOLOGY AND COMPARATIVE STUDIES

2025. № 24

Редактор: В.Г. Лихачева
Компьютерная верстка А.И. Лелоюр
Дизайн обложки Л.Д. Кривцовой

Подписано в печать 12.11.2025 г.
Формат 60×84¹/₁₆. Бумага для офисной техники.
Печ. л. 23; усл. печ. л. 21,9. Тираж 50 экз. Заказ № 6552.
Цена свободная

Дата выхода в свет 10.12.2025 г.

Журнал отпечатан на оборудовании
Издательства Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru